АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1979

СОДЕРЖАНИЕ

Солнцев В. М. и др. (Москва). О значении изучения восточных языков для развития общего языкознания 3
Плам Ю. Я. и др. (Москва). Современное состояние восточного языкознания в СССР 16
Никольский Л. Б., Охотина Н. В. (Москва). Проблематика социолингвистических исследований в советском востоковедении 27

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ахманова О. С., Долгова О. В. (Москва). Синтаксическая теория и знание языка 33
Миллер Е. Н. (Целиноград). Отображение в антонимии неязыковых явлений 40

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Расторгуева Т. А. (Москва). О некоторых аспектах эволюции словоизменительных систем 52
Тарланов З. К. (Петрозаводск). Глаголы с неполной личной парадигмой в русском языке 63
Гаффаров Р. (Душанбе). К вопросу о сравнительном изучении синтаксиса таджикских говоров 74
Кямилев С. Х. (Москва). О совпадении средств выражения именного склонения и глагольных наклонений в арабском литературном языке 82
Никитин М. В. (Ленинград). О семантике метафоры 91
Всеволодова М. В. (Москва). О семантическом согласовании глаголов и именных темпоральных распространителей 103

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Кожина М. Н. (Пермь). О некоторых стилистических исследованиях последних лет в Чехословакии и ГДР 114

Рецензии

Ибрагимов Г. Х. (Махачкала). *С. М. Хайдаков.* Система глагола в дагестанских языках 128
Собинникова В. И. (Воронеж). «Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение» 131
Кодухов В. И. (Ленинград), Туркин В. Н. (Днепропетровск). *В. И. Максимов.* Структура и членение слова 134
Моисеев А. И. (Ленинград). *В. В. Лопатин.* Русская словообразовательная морфемика 137
Успенский Б. А. (Москва). *Р. М. Цейтлин.* Лексика старославянского языка 140
Лаптева О. А. (Москва). *Д. Н. Шмелев.* Русский язык в его функциональных разновидностях 145
Линский С. С. (Днепропетровск). *I. K. Galperin.* Stylistics 151

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 154

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания», Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1979 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

СОЛНЦЕВ В. М., ВАРДУЛЬ И. Ф., АЛПАТОВ В. М.,
БЕРТЕЛЬС А. Е., КОРОТКОВ Н. Н., САНЖЕЕВ Г. Д.,
ШАРБАТОВ Г. Ш.

О ЗНАЧЕНИИ ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Любая наука развивается за счет действия двух факторов: обнаружения новых фактов, не поддающихся объяснению на базе существующих теорий, и разработки новых, более действенных теорий, объясняющих еще не истолкованные факты. Языкознание не составляет исключения. В отраслевых лингвистических исследованиях, в том числе востоковедных, постоянно обнаруживаются материалы, не укладывающиеся в существующие общелингвистические теории. Параллельно с этим идет интенсивный процесс разработки новых общелингвистических теорий. Настоящая статья посвящена в основном второй из этих проблем.

Современная наука о языке генетически восходит прежде всего к европейской лингвистической традиции, имеющей античные истоки. Традиционная система понятий, на которой основано большинство лингвистических описаний, хотя во многом и отражает общеязыковые закономерности, все же тесным образом связана с типологическими особенностями языков Европы, прежде всего флективно-синтетических. При исследовании языков иного строя, в том числе многих восточных, лингвистам приходится сталкиваться со случаями неприменимости европейских категорий и языковыми фактами, не предусмотренными в теории [1].

Изучение восточных языков, связанное с развитием европейской традиции, можно разделить на три этапа. К первому этапу относятся все грамматические описания, в которых восточный язык, независимо от особенностей его строя, представлялся по образцу европейского (примерно до середины XIX в. в основном по образцу латинского языка, позднее по образцу какого-либо из современных европейских языков, обычно родного языка автора). В этих описаниях единицы восточного языка единообразно переводились на европейский язык описания (часто без соблюдения равенства единиц), а затем к полученным наборам переводов прилагались термины европейской лингвистической системы. Ср., например, старые грамматики китайского языка, авторы которых находили в этом языке склонение, спряжение, категории рода, падежа, лица и т. д. Очевидно, что грамматики такого рода давали неадекватную картину. По сути они описывали не систему языка, а способы перевода на исследуемый язык тех или иных единиц европейских языков.

Следующий этап, начинающийся примерно с начала XX в., связан с исследованиями таких крупных ученых, как А. Масперо [2] (и отчасти

---

[1] От того, что традиционная система понятий не вполне адекватна и для тех языков, на материале которых она была выработана, в данной статье можно отвлечься.

[2] A. Maspero, La langue chinoise, «Conferences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris, année 1933», Paris, 1934.

Е. Д. Поливанов [3]) в китаистике, Б. Блок [4] в японистике и др. Эти ученые понимали слабость традиционных описаний, их несоответствие уровню, достигнутому теоретической лингвистикой, и порывали с установившейся традицией. Но поскольку определения многих понятий, имевшиеся в теоретическом языкознании того времени, базировались преимущественно на фактах флективных языков, языковеды часто отказывались от этих понятий: А. Масперо отрицал существование частей речи и грамматических категорий в китайском языке, Б. Блок не выделял в японском языке глагольные категории. Вместо этого предлагались описания в терминах, специфичных для данного языка или группы языков. Положительной стороной этих исследований была их непредвзятость, нацеленность на возможно более полный учет специфики данного языка. Но вместе с тем они во многом оказываются несопоставимыми. Но основе таких описаний трудно выявить общие свойства человеческого языка и невозможно вести типологические исследования.

В настоящее время востоковедная лингвистика вступила в новый этап. Для него характерно стремление сочетать в себе положительные черты исследований двух предыдущих этапов: представление языковых фактов на основе их специфики без привнесения чужеродных категорий и описание этих фактов с помощью общего понятийного аппарата, позволяющего сопоставлять и обобщать материалы разных языков. Короче говоря, идет процесс создания достаточно действенного широкого понятийного аппарата описательной лингвистики.

В этом процессе исходной является традиционная система понятий, поскольку другой столь же детально разработанной системы не существует. Но эта система нуждается в совершенствовании. Неевропейские языки, в том числе языки Азии и Африки, ставят перед лингвистами большое число проблем, без решения которых построение действительно универсального понятийного аппарата затруднительно.

В короткой статье невозможно охватить все возникающие при этом проблемы. Да в этом и нет необходимости. Ниже мы бегло коснемся лишь тех вопросов, которые нам кажутся наиболее существенными и которые, взятые в совокупности, позволяют создать общее представление о значимости восточного материала для развития общего языкознания.

I. Слог и фонема. В области фонологии особенно важен материал так называемых слоговых языков Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Существует точка зрения, что в этих языках европейской фонеме соответствует слог. Но в то же время и в этих языках внутри слова выделяются единицы, поддающиеся истолкованию как фонемы. Это может быть объяснено следующим образом. В европейских и многих других языках фонема обладает двумя функциями: функцией смыслоразличения и функцией минимального потенциального выразителя смысла. В языках Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии функцией смыслоразличения обладает фонема, а функцией минимального потенциального выразителя смысла — слог [5].

В изолирующих языках особое место в системе занимает слог. В большинстве языков, в том числе европейских, слог прямо не соотносим с морфемой и за пределами фонетического описания обычно не учитывается. Для языков же изолирующих характерен закон морфологической значимости слогоделения: с одной стороны, любому слогу можно приписать выра-

[3] См.: А. И. Иванов, Е. Д. Поливанов, Грамматика современного китайского языка, М., 1930.

[4] Его работы собраны в кн.: «Bernard Block on Japanese», New Haven—London, 1970.

[5] См.: В. М. Солнцев, О соизмеримости языков, в кн.: «Принципы описания языков мира», М., 1976, стр. 116—117.

жение значения, с другой стороны, морфема за редкими исключениями равна по протяженности слогу. В этих языках выделяются также единицы, промежуточные между фонемой и слогом (финали, инициали), в выделении которых в европейских языках, как правило, нет необходимости. Последняя особенность указанной группы языков связана с тем, что в них фонемы в своем большинстве имеют строго закрепленную за ними позицию в составе слога, что отличает их от фонем в языках других типов, обычно обладающих довольно свободной сочетаемостью в составе слога.

Наконец, в изолирующих языках Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии особый характер имеет тон. Если во многих других языках просодические признаки характеризуют не морфемы, а лишь более протяженные единицы языка, то в большинстве языков этого ареала каждая морфема характеризуется определенным тоном (в частности, нулевым).

II. Слово и его морфологическая структура. Европейская традиция на всех ее этапах характеризуется выделением слова в качестве одной из важнейших единиц языка. Это понятие вырабатывалось на материале флективно-синтетических языков, где границы слова в большинстве случаев очевидны и существует многовековая традиция членения текста на слова, позднее закрепленная в письменности. Поэтому в описании этих языков слово обычно считается единицей заранее заданной и вопрос о ее границах разбирается лишь для отдельных спорных случаев. Для языков иного строя, однако, вопрос о границах слова связан с большими трудностями.

Встает старая проблема, сформулированная еще Ф. Ф. Фортунатовым,— в чем состоит отличие слова от единицы, меньшей, чем слово, с одной стороны, и единицы, большей, чем слово, с другой. Эта проблема особенно актуальна для языков с мало развитой аффиксацией и развитым словосложением, в частности, для изолирующих языков Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Например, в лексике современного китайского языка нередки сложные слова, такие, что образующие их морфемы совпадают со словами, и существуют словосочетания, такие, что составляющие их слова совпадают с морфемами. Поскольку же на стыке морфем в китайском языке обычно не наблюдается фузии, а словосочетания нередко образуются без участия служебных элементов, высказывается мнение, что в ряде случаев разграничение простого слова и морфемы, сложного слова и словосочетания принципиально невозможно [6].

Та же сложность возникает в подсистеме китайских заимствований японского языка. Здесь имеются так называемые сцепления — последовательности большой протяженности, компоненты которых (в отличие от китайского языка, обычно многоморфемные) соединяются без помощи каких-либо грамматических показателей, эти последовательности одни исследователи относят к сложным словам [7], другие — к словосочетаниям [8].

Во многом отличается от указанных языков современный персидский язык, по строю в общих чертах сходный с флективно-аналитическими языками типа английского или французского. Но и здесь идут споры о характере так называемых сложных глаголов. Те единицы языка, которые исследова-

---

[6] См.: Н. Н. Коротков, К проблеме морфологической характеристики китайского литературного языка, «Труды XXV Международного конгресса востоковедов», V, М., 1963, стр. 106; В. М. Солнцев, Слово и словосочетание в их отношении к единицам языка и единицам речи (проблема «неразличимости» слова и словосочетания), сб. «Спорные вопросы грамматики китайского языка», М., 1963.

[7] См.: О. В. Плетнер, Е. Д. Поливанов, Грамматика японского разговорного языка, М., 1930, стр. 44—45.

[8] См.: А. А. Пашковский, Слитные именные словосочетания в японском языке, сб. «Японский язык», М., 1962.

тели ранее определяли как сложные слова [9], теперь чаще считаются устойчивыми словосочетаниями [10].

Проблема разграничения аффиксов и служебных слов актуальна прежде всего для тех языков, в которых служебные элементы присоединяются без фузионных осложнений. Например, в японском языке, как показывал советский японист А. А. Пашковский, сравнительно простая фраза *Анохито ва хон-о ёндэ имас* «Он читает книгу» в соответствии с точками зрения разных исследователей может быть записана в плане членения на слова по крайней мере восемью различными способами [11].

Аффикс и служебное слово часто разграничивают на основе несистемных признаков вроде перевода на европейские языки или этимологии (показатели, возводимые к некоторым лексическим единицам, именуются послелогами, неэтимологизируемые показатели — аффиксами). Но даже если отвлечься от этих явно неприемлемых критериев и обратиться к, казалось бы, надежному критерию, используемому применительно к европейским языкам, а именно к возможности — невозможности вставки между основой и грамматическим показателем других лексических единиц языка, то, оказывается, и он «работает» не всегда. В суффиксальных языках (к которым, в частности, относится упомянутый выше японский) этот критерий не дает результатов, ибо общие правила порядка в этих языках вообще запрещают постпозиционную постановку лексических единиц. Спорным также является вопрос о пределах, в которых для отграничения аффиксов от служебных слов могут быть использованы фонетические критерии (разные точки зрения на этот счет связаны с различным пониманием слова).

Встает вопрос, могут ли аффиксы и служебные слова быть разграничены во всех случаях. Существует и точка зрения, по которой наряду с явными аффиксами и явными служебными словами выделяется некоторый класс единиц, обладающий промежуточными свойствами, к нему, в частности, относятся японские «падежные» показатели *га*, *о*, *ни* и др. [12].

Дополнительную сложность при решении этой проблемы вызывает наличие во многих восточных языках (тюркских, монгольских, японском, китайском и др.) так называемого группового оформления. Это явление заключается в том, что грамматические показатели оформляют лишь один из однородных членов, относясь ко всем из них. Встает вопрос, можно ли такие показатели считать частями слов. Одни исследователи считают, что здесь мы имеем дело с элементами, не входящими в состав слова и оформляющими словосочетание [13], по мнению других, групповое оформление не означает, что соответствующие показатели — не аффиксы [14].

В арабском и других семитских языках до сих пор нет единой трактовки так называемых слитных местоимений, которые присоединяются к предшествующему глаголу (*darabu* + *hā* «он ударил + ее»), имени (*kitābu*+*hā* «книга + ее»), или служебному слову (*la* + *hā* «для нее»). Приверженцы долгой семитологической традиции, исходя, видимо, из фонетическо-графических особенностей данных лексем, называют их «местоименными суф-

[9] См.: Е. Э. Бертельс, Грамматика персидского языка, Л., 1926, стр. 67—69.

[10] См.: Ю. А. Рубинчик, Грамматический очерк персидского языка, в кн.: «Персидско-русский словарь», II, М., 1970, стр. 828 и др.

[11] См.: А. А. Пашковский, Синтагматические границы слова в японском языке, сб. «Японская филология», М., 1968, стр. 6—7.

[12] См.: А. А. Пашковский, К характеристике японских синтаксем, «Советское востоковедение», 1957, 2, стр. 113—115.

[13] См.: Н. Н. Коротков, Основные особенности морфологического строя китайского языка (грамматическая природа слова), М., 1968, стр. 390—391.

[14] См.: А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.— Л., 1956, стр. 430—431; см. также: Н. Н. Коротков, Ю. В. Рождественский, Г. П. Сердюченко, В. М. Солнцев, Китайский язык, М., 1961, стр. 46—48.

фиксами» [15]. Другие семитологи говорят о «самостоятельных словах» [16]. В какой-то степени аналогичные трудности вызывают палеоазиатские и другие инкорпорирующие языки, где следует выяснить, насколько инкорпоративный комплекс можно считать словом, а насколько — словосочетанием.

Все указанные здесь трудности не могут быть преодолены, пока не будет уточнено в общем виде понятие слова. В работах разных исследователей, в том числе советских, предлагаются разные пути его уточнения. Одни из них исходят из единства понятия слова и считают, что определение слова как минимальной синтаксически самостоятельной единицы, обладающей определенным значением, дает возможность решить проблему слова и его границ в любом языке [17]. Другие лингвисты полагают, что в традиционном понятии слова совмещены разные единицы языка, отличающиеся друг от друга по своим свойствам и по своим границам. Так, И. Ф. Вардуль выделяет две единицы: глоссему и синтаксему, причем синтаксема может состоять либо из одной знаменательной глоссемы (русск. *письмо*), либо из знаменательной глоссемы вместе с примыкающими служебными (русск. *от брата*); минимальной единицей синтаксиса признается синтаксема [18]. Ряд исследователей (в основном, востоковедов) идет еще дальше и предлагает различать «фонетическое слово», «графическое слово», «лексическое слово», «синтаксическое слово» и т. д. как различные единицы языка [19].

Наряду с вопросом о характере слова как единицы языка важное значение для морфологии имеет также вопрос о структуре слова и соотношении понятий слова и морфемы. В этой области немало сделано. Однако надо признать, что и здесь высказываются спорные, противоречивые, иногда диаметрально противоположные суждения по ряду вопросов. Так, например, в семитологии многие соглашаются с принципиальным положением о двуморфности или двучленности основы семитского слова, где согласные фонемы (составляющие корень) передают более общее лексическое значение, а гласные (как аффиксы) выражают грамматическое значение [20]. С другой стороны, в работах последних лет обосновывается категория минимальной единицы, выделяемой при линейном членении слова и состоящей из согласного и гласного компонентов. В арабском языке в этом качестве выдвигается положение о «харфе» «как на лексическом уровне неделимом сегменте в строении слова» и делается вывод о «несостоятельности рассмотрения гласного элемента как особого вида аффиксации» [21]; в дальнейшем для семитских языков при обозначении того же единого комплекса (сочетания согласного с последующим гласным) вводится понятие «слогофонема», но утверждается, что гласные данного слова «выполняют функцию грамматических элементов наряду с аффиксацией» [22].

[15] См.:Б. М. Гранде, Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении, М., 1963, стр. 373.

[16] См.: Г. М. Габучан, А. А. Ковалев, О проблеме слова в свете фактов арабского литературного языка, сб. «Арабская филология», М., 1968, стр. 49.

[17] См.: В. М. Солнцев, О соизмеримости языков, стр. 111—112.

[18] См.: И. Ф. Вардуль, Основы описательной лингвистики (синтаксис и супрасинтаксис), М., 1977, стр. 197—210.

[19] См.: С. Е. Яхонтов, О значении термина «слово», сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963, стр. 165—173; Г. М. Габучан, А. А. Ковалев, указ. соч., стр. 46.

[20] См.: S. Moscati, A. Spitaler, E. Ullendorff, W. von Soden, An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages, Wiesbaden, 1964, стр. 71; В. П. Старинин, Структура семитского слова, М., 1963, стр. 26; К. Г. Церетели, Современный ассирийский язык, М., 1964, стр. 30.

[21] Г. М. Габучан, К вопросу о структуре семитского слова (в связи с проблемой «внутренней флексии»), «Семитские языки», вып. 2, (ч. 1), М., 1965, стр. 124—125.

[22] Б. М. Гранде, Слогофонема в семитских языках, «Семитские языки», вып. 2 (ч. 2), 2-е изд., испр. и доп., М., 1965, стр. 751—752.

Особые проблемы в плане структуры слова ставят изолирующие языки Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Выше говорилось, что в этих языках морфемы, как правило, в звуковом отношении равны слогу и обладают относительной автономностью: многие из них в определенных ситуациях могут стать отдельными словами; например, кит. *чжо* «стол» обычно употребляется в составе сложного слова *чжоцзы* «стол», но в сочетании с послелогами может выступать как самостоятельное слово (в отличие от морфем типа кит. *му* «дерево», которые никогда не становятся словами). Для китайского и ряда других языков сосуществуют две взаимоисключающие и взаимодополняющие тенденции — к изоляции и к группировке. В изолирующих языках не только морфема, но и слово имеет строгую слоговую структуру.

III. Грамматические категории. Следующая важнейшая проблема связана с грамматическими категориями языка. Для европейской традиции характерна концентрация внимания на морфологии в узком смысле термина, т. е. на формах слова. Часто грамматическая форма отождествляется с формой слова и подробно исследуются лишь те грамматические категории, которые выражаются внутри слова, аффиксами или чередованиями. В целом хуже изучены категории, выражаемые вне слова, в частности, служебными словами. Такое положение связано с тем, что до сих пор существует представление о флективно-синтетических языках, специфической чертой которых действительно является преимущественное выражение грамматических категорий внутри слова, как о своего рода эталонных. В то же время языки иного строя показывают, что излишний морфологизм традиционных описаний неправомерен. Задача преодоления этого морфологизма, о которой три десятилетия назад писал С. Д. Кацнельсон [23], продолжает оставаться актуальной.

В этой связи показателен вопрос о выделении частей речи в восточных языках. Существующая система так называемых «школьных» частей речи, восходящая к античности, основана на выделении морфологических классов флективных языков. Также на выделении морфологических классов основано и традиционное деление слов арабского языка на три части речи — имя, глагол и частицу, восходящее к известной грамматике VIII в. «аль-Китаб» («Книга») Сибавейхи и разделяемое рядом современных арабистов [24] (в то же время в арабистике наблюдается и тенденция к более детальной классификации частей речи [25]). В работах Ф. Ф. Фортунатова, а затем П. С. Кузнецова и др. морфологический принцип выделения частей речи был уточнен и теоретически обоснован. Однако этот принцип, хорошо применимый к языкам с развитым словоизменением, приводит к трудностям при изучении языков изолирующего типа, где словоизменение крайне бедно или вовсе отсутствует. Последовательное применение этого принципа может привести к выводу, что в изолирующих языках вообще нет частей речи (как считает китайский лингвист Гао Мин-кай, исходя из определения части речи по П. С. Кузнецову [26]). Чисто морфологическое выделение частей речи иногда приводит к трудностям и для языков иного строя (ср. вопрос о прилагательных в тюркских [27] и монгольских [28] язы-

[23] См.: С. Д. Кацнельсон, О грамматической категории, «Вестник ЛГУ», 1948, 2, стр. 117—119.

[24] См.: Н. В. Юшманов, Грамматика литературного арабского языка, Л., 1928, стр. 17; Б. М. Гранде, Слогофонема в семитских языках, стр. 116—120.

[25] См.: А. А. Ковалев, Г. Ш. Шарбатов, Учебник арабского языка, 2-е изд., М., 1969, стр. 52; Б. З. Халидов, Учебник арабского языка, Ташкент, 1965, стр. 63.

[26] См.: Гао Мин-кай, Проблема частей речи в китайском языке, ВЯ, 1955, 3.

[27] См.: А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 135 и др.

[28] См.: Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, I, М., 1953, стр. 124—125.

ках). Надо учитывать также, что сам характер морфологических различий между частями речи очень разнообразен и далеко не универсален [29].

По-видимому, более универсальным является выделение частей речи по синтаксическому принципу. Синтаксические свойства единиц лексики, принадлежащих к разным частям речи, оказываются разными в языках разного строя, в том числе и в изолирующих (так, и в китайском языке глаголы способны сами по себе образовать сказуемое, и имена могут быть сказуемыми, кроме некоторых особых конструкций, лишь в сочетании с особым грамматическим показателем — связкой). Сказанное выше, однако, не означает, что при выделении частей речи не должны учитываться морфологические признаки там, где они могут быть выделены.

Также следует четко разграничивать выделение частей речи и семантическую классификацию лексики (различение предметной, качественной лексики и пр.). Семантические классы коррелируют с частями речи, но не всегда им соответствуют. Попытки дать классификацию по частям речи всецело на основе семантики на практике приводят к выделению частей речи на основе перевода на европейские языки.

При установлении частных грамматических категорий в языке также проявляется узость общей теории, ориентированной на особенности европейских языков. Обычно основное место уделяется поиску в исследуемом языке грамматических категорий, привычных для европейских языков (результат, конечно, может быть и негативным). Например, во многих грамматиках восточных языков специальное внимание уделяется вопросу, что в данном языке соответствует категории рода в обычном смысле этого термина (а не категории именного класса, частным случаем которой является категория рода), хотя категория рода, по-видимому, является типологической особенностью индоевропейских и афразийских (семито-хамитских) языков. В то же время категории, непохожие на категории европейских языков, часто не замечаются или рассматриваются вне грамматики (как лексическое или стилистическое явление). Например, в ряде языков Азии (в частности, в японском и корейском) существуют так называемые категории вежливости, связанные с грамматическим выражением отношения говорящего к собеседнику и лицам, о которых идет речь [30]. Хотя на особенности японского и корейского языков в выражении вежливости так или иначе указывали все исследователи, эти категории часто не выделялись в числе грамматических. Некоторые исследователи относили их к области стилистики, другие даже старались обнаружить в японском и корейском языках категорию лица, хотя ни в том, ни в другом языке нет форм, которые употреблялись бы только в отношении какого-нибудь одного из трех лиц.

В связи с этим встает вопрос о выявлении общего инвентаря грамматических категорий, встречающихся в языках мира. Было бы рационально при описании конкретных языков исходить из всего множества возможных грамматических категорий, а не из того его подмножества, которое привычно для носителей европейских языков.

При исследовании грамматических категорий восточных языков, особенно языков изолирующего типа, важное значение имеет вопрос об их факультативности. В современной теоретической лингвистике широко распространено понимание грамматического как обязательного. В то же время многие грамматические категории восточных языков не обладают той строгой обязательностью, которая свойственна большинству грамматических категорий европейских языков. Так, существительные китайского языка без показателя множественности *-мэнь* и существительные японского

[29] См.: И. И. Мещанинов, Глагол, М., 1949, стр. 38—133.

[30] См.: В. М. Алпатов, Категория вежливости в современном японском языке, М., 1973.

языка без показателей множественности *-тати*, *-ра* могут обозначать как одно лицо, так и множество лиц, китайские глаголы без показателя пассива *бэй* могут иметь как активное, так и (при определенных условиях) пассивное значение, может опускаться и ряд показателей тюркских языков (например, показатель винительного падежа).

Такого рода явления трактуются в советском востоковедении, в частности в китаистике, по-разному. По одной точке зрения, грамматические категории китайского языка факультативны [31]. Соответствующие грамматические показатели употребляются лишь в ударной позиции слова в целях актуализации, в неоформленных словах нулевые грамматические показатели отсутствуют. Если следовать этой концепции, материал китайского и подобных ему языков заставляет отказаться от понимания грамматического как обязательного и требует более широкого понимания границ грамматики.

В соответствии с другой точкой зрения, грамматические категории в китайском языке могут трактоваться в принципе так же, как и в европейских языках. Например, глаголы без показателя *бэй* рассматриваются как глаголы, имеющие нулевой показатель активного залога (пассивное значение они могут иметь в особых условиях, а именно в предложениях состояния) [32]. При таком подходе многие категории китайского языка признаются обязательными, хотя их обязательность ограничивается особыми условиями.

В ряде случаев, возможно, факультативность усматривается вследствие несходства грамматических категорий исследуемого языка и аналогичных категорий европейских языков [33]. Например, если считать, что японские показатели множественности имеют то же значение, что и показатели множественного числа в европейских языках, то они должны рассматриваться как факультативные; если учесть, что основное значение показателей *-тати*, *-ра* и др.— репрезентативная множественность (данное лицо и подобные ему) [34], то можно говорить и об их обязательности (имена без показателей множественности такого значения никогда не имеют).

IV. О морфологической классификации. Традиционное выделение флективных, агглютинативных и изолирующих языков при всей своей нечеткости не потеряло своего значения и сейчас, поскольку оно отражает, пусть несистематично, важные особенности строя соответствующих языков. Однако такая классификация должна быть уточнена с позиций современной лингвистики. Анализ изолирующих языков показывает, что агглютинацию и изоляцию не следует рассматривать как явления одного ряда. Для изолирующих языков характерно отсутствие выражения синтаксических отношений в составе самих слов, однако это не исключает наличия в них (в частности, в китайском) несинтаксических грамматических показателей, которые в этих языках присоединяются, как правило, агглютинативно; поэтому агглютинация и изоляция в языке не исключают друг друга [35]. Особенности агглютинации в тюркских языках выявляются в работах А. Н. Кононова [36].

[31] См: Н. Н. Коротков, Основные особенности морфологического строя в китайском языке, стр 286—303.

[32] См.: Н. В. Солнцева, Страдательный залог в китайском языке, М., 1962, стр. 99—100; В. М. Солнцев, О «нулевой» и «абсолютной» форме в китайском языке, сб. «Спорные вопросы грамматики китайского языка», М., 1963, стр. 96—103.

[33] См.: Ю. В. Рождественский, Понятие формы слова в истории грамматики китайского языка, М., 1958, стр. 30.

[34] См.: А. А. Холодович, Очерки по японскому языку, «Уч. зап. ЛГУ», 69, 1946, стр. 182—184.

[35] См.: Н. В. Солнцева, В. М. Солнцев, К вопросу об агглютинации в современном китайском языке, ВЯ, 1962, 6.

[36] См.: А. Н. Кононов, О природе тюркской агглютинации, ВЯ, 1976, 4

Следует также уточнить возможности сосуществования разных типологических характеристик в пределах одного языка. Показателен, например, лингвистический феномен современного арабского языка. Внутри одного и того же языка синхронно сосуществуют два различных морфологических строя речи: синтетический — в литературном языке с его стройной системой падежей и аналитический — в арабских диалектах, где, ввиду отсутствия в них склонения, грамматические отношения выражаются служебными словами, порядком слов и другими аналитическими средствами [37]. Обычно разграничение на синтетические и аналитические языки проводится применительно к разным языкам (ср. соответственно русский и болгарский среди славянских языков), материал арабского языка показывает, что такое разграничение может происходить и внутри одного языка. Ср. также сосуществование в японском языке исконной подсистемы, характеризующейся агглютинативно-флективным строем, и подсистемы китайских заимствований, сохраняющей ряд свойств, характерных для строя китайского языка.

V. Строение предложения. Традиционные синтаксические теории разрабатывались главным образом на материале языков так называемого номинативного строя, к ним относятся все индоевропейские языки Европы, а также большинство наиболее изученных языков Азии: семитские, тюркские, монгольские, японский, китайский и др. Эти языки обладают следующими свойствами: оформление предложения одинаково независимо от семантики глагола (в частности, от его переходности или непереходности), грамматический субъект (подлежащее) во всех случаях оформлен однотипно; сказуемое тесно связано с подлежащим (во многих языках эта связь выражается посредством грамматического согласования) и не имеет такой связи с другими членами предложения; имеются различные конструкции предложения, обусловленные разным соотношением между реальным и грамматическим субъектом (активная и пассивные конструкции), часто связанные и с различным грамматическим оформлением.

Но номинативный строй — не единственный строй языка. Существует концепция, по которой наряду с ним могут быть выделены эргативный, активный, классный и, возможно, нейтральный строй. К языкам эргативного строя относятся многие кавказские, в частности дагестанские, его черты проявляются в дардских, тибетском и других языках, языки активного строя в основном распространены в Америке, к языкам классного строя относятся языки банту, к языкам нейтрального строя — многие языки Западной Африки. Эти языки обладают рядом специфических свойств. Так, в эргативных языках по-разному строятся предложения с переходными и непереходными глаголами (объект при переходном глаголе обычно оформляется так же, как субъект при непереходном). В языках активного строя по-разному оформляются предложения со сказуемыми, обозначающими активное действие, и со сказуемыми, обозначающими неактивное действие или состояние. В языках классного строя сказуемое согласуется не только с грамматическим субъектом, но и со всеми объектами. В языках нейтрального строя грамматический субъект и грамматические объекты формально не дифференцированы. В языках неноминативного строя отсутствует противопоставление активной и пассивных конструкций [38].

Факты неноминативных языков остро ставят вопрос о содержании традиционного понимания членов предложения и прежде всего подлежащего и сказуемого. Согласно одной из существующих точек зрения, во всех

[37] См.: Г. Ш. Шарбатов, Об аналитичности строя современных арабских диалектов, М., 1960, стр. 10—11.

[38] См.: Г. А. Климов, Вопросы контенсивно-типологического описания языков, в кн.: «Принципы описания языков мира».

языках абсолютно главным членом, «хозяином» предложения является сказуемое [39]. По другой концепции, подлежащее и сказуемое характеризуются взаимным подчинением друг другу: подлежащее по отношению к сказуемому является не только «слугой», но одновременно и «хозяином» (что отличает его от дополнения), сказуемое по отношению к подлежащему является не только «хозяином», но одновременно и «слугой» (что отличает его от дополняемого) [40]. Особое положение подлежащего грамматически выделяет его из ряда других приглагольных именных членов (не обязательно посредством согласования). Если такого выделения нет, нет и подлежащего (тогда приглагольный именной член может быть лишь дополнением). С другой стороны, для сказуемого обязательно наличие при нем подлежащего. В предложениях без подлежащего (в русистике такие предложения принято называть односоставными) глагольный член не есть сказуемое. Ср. «нерасчлененный главный член» у А. А. Шахматова. Конкретные условия, при которых исследователь получает право констатировать наличие взаимоподчинения между данным именным и данным глагольным членом и, следовательно, признать первый из них подлежащим, а второй — сказуемым, требуют дополнительных исследований. Здесь особенно важно использование материала языков неноминативного строя.

Другим проявлением трудностей традиционного синтаксиса является его ориентированность по преимуществу на так называемое «формальное членение». К проблематике «актуального членения» языковеды обратились лишь в последние десятилетия, в этом плане восточные языки дают в распоряжение общей лингвистики немало теоретически важных фактов. Ср., например, японскую частицу *ва*, бирманскую *ка*, монгольские *бол*, *л* и др. Но «актуальное членение» интересно не только как самостоятельный предмет исследования. Многие синтаксические конструкции могут быть объяснены взаимодействием синтаксических и супрасинтаксических (связанных с актуальным членением) структур [41].

Необходимо также обратить внимание на ряд синтаксических конструкций, встречающихся в языках номинативного строя, но с трудом поддающихся объяснению в рамках традиционных теорий. Например, в некоторых языках Азии встречается особая конструкция, в которой при одном сказуемом имеется два члена, оформленных как подлежащее, причем первый из них обозначает некоторое лицо или предмет, а второй — некоторую его часть или же его признак, свойство, ср. японское *Дзо*: *ва хана-га нагай* «У слона хобот длинный», где *дзо*: «слон» оформлено как подлежащее с нулевым послелогом, а *хана* «нос», хобот» — послелогом подлежащего *-га*. Такая конструкция встречается в японском, корейском, китайском языках [42]. Ее трактовка вызывает большие разногласия: одни исследователи считают, что истинным подлежащим является второй член (со значением части), а первый член трактуют как дополнение [43] или как ложный член со значением определения к истинному подлежащему [44], другие исследователи признают главным подлежащим первый член, а остальную

---

[39] См., например: А. А. Холодович, К вопросу о доминанте предложения, в кн.: «Studies in general and Oriental linguistics», Tokyo, 1970, стр. 318—323.

[40] См.: И. Ф. Вардуль, Основы описательной лингвистики, стр. 260—271.

[41] См. там же, стр. 291—299.

[42] См.: М. Киэда, Грамматика японского языка, 2, М., 1959, стр. 157—179; А. А. Холодович, Очерк грамматики корейского языка, М., 1954, стр. 253—254; В. М. Солнцев, Очерки по современному китайскому языку, М., 1957, стр. 185—186.

[43] См.: А. А. Холодович, Очерк грамматики корейского языка, стр. 253—254.

[44] См.: И. Ф. Вардуль, Очерки потенциального синтаксиса японского языка, М., 1964, стр. 79—84.

часть считают придаточным предложением — так называемым членным сказуемым, играющим роль сказуемого главного предложения [45].

При признании здесь членных сказуемых они рассматриваются как частный случай членных предложений — придаточных предложений, играющих роль одного из членов главного предложения; во многих языках Азии могут быть отмечены членные подлежащие, дополнения и определения. По сути сходные явления имеются и в европейских языках, но там придаточные предложения часто обособляются, а место соответствующего члена в главном предложении занимает анафорический элемент (союзное слово), в ряде же восточных языков придаточное предложение непосредственно входит в структуру главного [46].

Для тюркологии и монголистики актуальным является и вопрос о разграничении придаточных предложений и причастных и других оборотов.

VI. Язык и письмо. Обычно в языкознании, начиная с момента, когда вводится строгое разграничение звуков и букв, основной задачей считается изучение языка в звуковой форме. Письмо отходит на периферию, оно изучается в основном лишь в прикладном плане. Это связано с простым характером европейских алфавитных письменностей. Однако анализ других систем письма, особенно иероглифических, показывает, сколь сложными могут быть и сами графические знаки и правила соотношения между ними и звуковыми единицами языка. Поэтому весьма актуальной представляется задача создания теории письма, столь же детализированной и строгой, как и фонологические теории.

В существующих теоретических трудах по графической лингвистике основное внимание сосредоточено на звуко-буквенном письме, а иероглифическое и слоговое, которыми пользуется и сейчас большинство народов Востока, оказываются незаслуженно забытыми. Углубленное изучение влияния иероглифических и слоговых систем письма на язык в целом должно способствовать разработке многих теоретических проблем общего языкознания.

Хорошо известно, что создатели алфавитных систем письма были «стихийными фонологами», ибо они использовали инвариантные свойства звуков для выбора минимума графических различителей. Но создатели иероглифических систем были стихийными идеографами, ибо им приходилось практически решать проблемы тематической классификации максимума слов фиксируемого языка и их четкого и экономного графического обозначения. Их работа оказала влияние не только на развитие позднейших графических систем, но и на системы лексические и грамматические. Как показали исследования А. Е. Бертельса, многие рубрики идеографических словарей происходят от детерминативов древнейших иероглифических систем. Можно даже предположить, что слово как лексическая единица было впервые выделено в качестве инварианта составителями иероглифических систем, так же, как составителями алфавитных систем были выделены фонемы-буквы.

Исследование иероглифики, связанное с изучением различных уровней языка, представляется в связи с этим весьма интересным.

VII. Сравнительно-исторические исследования. Многие восточные языки, а именно те из них, которые относятся к индоевропейским и семитским, уже с начала XIX в. активно исследуются в сравнительно-историческом плане. Во многом на материале индоевропейских языков Азии была разра-

[45] См.: В. М. Солнцев, Очерки по современному китайскому языку, стр. 185—186. Ср. также точку зрения ряда японских ученых, изложенную в упомянутой грамматике М. Киэда.

[46] См.: А. А. Зализняк, Е. В. Падучева, К типологии относительного предложения, «Семиотика и информатика», 6, М., 1975, стр. 87—94.

ботана компаративная методика. Однако некоторые свойства неиндоевропейских языков Азии и Африки все же требуют уточнения ряда традиционных положений. Например, традиционно наиболее показательными считаются сопоставления грамматических элементов, которые в индоевропейских языках обычно весьма устойчивы. Это положение верно и для семитских и ряда других языков. Однако в языках Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии сравнение грамматических показателей мало что дает, поскольку старые морфологические системы этих языков разрушились и в значительной части не могут быть восстановлены, а большинство современных грамматических элементов относительно недавнего происхождения.

Сравнительно-исторические исследования большинства восточных языков осложняются и недостатком или даже полным отсутствием данных по их истории. Исследователю приходится иметь дело лишь с современными системами, во многом видоизменившимися по сравнению с системами других родственных языков. Большую трудность также вызывает проблема отграничения исконно родственных единиц языка от заимствований.

Методика сравнительно-исторических исследований нуждается в совершенствовании и иногда даже в применении к, казалось бы, хорошо изученным индоевропейским языкам. В частности, это относится к иранистике, где после крупных обобщающих трудов, созданных в конце XIX — начале XX в. и уже во многом устаревших, не появилось работ такого же масштаба. Между тем иранские языки представляют ценнейший материал для совершенствования методов компаративистики. Именно эта группа обладает древней и разветвленной письменной традицией. В настоящее время описан материал некоторых, ранее недостаточно изученных иранских языков, в частности, памятников хотаносакского языка и систем современных памирских языков. Однако этот материал пока не стал достоянием современной компаративистики в полном объеме.

В то же время следует отметить работы, где на основе применения в основном традиционной методики выдвигаются широкие гипотезы о древнейшем родстве многих языков Европы, Азии и Африки [47].

VIII. Восточная лингвистическая традиция. Отметим еще один интересный аспект востоковедных исследований. Европейская лингвистическая традиция не является единственной, существуют и другие традиции описания языков, среди которых прежде всего надо отметить индийскую, арабскую, китайскую и японскую. Эти традиции вырабатывались на основе наблюдений над языками, по строю отличными от европейских; многие их положения отличаются от того, что привычно для европейской традиции. Выдающиеся советские востоковеды не раз указывали на необходимость более пристального внимания к научному наследию языковедов Востока. Так, И. Ю. Крачковский, подчеркивая значение арабских грамматических теорий, считал, что «подход к ним с точки зрения современного языкознания обещает, быть может, именно теперь особенно богатые результаты» [48]. Другой крупный советский ученый Н. И. Конрад писал: «...необходимо считаться и с тем, как представляли себе явления своего языка сами его носители. Пренебрегать поэтому национальным языкознанием нельзя. Так, например, история языкознания Японии дает интересный материал для суждения, как воспринимался языковым сознанием японского народа его язык, принадлежащий по типу к агглютинативным языкам» [49].

---

[47] См.: В. М. Иллич-Свитыч, Опыт сравнения ностратических языков, I — М., 1971, II — М., 1976.

[48] И. Ю. Крачковский, Избранные сочинения, I, М.— Л., 1955, стр. 307.

[49] Н. И. Конрад, О национальной традиции в китайском языкознании, ВЯ, 1959, 6, стр. 27.

На протяжении последних десятилетий в мировом языкознании усиливается интерес к национальным лингвистическим традициям. Отдельные термины и понятия санскритской грамматики широко используются европейскими языковедами. Неоднократно внимание европейских ученых привлекала и арабская традиция, имеющая, очевидно, истоки, близкие к санскритской. Однако в целом наследие национальных лингвистических традиций освоено современным языкознанием явно недостаточно. Исследование национальных лингвистических традиций важно не только в историко-культурном плане. В этих традициях содержатся идеи, часто актуальные и для современной науки о языке. Многие концепции, о которых шла речь выше, имеют прямые параллели в исследованиях восточных ученых. Так, рассмотрение слога как основной фонетической единицы, а также выделение инициалей и финалей издавна свойственны китайской традиции; трактовка слова как нескольких имеющих разные границы единиц сопоставима с подходом, принятым в японской науке; вычленение некоторыми семитологами «лексически неделимых сегментов в строении слова» или «слогофонем» непосредственно продолжает учение о «харфе» средневековых арабских грамматиков; ср. также большое внимание к изучению письма в китайской и японской традициях. Выявление общего и специфичного в различных традициях, включая европейскую, позволяет четче отграничить общие свойства языка от типологических особенностей европейских языков.

Большое значение имеет также изучение лингвистических работ ученых Азии, в которых сочетаются идеи современной лингвистики и идеи, связанные с национальными традициями, в частности, работ китайских и японских языковедов XX в.

*

В настоящее время в рамках языкознания сложилась относительно автономная область — восточное языкознание, неразрывно связанная как с восточной филологией в целом, так и с теорией языкознания. Без широких филологических познаний невозможно действительное овладение восточным языковым материалом. Без совершенной общелингвистической теории невозможно адекватное теоретическое осмысление этого материала.

Как уже говорилось в начале статьи, востоковеды-лингвисты постоянно обнаруживают языковые факты, стимулирующие совершенствование общей теории. В свою очередь более совершенная теория позволяет исследователям конкретных языков глубже проникнуть в эти языки, увидеть в них то, что с позиции менее действенной теории было неразличимо, в том числе и то, что не поддается теоретическому истолкованию и побуждает исследователя к построению еще более сильной теории. Так, по спирали развивается наша наука. И долг лингвиста-востоковеда, как он нам представляется, состоит в том, чтобы по мере сил активно участвовать в этом движении вперед и на уровне добывания фактов и привнесения их в оборот общего языкознания, и на уровне творческого осмысления добытых фактов и совершенствования общей теории.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

ПЛАМ Ю. Я., БЕЛОВА А. Г., ЕРЕМИНА К. Н.,
КОНЦЕВИЧ Л. Г., ЛИПЕРОВСКИЙ В. П., ОРЛОВСКАЯ М. Н.,
СОЛНЦЕВА Н. В., СТРУГОВА Е. В.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОСТОЧНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В СССР

Изучение восточных языков в России и Советском Союзе имеет давние и богатые традиции. Начавшись на рубеже XVII—XVIII вв. с эпизодических, носивших чисто практический характер отдельных штудий конкретных восточных языков, отечественное восточное языкознание прежде чем выделиться в самостоятельную дисциплину с такими крупными отраслями, как тюркология [1], иранистика, семитология, египтология, индология, монголистика, синология, японистика, тангутика, тибетология, кореистика, изучение языков Юго-Восточной Азии и т. п., прошло целый ряд длительных и сложных этапов.

От первых шагов по собиранию лингвистических материалов, от накопления общих сведений по живым и мертвым восточным языкам до широкого, проблемного исследования строя восточных языков, их сравнительно-исторического изучения и типологических исследований — таков путь русского и советского восточного языкознания, путь, принесший ему трудами многих поколений выдающихся отечественных ученых-востоковедов мировую известность.

Уже во второй половине XIX — начале XX в. в России складывается та блестящая плеяда востоковедов-филологов, которая заложила основу для последующего широкого развития восточного языкознания: Б. А. Дорн, К. Г. Залеман, В. А. Жуковский, В. Ф. Миллер в иранистике, В. Ф. Гиргас, В. Р. Розен, А. Е. Крымский, Б. А. Тураев и П. К. Коковцов в семитологии, В. В. Радлов, П. И. Мелиоранский, С. Е. Малов, Ф. Е. Корш, В. А. Гордлевский в тюркологии, К. А. Коссович, П. Я. Петров, С. Ф. Ольденбург и Ф. И. Щербатской в индологии, Н. Я. Бичурин, В. П. Васильев, С. М. Георгиевский, П. А. Кафаров (Палладий) в китаеведении, А. М. Позднеев, Ал. Бобровников, О. Ковалевский, К. Ф. Голстунский, Б. Я. Владимирцов в монголистике. С именами этих и многих других крупнейших ученых-востоковедов связано в этот период развитие восточного языкознания, постановка преподавания и изучения восточных языков, сравнительно-исторические и диалектологические исследования, написание грамматик восточных языков, составление капитальных словарей.

На фоне общего развития востоковедения как широкой историко-филологической науки в этот период шла постепенная подготовка к вычленению восточного языкознания в специальную языковедческую дисциплину. Основные задачи востоковедения этого периода состояли в описаниях, переводах, критических изданиях богатейших рукописных коллекций на восточных языках и памятников материальной культуры по истории наро-

[1] Вопрос о развитии советского тюркского языкознания в настоящей статье не рассматривается. См. об этом: А. Н. Кононов, Современное тюркское языкознание в СССР. Итоги и проблемы, ВЯ, 1977, 3.

дов Востока, в изучении конкретных восточных языков в тесной связи с историей и культурой народов — носителей этих языков.

Вместе с тем одновременно происходило и становление самостоятельных отраслей в восточном языкознании, формирование отдельных научных школ в каждой отрасли, расширение круга специальных языковедческих дисциплин.

Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало новому этапу в развитии отечественного восточного языкознания. Восточное языкознание послеоктябрьского периода отличается новым научным содержанием, новым подходом к предмету изучения, новой методологической основой. Укрепление связей с народами стран Востока и особенно расширение этих связей после второй мировой войны и выхода этих стран на путь независимого развития потребовали широкой подготовки новых квалифицированных кадров, знакомых с современными условиями в странах Востока и живыми восточными языками. Одновременно новые задачи, связанные с ростом культурного строительства в южных и восточных республиках и областях нашей страны, обусловили появление, наряду со старыми традиционными, новых быстро растущих центров изучения восточных языков.

Ныне восточные языки преподаются и изучаются в Москве, Ленинграде, Тарту, во всех университетах и академических центрах республик Кавказа и Средней Азии, в университетах ряда автономных республик, а также городов Сибири и Дальнего Востока. Для послеоктябрьского и особенно послевоенного периода характерно значительное расширение тематики исследований, переход от общих описаний восточных языков к углубленному исследованию самых различных аспектов строя восточных языков с применением современных лингвистических методов, окончательное становление восточного языкознания как одной из отраслей советского языкознания.

Большое значение для развития научного изучения языков зарубежного Востока имела проведенная в конце 50-х годов реорганизация Института востоковедения АН СССР и создание в нем Отдела языков народов Востока (образованного по инициативе Г. П. Сердюченко), ставшего крупным центром восточного языкознания в нашей стране.

Значительное развитие получило в советское время **иранское языкознание.** В Москве, Ленинграде, Душанбе, Ташкенте, Баку, Тбилиси, Ереване, Самарканде, Орджоникидзе, Цхинвали успешно развивается деятельность объединенных в крупные научные коллективы советских иранистов — учеников и продолжателей таких известных ориенталистов, как А. А. Фрейман, Е. Э. Бертельс, И. А. Орбели, И. И. Зарубин, А. А. Ромаскевич, Б. В. Миллер, А. А. Семенов, А. М. Мирзоев, М. Г. Асланов, И. М. Оранский и др.

В настоящее время в круг исследований в нашей стране вовлечены почти все известные древние и современные иранские языки. Глубина и дифференциация исследовательских работ позволяют выделить основные направления в развитии современной иранистики.

Значительными достижениями отмечено такое направление в иранском языкознании, как исследование и синхронное описание живых иранских языков, представленных в СССР и за его пределами. Широко развиваются исследования в области таджикского языкознания, созданного фактически только в советскую эпоху. Большое внимание уделяется изучению осетинского и курдского языков. Продолжается изучение памирских языков, в особенности языков шугнано-рушанской группы. Публикуются описания прикаспийских языков — татского, талышского, мазандеранского, их наречий и говоров. Впервые в науке дано грамматическое описание гилянского языка. Всесторонне исследу-

ются персидский язык, языки дари и пушту. Серьезный вклад в изучение языка пушту внесли Н. А. Дворянков и А. Г. Ганиев. Следует указать на многочисленные работы советских иранистов, посвященные решению общих и частных проблем фонетического строя, проблемам морфологии и синтаксиса. Значительное внимание уделяется также лексикологии.

Советские ученые внесли большой вклад в развитие новых отраслей древнеиранской филологии. В последние десятилетия были найдены, а затем описаны и интерпретированы уникальные документы на согдийском, хорезмском, парфянском и бактрийском языках, проведена дешифровка документов, найденных на территории Средней Азии. Продолжается изучение языка древнейшего памятника иранской культуры — Авесты, ведутся работы по древнеперсидскому языку и древнеперсидским надписям. Осуществляется также изучение памятников среднеперсидского языка и среднеперсидской письменности.

Древнеиранский языковой материал широко привлекается в таком направлении советской иранистики, как сравнительно-историческое иранское языкознание, история и историческая диалектология иранских языков. Последовательное и систематическое сопоставление иранских языков (как мертвых, так и живых) дало возможность выявить основные процессы и закономерности их развития в ходе перестройки грамматической структуры этих языков от синтетического строя к современному аналитическому, рассмотреть вопросы эволюции фонологического строя, дать анализ развития грамматических категорий. Завершена работа коллектива авторов под руководством В. И. Абаева и В. С. Расторгуевой по созданию фундаментального труда «Основы иранского языкознания», содержащего полное описание в историческом плане всех известных науке иранских языков с учетом новейших данных. Большую работу по дешифровке древних текстов и выявлению древнейших иранских элементов в других языках проводит М. Н. Боголюбов.

В последние годы в советской иранистике успешно развивается новое направление, связанное с исследованиями в области социолингвистики: исследуются вопросы развития языков в связи с развитием общества, взаимоотношения языка и культуры, языковых контактов, социальной и функциональной дифференциации языка.

Активно ведется работа по иранским языкам в лексикографическом аспекте. Несомненным достижением следует считать появление первых томов «Историко-этимологического словаря осетинского языка» В. И. Абаева, двухтомного толкового словаря таджикского языка (под ред. М. Ш. Шукурова, В. А. Капранова, Р. Хошима, Н. А. Масуми) и созданного коллективом авторов в Институте востоковедения АН СССР двухтомного персидско-русского словаря (под ред. Ю. А. Рубинчика). Созданы также многочисленные специальные и учебные словари персидского языка, а также словари языка пушту и талышского языка, готовятся словари языка дари, шугнанского, гилянского, курдского языков, перерабатывается и дополняется русско-персидский словарь.

Крупные качественные изменения происходят в отечественной **семитологии.** Из недр семитологии как науки историко-филологической в последние десятилетия выделяется собственно лингвистическая наука о семито-хамитских языках, или — по последней и более точной терминологии — об афразийских языках. Теоретические основы лингвистического изучения памятников и строя семито-хамитских языков заложили крупнейшие представители школы академиков И. Ю. Крачковского, П. К. Коковцова, А. Е. Крымского: Н. В. Юшманов, Г. В. Церетели, И. Н. Винников,

Н. В. Пигулевская, Я. С. Виленчик, К. В. Оде-Васильева, А. П. Рифтин, В. И. Беляев, Б. М. Гранде, В. М., Старинин, Ал. С. Лекиашвили. К настоящему времени научно-исследовательские и учебные центры по изучению афразийских языков, помимо Ленинграда и Москвы, имеются во всех кавказских и среднеазиатских республиках. Большой вклад в подготовку кадров семитологов внес Х. К. Баранов.

У истоков сравнительно-исторического изучения всего семито-хамитского ареала стоял Н. В. Юшманов, который занимался исследованием южносемитских и чадских языков, составляющих важное, но малоизученное звено в генеалогическом древе семито-хамитских языков, создал единственную в своем роде научную, в значительной мере историческую, грамматику литературного арабского языка, осуществил первые работы по сравнительной фонологии семитских языков и предложил одну из первых научных концепций о структуре семитского корня Продолжением исследований общесемитского корнеслова явилась в 50-е годы оригинальная гипотеза С. С. Майзеля о значении метатезы (перестановки) и аллотеза (чередования) согласных корня для формирования корневого фонда семитских языков. В 60—70-е годы следуют работы по сравнительной типологии семитского слова, исторические исследования развития морфологических категорий в семитских языках, в университетах читаются сравнительно-исторические курсы арабского и семитских языков.

В научных центрах Ленинграда и Тбилиси продолжается изучение древнесемитских языков, открыта историческая связь некоторых частей сложного предложения с глагольными формами в аккадском языке, создан сводный словарь языка арамейских памятников, начинается исследование памятников угаритского и финикийского языков. Изучение большой группы восточноарамейских диалектов показало, что эта группа типологически и генетически представляет новейшую стадию развития семитских языков. Исследуются также сирийский язык и сирийская грамматическая традиция. В Ленинграде, Москве и Тбилиси продолжается и расширяется изучение языков южносемитской группы: геэза, амхарского, тигре, тигринья, написан очерк южноаравийского языка.

В области египтологии в последние десятилетия осуществлено историческое исследование грамматики египетского языка древних периодов и грамматики коптского языка как позднейшей стадии развития египетского. Сравнительное исследование вокализма древнеегипетского языка, проведенное М. А. Коростовцевым, показало, что его система типологически сближается с системой языков банту. В 50-х годах в Советском Союзе начинается изучение языков ливийско-берберской ветви. Все более расширяется круг изучения кушитской и чадской групп, что дало возможность приступить и к историческим реконструкциям фонологической системы этих языков.

Привлечение новых языков афразийской семьи и отдельные исследования их строя позволили уже в 60-е годы создать обобщающие работы, пересматривающие и уточняющие генеалогическую классификацию семито-хамитских языков, выдвинуть новую реконструкцию корней периода, предшествовавшего протосемитохамитской общности, и начать коллективный труд по подготовке под руководством И. М. Дьяконова фундаментального сравнительно-исторического словаря афразийских языков.

Второй большой областью развития семитологии является изучение литературного арабского языка и арабских диалектов, которые стали объектом как сравнительного, так и типологического и структурного исследования и описания. Арабская диалектология обогатилась результатами открытия двух среднеазиатских арабских

диалектов. Установлено, что генетически они восходят к бедуинско-месопотамской группе арабских диалектов.

В 50-е годы в Институте востоковедения АН СССР при участии и под руководством Г. Ш. Шарбатова и Ю. Н. Завадовского формируется центр по широкому исследованию и описанию современных арабских диалектов — египетского, суданского, йеменского, иракского, группы диалектов Магриба. Накопление материала позволило создать обобщающую концепцию типологической эволюции арабского языка от синтетического строя (представленного классическим и современным литературным языками) к аналитическому (в современных диалектах), дать типологическую классификацию арабских диалектов Магриба.

В области социолингвистических исследований изучение арабских диалектов привело арабистов к постановке вопроса о соотношении современного литературного арабского языка и диалектов. Этот вопрос получает теоретическую и конкретную разработку на основе изучения языковых ситуаций в отдельных странах.

Лексикология и лексикография составляют существенную часть в развитии семито-хамитского языкознания. Они представлены большими арабско-русскими и русско-арабскими словарями современной литературной и диалектной лексики, словарями языков иврит, хауса, амхарского, исследованиями по лексикологии современного арабского языка.

В послеоктябрьский период богатая санскритологическая традиция в области изучения **языков Индийского субконтинента** была дополнена глубоким и систематическим изучением современных индийских языков. Большая заслуга в этом принадлежит А. П. Баранникову. Заметный подъем в развитии индийского языкознания наметился с середины 50-х годов, что выразилось в расширении тематики исследовательской работы, в вовлечении в сферу исследований языков, находившихся ранее вне поля зрения лингвистов-индологов, в углублении профиля и повышении теоретического уровня научных изысканий. Ныне вопросы индийского языкознания разрабатываются не только в Москве и Ленинграде, этих традиционных центрах индологических исследований, но также и в Ташкенте, Тбилиси, Душанбе. В сферу научных интересов советских индологов включены все важнейшие индоарийские и дравидийские языки, проводится описание дардских языков, предприняты шаги по изучению языков Непала и языков группы мунда.

Наиболее широко развиваются исследования, посвященные описанию и изучению строя современных индийских языков. В области фонетики и фонологии основное внимание исследователей привлекают вопросы, связанные с выявлением фонем и построением фонологических систем отдельных языков, а также с описанием фонетического строя и исследованием отдельных частных вопросов. На основе экспериментального обследования дано изложение основных вопросов фонетики, фонологии и морфонологии языка кашмири. За последние годы опубликован ряд грамматик и монографий, посвященных крупным узловым вопросам грамматического строя современных индоарийских и дравидийских языков, в том числе грамматика тамильского языка М. С. Андронова, грамматика языка хинди С. М. Дымшица и грамматика языка панджаби Ю. А. Смирнова, монография Г. А. Зографа, посвященная морфологическому строю новых индоарийских языков, и др. Из числа вопросов лексикологии и словообразования исследовались проблемы формирования современной терминологии, этимологической гетерогенности лексики, образования и классификации сложных слов, антропонимики и терминов родства.

Хотя диалектологические исследования в индологии и не получили еще достаточного развития, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, получил освещение вопрос о диалектах тамильского языка и о соотношении с ними литературного тамильского, исследовано влияние диалектов на литературный хинди в области грамматики и лексики, рассмотрен вопрос о дакхини — южноиндийской разновидности хинди, обнаружен и описан один из среднеазиатских индоарийских диалектов — диалект группы парья, исследуются диалекты цыганского языка.

Исследования социолингвистического направления в индологии касаются прежде всего языковой ситуации в хиндиязычном ареале или в отдельных его районах, в частности в Бихаре и Раджастане, обсужден вопрос о месте и роли языка хинди в современной Индии, показана роль языка урду в Пакистане и Индии, отмечены особенности языковой ситуации в Тамилнаде и Пенджабе, а также в сопредельных с Индией странах: Непале, Пакистане и Шри Ланка. Особо рассмотрен вопрос о развитии индийских языков в связи с развитием нации. Анализ языка литературных произведений, написанных в самом начале XIX в., позволил сделать вывод о существовании в Северной Индии еще в XVIII в. межобластного разговорного языка хиндустани. Исследована также литературная традиция на южном хиндустани.

На основе конкретного изучения отдельных языков и групп сформировалось направление, занимающееся общими вопросами индоарийского и дравидийского языкознания, в частности такими, как черты сходства типологического порядка между современными индоарийскими и дравидийскими языками, роль санскрита в развитии и становлении новоиндоарийских литературных языков, отмирание префиксации и развитие послелогов в индоарийских языках, развитие личных и указательных местоимений в индоарийских языках, история дравидийской семьи языков в свете данных глоттохронологии, диахроническая фонология индоарийских языков, сравнительная грамматика дравидийских языков и т. д.

Продолжаются исследования протоиндийских текстов, предварительные результаты которых позволяют сделать вывод, что язык текстов, зафиксированных в письменности культуры долины Инда, относится к дравидийскому типу.

Широкий размах в индологии за последние десятилетия получила лексикографическая работа, в первую очередь по языку хинди. Вышел в свет составленный коллективом авторов двухтомный хинди-русский словарь (под ред. В. М. Бескровного), издан русско-хинди словарь. Созданы большие словари языка урду, а также словари языков панджаби, бенгальского, непальского, тамильского, сингальского, малаялам, телугу.

Традиции русской дореволюционной востоковедной школы в области **монголистики** после Октябрьской революции были продолжены Б. Я. Владимирцовым, основателем советской школы изучения монгольских языков, а также сравнительного изучения монгольских, тюркских и тунгусо-маньчжурских языков, объединенных общим названием «алтайские языки».

До сих пор остается спорным вопрос, восходят ли общие элементы этих языков к языку-основе (так называемая алтайская гипотеза) или они являются результатом многовековых контактов между носителями этих языков. Именно по этой причине сравнительно-историческое изучение всех монгольских языков, их диалектов и говоров является одним из важных направлений современного монгольского языкознания,

которое уже располагает в этой области трудами Г. Д. Санжеева, Т. А. Бертагаева, других советских монголистов. В настоящее время на материале классического и современных монгольских языков и диалектов разрабатываются вопросы исторической фонетики и фонетики отдельных монгольских языков.

Внимание монголистов привлекали и привлекают узловые проблемы грамматики монгольских языков. Начиная с 40-х годов в течение нескольких десятилетий ведется планомерное исследование грамматического строя различных монгольских языков, в результате чего был создан ряд практических и научных грамматик по современным монгольским языкам. Дальнейшая дифференциация исследований привела к углубленному исследованию ряда спорных проблем, связанных с изучением частей речи и грамматических категорий на материале старописьменного монгольского и современных монгольских языков.

Активно разрабатывается в монголистике и область сравнительно-исторического изучения лексики монгольских языков. По новому освещены также проблемы типологии агглютинативных и флективных языков, в результате чего в агглютинативных языках выявлено присутствие аналитизма и флексии. Продолжается составление словарей по монгольским языкам, имеющее давние традиции в отечественном монголоведении. Помимо учебных словарей, составлены двуязычные словари по бурятскому и калмыцкому языкам, корневой этимологический словарь монгольских языков.

Не ослабло внимание к текстологическому изучению, переводу на русский язык и изданию памятников монгольской письменности. Опубликованы предварительные результаты дешифровки киданьского письма, чрезвычайно важные для монголистики, поскольку одна из существующих гипотез связывает появление монгольского письменного языка с киданями.

За последние годы впервые в советской монголистике описаны и исследованы малоизученные языки и диалекты монгольских народностей, проживающих на территории Китая. Заслугой советского монголоведения являются большие достижения в области изучения бурятского и калмыцкого языков. Широко ведется исследование звукового состава, усовершенствуются орфографии этих языков, созданы научные грамматики, изучаются лексика и фразеология, составляются национально-русские и русско-национальные словари, исследуются грамматические категории и синтаксические конструкции. Начиная с 50-х годов ведутся планомерные исследования диалектов и говоров этих языков с монографическим описанием их фонетических, морфологических и лексических особенностей. Научными центрами по изучению монгольских языков являются Москва и Ленинград, а также Улан-Удэ и Элиста.

Развитие **японского языкознания** в советский период связано прежде всего с трудами таких крупных ученых, как Е. Д. Поливанов, Н. И. Конрад, А. А. Холодович, с работами их учеников и последователей И. Ф. Вардуля, Н. А. Сыромятникова, И. В. Головнина и др.

Для современного состояния научного изучения японского языка характерно достаточное разнообразие тематики. Большое внимание уделяется истории языка: в работах по древнеяпонскому языку (VIII в.), классическому японскому языку (IX—XII вв.), новояпонскому языку (XVI—XVIII вв.) на материале оригинальных памятников рассматриваются во взаимной связи вопросы фонетики, письменности, лексики, грамматического строя, диалектных явлений.

В области морфологии японского языка, после фундаментального труда Н. И. Конрада о синтаксисе японского языка, где наряду с собственно синтаксическими проблемами освещены главные морфоло-

гические разряды слов, в настоящее время исследования сконцентрировались в сфере грамматических категорий глагола, в частности, на вопросе о системе времен новояпонского языка, на проблемах управления, диатезы и залога в японском языке, исследуется специфическая грамматическая категория японского языка, манифестирующаяся в формах вежливости.

Крупными исследованиями отмечено изучение синтаксиса японского языка. На основе тезиса о существовании двух изоморфных уровней — синтаксического и супрасинтаксического (потенциально-синтаксического и актуально-синтаксического), исследованы наиболее спорные и наименее разработанные проблемы синтаксиса.

Исследования в области лексикологии и словообразования японского языка выявили такие его особенности, как синтаксичность японских слов определенного типа, сложность формальной и семантической структуры, дробность выражаемых понятий, многочисленность синонимов. Несомненны успехи японской лексикографии. Среди многочисленных японско-русских и русско-японских словарей выделяется «Большой японско-русский словарь» (под ред. Н. И. Конрада), получивший в 1972 г. Государственную премию СССР. Все более обобщающий характер стало носить изучение иероглифической письменности японского языка. В последние годы начали развиваться также прикладные исследования японского языка с целью создания автоматического перевода с японского на русский.

Социолингвистические проблемы поднимаются в связи с популярной в Японии теорией «языкового существования». Советская японистика стремится показать связь этой теории с историческими особенностями формирования японского национального языка, дать ее критический анализ с позиций марксистского советского языкознания. В последние годы японский язык все чаще привлекается, особенно в работах И. Ф. Вардуля, для общеязыковедных, типологических и методологических исследований.

В советский и особенно в послевоенный период с расширением культурных и научных контактов между СССР и КНДР активизировалась и работа по изучению **корейского языка.** Большой вклад в исследования по корейскому языку внесли Е. Д. Поливанов, А. А. Холодович, В. А. Хван Юн-дун, а также Ю. Н. Мазур, Л. Б. Никольский и др. 50—60-е годы — период значительного подъема корейского языкознания. Он ознаменован выпуском ряда крупных работ, а также притоком молодых сил. Значительное место в исследованиях по корейскому языку стало занимать типологическое сопоставление корейского языка с другими языками, исследуется место корейского языка в генеалогической классификации языков, по-прежнему остается спорной точка зрения сторонников «урало-алтайской гипотезы». В 50—60-х годах достигнуты некоторые успехи в экспериментальном исследовании звуков корейского языка и изучении его фонологической системы.

Наибольшую долю исследований по корейскому языкознанию составляют работы по грамматике, в первую очередь по морфологии. Внимание исследователей концентрируется на проблеме частей речи и грамматических классах служебных слов, исследуются основные вопросы морфемики, формо- и словообразования. В поле внимания советских кореесведов находятся и современные процессы словотворчества в связи с происходящими в КНДР процессами демократизации и упорядочения лексики. Значительного успеха в последние годы добилась корейская лексикография, издан самый полный из двуязычных словарей корейского языка «Большой корейско-русский словарь» (под ред. Л. Б. Никольского и Цой Ден Ху), явившийся результатом многолетнего совместного труда ученых СССР и

КНДР. В области изучения языка старописьменных памятников и лингвистических концепций прошлого сделана попытка интерпретировать метаязык первого памятника корейской письменности «Хунмин чоным» в терминах эпохи его создания.

Качественно новым содержанием, значительным расширением сферы и глубины исследований характеризуется развернувшееся в нашей стране после Октябрьской революции широкое изучение **китайского языка.** В довоенный период оно концентрировалось вокруг трех направлений — изучения китайской письменности, изучения фонетики и изучения грамматического строя. Послевоенный период характеризуется усилением внимания к проблемам грамматического строя и типологии китайского языка, широкой подготовкой научных кадров китаистов, монографическим исследованием отдельных крупных проблем и созданием обобщающих работ. Большой вклад в развитие этих исследований и подготовку кадров внесли В. М. Алексеев, Е. Д. Поливанов, А. А. Драгунов, В. С. Колоколов, Б. К. Пашков, И. М. Ошанин, Н. Н. Коротков, их ученики и последователи: В. М. Солнцев, С. Е. Яхонтов, Ю. В. Рождественский, В. М. Горелов, М. К. Румянцев и др. В настоящее время научными центрами изучения китайского языка остаются главным образом Москва и Ленинград, а также ряд университетов в Сибири и на Дальнем Востоке.

В области *исследования грамматического строя* китайского языка в 50—60-е годы много внимания было уделено проблеме специфики китайского слова, его границам и морфологической структуре. Вслед за критикой тезиса об аморфности китайского слова было предпринято широкое исследование проблемы китайского слова, введено понятие системы форм применительно к китайскому языку. Широко дискутировалась проблема частей речи, изучались синтаксические и морфологические признаки китайского слова и т. п. В эти и последующие годы изучаются отдельные части речи, частные грамматические категории, проблема факультативности, некоторые другие вопросы морфологии китайского языка. В синтаксисе — природа синтаксических единиц, структура словосочетаний, функции служебных слов и роль порядка слов в организации синтаксических структур и некоторые другие вопросы.

В области *фонетики и фонологии* продолжают изучаться фонетические особенности китайского языка и его фонологическая структура. Характерным для современного этапа является широкое применение в исследованиях экспериментально-фонетических методов. Продолжаются *исторические и историко-филологические исследования*, изучается язык отдельных памятников, особенности китайского языка в различные периоды его развития.

В области *лексикографии* создано несколько китайско-русских и русско-китайских словарей. Вряд ли можно переоценить факт завершения под руководством И. М. Ошанина многолетней работы большого коллектива советских китаеведов по составлению Большого китайско-русского словаря в четырех томах, начатой еще при жизни В. М. Алексеева. Активно развиваются исследования китайской лексикологии. В последнее десятилетие широкое развитие получили *типологические исследования*. В рамках этого направления уточняется типологическая характеристика китайского языка, изучается природа изоляции и агглютинации, разрабатываются общие проблемы методологии исследования изолирующих языков.

Накопление сведений во всех областях китайского языка позволило осуществить в настоящее время переход к общесистемным и общеструктурным исследованиям. Одновременно появляются и работы, принадлежащие уже к собственно общеязыковедческому плану, хотя стимулом к созданию

таких работ послужило углубленное изучение специфики изолирующих языков. Мы имеем в виду такие работы: «Язык как системно-структурное образование», «Типология слова» и некот. др.

Развитие **тибетологии** как историко-филологической дисциплины, связанной с переводом, комментированием и анализом памятников тибетской буддийской литературы, насчитывает уже в нашей стране более ста лет. Сравнительно интенсивное изучение самого тибетского языка началось в Советском Союзе с 50-х годов и связано с деятельностью крупного востоковеда и тибетолога Ю. Н. Рериха. В настоящее время в Институте востоковедения заканчивается подготовка к печати тибетско-русско-английского словаря с санскритскими параллелями, первоначальная рукопись которого была составлена Ю. Н. Рерихом.

В советский период сложилась и **тангутика**, обязанная своему появлению и развитию Н. А. Невскому, чей капитальный труд «Тангутская филология» был удостоен Ленинской премии. Работу в этой области продолжили М. В. Софронов и Е. И. Кычанов.

В послевоенный период в нашей стране появилась и в короткие сроки сложилась новая отрасль советского восточного языкознания — **изучение языков Юго-Восточной Азии.** Начало научному изучению этой группы языков было положено созданием в 1958 г. по инициативе Г. П. Сердюченко Сектора языков Южного Китая и Юго-Восточной Азии в Институте востоковедения АН СССР. Несколько ранее началось преподавание некоторых из языков Юго-Восточной Азии в вузах страны. В орбиту научных исследований в настоящее время вовлечены такие языки, как вьетнамский, тайский, лаосский, шанский, кхмерский, бирманский, качинский, ряд языков малайско-полинезийской семьи (индонезийский, филиппинский, яванский, мальгашский, сунданский и др.), языки тибето-бирманской, тайской и мяо-яо семей языков, распространенные на территории КНР (в частности, чжуан, ну,лы и др.). В ходе исследований по языкам Юго-Восточной Азии сложился большой коллектив лингвистов-востоковедов, специалистов по этим языкам.

На направление исследований строя языков Юго-Восточной Азии в известной степени, особенно в первый период, оказала влияние проблематика китаеведения в связи с относительно высоким уровнем исследований в области китайского языка и известным типологическим сходством многих из этих языков с китайским. В центре внимания исследователей оказались такие проблемы, как характеристика фонетической системы и фонологического строя языков Юго-Восточной Азии, характеристика слова, критерии выделения частей речи, характеристика служебных слов и морфем, проблема морфологических категорий, изучение словообразовательных моделей, моделей словосочетания, проблема повторов, синтаксические связи в предложении и словосочетании, структура и классификация предложений. Было создано несколько фундаментальных описаний языков Юго-Восточной Азии, в частности кхмерского, чжуан, индонезийского, опубликованы монографические исследования отдельных узловых проблем конкретных языков. Большой вклад внес в изучение кхмерского языка ныне покойный Ю. А. Горгониев. Наряду с этим велась и лексикографическая работа. Вышли в свет вьетнамско-русские и русско-вьетнамские словари, тайско-русский, кхмерско-русский, словари индонезийского и бирманского языков, готовится лаосско-русский словарь.

Накопление большого фактического, теоретически осмысленного материала позволило в сравнительно короткие сроки перейти к следующему этапу исследований по языкам Юго-Восточной Азии — к созданию обобщающих работ по всей этой группе языков. Уже на первом этапе наряду с изучением строя конкретных отдельных языков начались и сравнительно-типологические исследования языков Юго-Восточной Азии.

В настоящее время в Институте востоковедения под руководством В. М. Солнцева и Ю. Я. Плама ведется работа над большим проектом, связанным с типологической и генетической классификацией языков Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Завершается работа по созданию первого коллективного труда, содержащего типологические и генетические исследования. Эту работу можно рассматривать лишь как первый шаг в направлении, представляющем пока одну из наиболее сложных, спорных и нерешенных проблем в области изучения языков Юго-Восточной Азии. Так, до сих пор спорными остаются такие вопросы, как вопрос об объеме понятия и границах аустроазиатской семьи, о границах и составе китайско-тибетской семьи, о месте тайских языков, о принадлежности группы языков мяо-яо, о генетических связях между этими семьями и группами языков и об отношении их к малайско-полинезийской семье и т. п.

Подводя итоги, необходимо сказать, что ныне восточное языкознание в Советском Союзе представляет собой обширную интенсивно развивающуюся на основе применения современных лингвистических методов сферу исследований самых различных аспектов многочисленных языков народов Востока. О широте охвата этих языков и глубине исследований свидетельствует тот факт, что в издаваемой в нашей стране серии очерков «Языки зарубежного Востока и Африки» за сравнительно короткий срок опубликовано свыше 110 монографических описаний восточных языков и еще около 20 готовятся к изданию. Практически почти все ведущие востоковеды-лингвисты нашей страны приняли участие в написании выходящего сейчас в свет восьмитомного обобщающего издания «Языки зарубежной Азии и Африки». Важной вехой в развитии восточного языкознания явился и I Международный симпозиум ученых социалистических стран по теоретическим проблемам восточного языкознания, состоявшийся в Москве в конце 1977 г.

В настоящее время работа советских востоковедов-лингвистов развивается по следующим основным направлениям:

1. Исследование строя восточных языков. В этой области наши ученые работают над созданием фундаментальных грамматик и капитальных академических словарей важнейших восточных языков, активно расширяют круг изучаемых языков (особенно языков Индийского субконтинента и Юго-Восточной Азии), ведут работу по монографическому описанию ряда языков, исследуют отдельные узловые проблемы.

2. Типологические и общелингвистические исследования. Особое внимание здесь уделяется введению материала восточных языков в сферу общетеоретического рассмотрения, а также решению собственно теоретических проблем общего языкознания на базе и с учетом достижений восточного языкознания и фактов восточных языков.

3. Историко-генетические исследования. Здесь следует отметить работу по выявлению генетических отношений многих групп и семей языков, определению принадлежности отдельных языков, ликвидации «белых пятен» в этой области исследований (в частности, по проблеме языков Юго-Восточной Азии, по урало-алтайской гипотезе, по уточнению классификации афразийских языков и т. д.).

4. Историко-филологические исследования, в первую очередь изучение языка древнеписьменных памятников, публикации и комментарии, освоение богатого рукописного наследия культуры народов Востока.

5. Социолингвистические исследования. В этом направлении развертывается изучение национально-языковой ситуации и национально-языковой политики в странах зарубежного Востока, разрабатываются узловые вопросы социолингвистической теории.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

НИКОЛЬСКИЙ Л. Б., ОХОТИНА Н. В.

ПРОБЛЕМАТИКА СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВЕТСКОМ ВОСТОКОВЕДЕНИИ

Нынешний этап социолингвистических исследований в советском востоковедении характеризуется охватом двусторонних связей между языком и обществом. Иными словами, объектом исследования стали как явления и изменения в функциональном распределении языковых образований и внутренней системе языка, обусловленные социальными факторами, так и роль языка среди социальных факторов, определяющих общественную эволюцию в странах Азии и Африки.

Несмотря на отсутствие достаточной ясности в теоретическом плане относительно того, как можно объединить два противоположных направления (существует попытка противопоставить собственно социолингвистике лингвосоциологию), эти исследования существенно дополняют наши представления об онтологии языка и языковых процессах, а также вносят вклад в понимание протекающих в странах Азии и Африки социально-политических сдвигов.

Изложение проблем востоковедной социолингвистики целесообразно начать с установления роли языка в афро-азиатских обществах и постановкой вопроса о социальных функциях языка.

Имеются основания выделять четыре социальные функции языка, благодаря которым язык становится в один ряд с другими социальными факторами (экономическими, политическими, этническими).

1. Консолидирующая функция, которую язык выполняет в ходе этнической консолидации, вследствие чего несколько этнолингвистических общностей сливаются в одну более крупную и язык той из них, который играет роль центра, узла этнической консолидации [1], усваивается другими (арабы, ибо в Африке, пуштуны в Азии).

2. Разъединяющая функция, когда преобладающая в этническом развитии центростремительная тенденция прерывается из-за возрождения или усиления центробежной тенденции. В результате складывающееся единство подрывается, и этнические общности, стихийно вовлекавшиеся в состав более крупной этнической единицы, выдвигают требования официального признания их языка, а иногда и выделения их в особую территориально-языковую единицу (майтхильцы в Индии, брагуи в Пакистане).

По-видимому, можно трактовать язык как разъединяющий фактор и в тех случаях, когда нация или народность оказывается разделенной политическими границами. Тогда в связи со спецификой социального развития или в связи с лингвистическими причинами (опора на разные диалекты, использование разных систем письма) в литературном языке по обе стороны границы накапливаются особые черты.

3. Интегрирующая функция, когда язык становится орудием объединения разноязычных народов в национально-политическую общность в пре-

[1] Р. Н. Исмагилова, Этнические проблемы современной тропической Африки, М., 1973.

делах одного государства (бахаса индонесиа в Индонезии, суахили в Танзании).

4. Символическая функция, когда один из языков населяющих государство этнических общностей сознательно выдвигается на роль общегосударственного. До тех пор пока этот язык не стал ни средством межэтнического общения, ни фактором внутригосударственной интеграции, он остается лишь символом такой интеграции.

Социальные функции языка взаимосвязаны следующим образом.

Консолидирующая и интегрирующая функции не противоречат друг другу. Например, индонезийский язык, распространяясь по всей стране, упрочивает национально-государственное единство Индонезии. Но будучи орудием национально-политической интеграции, этот язык не является препятствием для формирования социально-этнических общностей на базе национальных языков (таких, как яванский, сунданский, минангкабау).

Разъединяющая функция тесно связана с консолидирующей, поскольку представляет собой преобразование этой функции, которую язык выполняет внутри общности, стремящейся к самоутверждению, а иногда и к отделению. Иначе говоря, предпосылкой появления у языка разобщающей функции является высокая степень внутриэтнической консолидации и, как следствие, лингвистической гомогенности ее языка.

Наконец, символическая функция при благоприятных социально-политических условиях может преобразовываться в интегрирующую, что, как говорилось, произошло с индонезийским языком и происходит с суахили в Танзании. Эти языки соответственно заменили голландский и в значительной мере английский.

Социальные функции, выполняемые языками в афро-азиатских странах, и их динамику учитывают при описании языковых ситуаций, которые являются следующим объектом исследований советских социолингвистов-востоковедов. В советской социолингвистике утвердился взгляд на языковую ситуацию как на функциональную иерархию языков, диалектов, функциональных стилей. В этом смысле языковая ситуация противопоставляется этнолингвистической ситуации — совокупности языковых образований различных этносов безотносительно к их социальному взаимодействию. Изучение языковой ситуации предполагает установление частных коммуникативных функций [2] по соотнесенности со сферами общения, которые совпадают с областями социального взаимодействия. Учет частных коммуникативных функций является той основой, на которой строится функциональная или социолингвистическая классификация языковых образований (одна из них включает язык-макропосредник, региональный язык, профессиональный язык, ритуальный язык). Понятие языковой ситуации используется как при описании функционального взаимоотношения языков в многонациональном государстве, так и форм существования языков в мононациональном государстве. Различие в этнолингвистическом составе населения фиксируется в терминах «экзоглоссная языковая ситуация» и «эндоглоссная языковая ситуация». Понятие языковой ситуации как системы функционально стратифицированных языковых образований продуктивно использовалось советскими востоковедами, равно как и весь понятийный аппарат этого раздела социолингвистики.

Сейчас на основе социолингвистических характеристик отдельных афро-азиатских стран необходимо перейти к разработке типологии язы-

[2] В. А. Аврорин, Проблемы изучения функциональной стороны языка (К вопросу о предмете социолингвистики), Л., 1975.

ковых ситуаций. Естественно, что создание такой типологии требует уточнения ряда используемых понятий с учетом специфических условий конкретных стран.

Так, при попытке построения единой типологической модели применительно к описанию языковой ситуации в странах Африки, необходимо учитывать характерную для подавляющего большинства стран этого континента чрезвычайную этническую и языковую пестроту, наличие би- и полилингвизма, экзоглоссию, наличие многоступенчатой функциональной иерархии языков и диалектов. Исходя из сложности исследуемого объекта, основной единицей типологизации избирается подход несколько отличный, чем это распространено в практике социолингвистических описаний, где, как известно, используются в качестве единицы описания языковые ситуации отдельных стран, реже — более мелких, но также политико-административных единиц. Однако при разработке первого яруса социолингвистической типологии подход, ориентированный на страны, оказывается недостаточно эффективным. Это становится особенно очевидным, если обратиться к таким регионам, как Западная Африка, ввиду общеизвестного факта искусственности политических границ расположенных здесь стран, сохраняющих в большинстве своем конфигурации прежних колониальных территорий. Эти территории, имевшие статус отдельных и целостных политико-административных единиц, в действительности оставались рассеченными старыми границами традиционно-сложившихся и относительно замкнутых этно-культурно-хозяйственных ареалов. Такое положение в значительной мере сохраняется и в настоящее время, и поэтому языковые ситуации, например, почти всех западноафриканских стран фактически представляют собою не единое социально-языковое целое, а мозаику более мелких этно-языковых ареалов, в границах которых и протекают реальные социолингвистические процессы.

Столь существенное обстоятельство заставляет отказаться на данном этапе построения социолингвистической типологии от единиц политико-административного деления и прежде всего от единицы «государство». В разрабатываемой модели основным и исходным является понятие коммуникативной среды (КС), которая определяется как исторически сложившаяся этно-социо-языковая общность, характеризуемая относительно стабильными и регулярными внутренними коммуникативными связями и определенной территориальной локализованностью [3].

Следующим ярусом является генерализация полученных описаний. Необходимо отметить, что второй этап типологизации ориентирован исключительно на ситуацию в Африке с ее специфическим соотношением природно-географических, социально-экономических и этно-языковых поясов. Если типология в терминах КС имеет, как представляется, универсальный характер, то конкретная форма второго яруса типологии может быть различна для разных регионов мира. Для Западной Африки оказалось возможным наметить три более общих социолингвистических типа, которые можно назвать социолингвистическими зонами: внутренняя (континентальная), прибрежная и переходная. Каждая зона состоит из ряда КС, которые, различаясь между собой по некоторым признакам, имеют одновременно ряд общих характеристик, позволяющих включить их именно в ту или иную зону.

Понятие социолингвистической зоны позволяет естественно перейти к третьему ярусу типологии, связанному с описанием социолингвисти-

[3] В. А. Виноградов, А. И. Коваль, В Я. Порхомовский, Коммуникативная среда как основной объект социолингвистической типологии, «Тезисы докладов I Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему „Теоретические проблемы восточного языкознания“», ч. 1, М., 1977.

ческих ситуаций уже в отдельных странах. Это осуществляется путем указания, в какие зоны входит данная страна, с различением монозональных и полизональных стран [4].

Изучение динамики языковой ситуации самым тесным образом связано с познанием детерминирующих их причин или факторов. Из всех факторов, определяющих развитие языковой ситуации (объективных, субъективных) [5], первостепенное внимание уделяется исследованию языковой политики. Под языковой политикой понимается совокупность мер, принимаемых государством, партией, классом, общественной группировкой для изменения или сохранения существующего функционального распределения языков или языковых подсистем, для введения новых или сохранения употребляющихся лингвистических норм. Из определения становится ясным, что языковая политика относится к факторам субъективным и прежде всего имеет дело с выбором языка, языковой подсистемы, языковой единицы для тех или иных коммуникативных целей. Целью конструктивной языковой политики является оптимализация языкового общения, и при составлении программ такой политики учитывается создавшаяся языковая ситуация и тенденции ее развития. Но кроме оптимализации общения, при разработке и осуществлении языковой политики ставятся политические цели, которые определяются интересами тех или иных классов, этнических общностей, задачами культурного строительства, идеологическими соображениями, в том числе религиозными.

В послевоенный период в курсах языковой политики многих стран Азии и Африки наибольшее отражение находит национализм. При этом на этапе упрочения завоеванной независимости национализм редко проявляется «в чистом виде», как это было, например, в языковой политике Японии с началом военных действий против США во второй мировой войне, когда из японского языка стали изгоняться американизмы.

Связь между национализмом и языковой политикой сейчас значительно сложнее, чем она была в период борьбы за независимость, когда национализм в форме этнически обезличенной, антиколониальной по своей сущности идеологии отражался обычно в языковой политике в виде требования заменить одним из автохтонных языков язык колонизаторов (независимо от готовности местного языка к такой роли, при сочувственном отношении к таким актам со стороны других этносов, выступавших против засилия языка бывшей метрополии), либо в виде вспышек пуризма, направленного против заимствований из языка колонизаторов.

В языковой политике освободившихся стран на этапе самостоятельного развития национализм проявляется уже в форме идеологии и политики определенных классов или слоев одной из этнических общностей, захвативших политическую власть, экономические позиции в стране или то и другое одновременно. В условиях превращения национализма в социально ориентированную идеологию и утраты им антиколониальной направленности те акты, которые до освобождения вызывали сочувствие всех этносов, стали расцениваться как проявление шовинизма доминирующей народности и встречали сопротивление. Теперь необходимым качеством, например, языка, выдвигаемого на роль общегосударственного, является его политическая (точнее, этническая) нейтральность.

[4] В. А. Виноградов, А. И. Коваль, В. Я. Порхомовский, Типология социолингвистических зон и языковые проблемы многонациональных государств Западной Африки, «Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран (Материалы к II Всесоюзной конференции африканистов в СССР)», ч. 2, М., 1974.

[5] В. А. Чернышев, Факторы складывания и изменения языковой ситуации, «Проблемы изучения языковой ситуации и языковой вопрос в странах Азии и Северной Африки», М., 1970.

К такому языку предъявляется еще одно требование — приближаться по уровню развития к западноевропейским языкам.

Повышение конкурентноспособности местных языков во многом зависело от терминотворческой деятельности, развернувшейся широким фронтом после освобождения. Но в этот период в терминотворчестве преобладал пуризм, обращенный против влияния Запада. Тем не менее не просто отказ от заимствований из западноевропейских языков, а ориентация на языки традиционной культуры (санскрит, пали), не допускавшая использования также ресурсов современных местных языков, тормозила терминотворческую работу.

Выбор источников для пополнения лексики тоже был данью национализму, который в области культурного строительства проявляется как идеализация культуры прошлого.

Таким образом, языковая политика не может изучаться в отрыве от внутренней политики, социальных процессов и идеологических явлений. Учет целей, политических установок и различных мотивов позволяет в предварительном порядке выделить следующие характеристики языковой политики.

По направленности: а) ретроспективность, когда меры языковой политики направлены на сохранение существующего функционального распределения языковых образований (вопреки стихийной тенденции изменить его) или на сохранение существующих языковых норм, расшатываемых практикой носителей языка; б) перспективность, когда меры языковой политики предусматривают изменения в функциональном распределении языковых образований и в их нормах.

По классовому содержанию: а) демократичность языковой политики, если она обеспечивает решение языковых проблем в интересах большинства населения; б) антидемократичность, если она ориентируется на интересы социального меньшинства.

По этнической ориентации: а) интернационалистичность языковой политики, если она в многонациональном государстве исходит из равноправия языков всех народов, а в однонациональном государстве проявляется терпимость к иноязычным элементам, проникшим и отложившимся в нем в результате языковых контактов; б) националистичность языковой политики, когда она характеризуется в многонациональном государстве ориентацией на язык одной из этнических общностей, а в однонациональном государстве обращена против использования иноязычных элементов и противопоставляет им исконные как единственно приемлемые.

В языковой политике страны могут сосуществовать выделенные характеристики, в том числе «положительные» и «отрицательные» (например, демократичность и националистичность).

Языковая политика является одним из социальных факторов, оказывающих влияние на функционирование и развитие языка. Она может обусловливать функциональное распределение языков и языковых подсистем, способствуя выдвижению на более высокий уровень одних и препятствуя распространению и ограничивая применение других, а также может воздействовать непосредственно или через развитие частных коммуникативных функций на эволюцию языковых систем и подсистем. В последнем случае возникает ряд проблем, связанных с изменениями в системах афро-азиатских языков, в частности, проблема влияния коммуникативно-функционального статуса языка на процессы изменения его структуры.

Особо богатый материал в этом отношении обнаруживают языки генетически родственные (из африканских языков, например, языки банту),

коммуникативные статусы которых представляют значительное разнообразие — от узко внутриэтнических до межэтнических и надэтнических языков. Наиболее эффективным в данном плане является сопоставление некоторых звеньев грамматической структуры, типологически общих для исследуемых родственных языков с отличным коммуникативным статусом. Для языков банту, в частности, типологической общностью являются, как известно, системы согласовательных классов. Сравнение согласовательных классов, как на уровне выражения, так и на уровне содержания, с одной стороны, языков, которые выполняют разной широты функции межэтнического общения, а с другой, внутриэтнических языков, обслуживающих лишь частные коммуникативно-функциональные сферы, обнаруживает процессы большей или меньшей формальной нивелировки систем согласовательных классов, а также разную степень десемантизации этих классов.

Анализ подобного рода должен учитывать, как представляется, еще два экстралингвистических фактора: во-первых, временной фактор, т. е. продолжительность использования того или иного языка в качестве средства межэтнического общения, поскольку структурные изменения действенны только во времени. А во-вторых, продолжительность существования письменной традиции для языков межэтнического и надэтнического общения. Как правило, языки внутриэтнического общения являются бесписьменными, редко младописьменными. Естественно, что структурные изменения, выражающиеся в формализации и десемантизации классов в межэтнических и надэтнических языках, имеющих достаточной протяженности письменные традиции, в какой-то степени стабилизируются и приобретают более упорядоченный характер, чем это обнаруживается в младописьменных языках разной широты межэтнического общения. Переструктурализация систем согласовательных классов в тех или иных языках банту особенно ярко проявляется при ассимиляции небантуских лексических заимствований, поэтому исследование приемов ассимиляции, которые действуют в близкородственных языках, имеющих различный коммуникативный статус, приобретают особое значение.

Изучение степени влияния коммуникативного статуса языка на его грамматическую структуру, производимое на разных языковых уровнях и в языках различных семей, имеет конечную цель — выявить общие тенденции изменения и развития языков Азии и Африки примерно в одинаковых социально-политических условиях.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

АХМАНОВА О. С., ДОЛГОВА О. В.

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЗНАНИЕ ЯЗЫКА

В последнее время появилось много работ, посвященных изучению не только синтаксиса отдельных языков, но и содержащих серьезные теоретические обобщения в этой области. Если попытаться кратко суммировать имеющиеся несомненные достижения, то следует прежде всего обратить внимание на успешные попытки рассматривать произведения естественной человеческой речи в комплексе разных аспектов их изучения, приближаясь таким образом к единой и цельной синтаксической теории.

Если начать с самых основных положений собственно языкознания (оставляя пока в стороне все другие науки, имеющие своим предметом человеческую речь), то непосредственным предметом анализа явится изучение составляющих речь единиц и правил их соединения. Поэтому в нашей синтаксической традиции исходной является основная дихотомия номинативной и предикативной сторон речи: слова, фразеологические единицы как эквиваленты слов и словосочетания как свободные эквиваленты фразеологических единиц, с одной стороны [1], и разнообразные явления «большого синтаксиса» (в первую очередь разные способы выражения предикации) — с другой.

Номинативные единицы речи, хотя они и поддаются глобальному выделению и раздельному описанию в словарях, в аспекте членов предложения как бы распадаются на части. Иначе говоря, хотя такие словосочетания, как *умный мальчик* или *работать с интересом*, и представляют собой целостные номинативные образования, в аспекте выделения в речи членов предложения они ведут себя совершенно иначе. Так, в приведенном примере целостная номинативная единица распадается на соответствующую глагольную словоформу — (*он*) *работает*, (*мы*) *работаем* и т. д. и адвербиальный атрибут или «обстоятельство образа действия», в зависимости от интенции говорящего, выбирающего ту или иную диерему [2].

Тем не менее, в плане «малого синтаксиса» словосочетания выступают именно как таковые, т. е. как номинативные единицы. Они подчиняются своим собственным законам построения как целые, на основе общего для всех них принципа диалектического единства «коллигации» и «коллокации», т. е. в неразрывном единстве наиболее общего синтаксического пра-

[1] В. В. Виноградов, Вопросы синтаксиса современного русского языка, М., 1950; А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, М., 1957; О. С. Ахманова, А. А. Драздаускас и др., Синтаксис как диалектическое единство коллигации и коллокации, М., 1969; сб. «Проблемы неидиоматической фразеологии», М., 1971.

[2] М. Ш. Чхартишвили, Просодия комплетивной связи в синтаксисе современного английского языка. АКД, М., 1977.

вила и тех очень сложных и пока мало изученных отношений, которые определяются как «лексико-фразеологические».

Переходя к изучению сочетаний слов в речи как наиболее типичным соединениям данного типа синтаксической связи и данного содержания синтаксических отношений (регулярно и закономерно воспроизводимым в различных высказываниях), мы рассматриваем произведение речи как совокупность членов предложения. Напомним, что одним из выдающихся достижений советского языкознания является учение о динамическом синтаксисе, о функциональной перспективе предложения и сверхфразового единства. На этой основе развивается «научная текстология», переход от отдельно взятого предложения (и его функциональной перспективы) к перспективе сверхфразового единства и, далее, к динамическому построению всего текста. Ясно, что функциональная перспектива реализуется в первую очередь на уровне сверхфразового единства и, в конечном счете, обусловливается строением еще более протяженных частей (или разделов) данного речевого произведения. Понятно также, что реальное построение конкретных произведений — в особенности в устной речи,— определяемое выбором той или иной просодии, требует изучения целого ряда более частных вопросов, таких, как реализация или нереализация предицирующей паузы, способы выражения предикации, иногда противоречивые отношения между содержанием синтаксических отношений и их выражением. В последнем случае на помощь приходит просодия (выходящая за пределы собственно пограничных сигналов), восполняя пробелы собственно синтаксического выражения, о чем свидетельствуют, в частности, работы, посвященные синтаксису разговорной речи [3].

К этой же области синтаксического исследования принадлежит изучение закономерностей парентетического внесения [4]. Под этим термином мы подразумеваем разнообразные явления — от пауз и вводных слов до целых предложений, нарушающих плавное течение речи. Теперь уже можно считать установленным, что парентетические внесения могут органически входить в речь, находясь в непосредственной связи с выражением предикации, так как при наличии парентетического внесения, в особенности наиболее типичного и краткого, предицирующая пауза оказывается как бы вытесненной более сложным выражением предикативного отношения.

Важное место в учении о построении речи, созданном советским языкознанием, принадлежит учению о фразировке [5]. Сам этот термин используется главным образом в контексте высших форм словесно-художественного творчества и пока еще не проник в те регистры речи, которые составляют главный предмет настоящей статьи. Именно для регистра (или функционального стиля) научной речи особенно важно, наконец, добиться подлинного единства теории и практики, не ограничиваться простым провозглашением этого положения и показать, что чуждые нам синтаксические «теории» все еще распространяются и у нас. Необходимо показать, что эти теории неприемлемы не только в общеметодологическом плане, но прежде всего вследствие их оторванности от насущных языковедческих задач, их полной непригодности для удовлетворения насущных

[3] См., например: О. А. Лаптева, Русский разговорный синтаксис, М., 1976. сб. «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», VII, 1, Горький, 1976; и др.

[4] О. В. Долгова, Формы и функции парентетических внесений в английской научной прозе. АКД, М., 1976.

[5] А. М. Пешковский. Стихи и проза с лингвистической точки зрения, М., 1925; Б. В. Томашевский, О стихе, М., 1929.

жизненных потребностей пользующихся языком. Научная марксистско-ленинская синтаксическая теория основывается на объективной реальности речи: общее (язык) существует только в отдельном и через отдельное (т. е. во всем разнообразии отдельных произведений речи).

Языковедение принципиально отличается от интерлингвистики, от всевозможных логико-математических абстрактных теорий, которые направлены на удовлетворение ограниченных и специфических потребностей передачи и получения информации [6]. Касаясь этого вопроса, нельзя не пожалеть, что разнообразнейшие попытки решения интерлингвистических задач, восходящие к Лейбницу и Пеано и насчитывающие тысячи проектов, еще нигде не увенчались успехом.

Важнейшей отличительной чертой советского языкознания является то, что оно принципиально не допускает ограничения языковедческого исследования простым описанием. Поэтому все крупнейшие советские языковеды всегда проявляли живейший интерес к практике преподавания языков, постоянно следили за научной нормализацией речи, проявляли постоянную заботу о развитии основ литературного редактирования, остро реагировали на извращение синтактико-стилистических норм языка. В центре внимания всегда стоял вопрос об оптимальном построении речи, потому что язык как важнейшее средство человеческого общения служит не только для непосредственной передачи мыслей, но и для передачи их на расстоянии — в пространстве и во времени. Поэтому вся идеологическая борьба, все важнейшие методологические дискуссии, включая проблему мирного сосуществования, немыслимы без развитой человеческой речи во всей полноте ее семантического и стилистически-убеждающего аспектов.

Мы позволили себе кратко изложить основы синтаксической теории, которая развивается и совершенствуется для того, чтобы освещать путь практике языкового строительства в нашей стране, поднимать культуру русской речи. Теперь мы хотим остановиться на некоторых более частных вопросах, которым в нашей языковедческой литературе не уделяется достаточного внимания. Начнем с номинативных единиц речи в составе высказывания, так как именно этот аспект построения речи требует особенно пристального внимания. Дело в том, что с легкой руки некоторых «теоретиков» получил распространение своеобразный жаргон, систематически нарушающий правила «малого синтаксиса» русского языка [7]. Заметим, что этому способствовало неразличение филологии и семиотики, науки о естественных человеческих языках и «интерлингвистики», изучающей (правда, пока еще без того, чтобы привести в соответствие огромные затраты и получаемые результаты) разные подходы к созданию «вторичных» семиотических систем, информационно-логических языков и т. п. [8].

Обсуждение вопросов «ортологии» обычно принято и удобно начинать с рассмотрения случаев явного нарушения норм соответствующего

[6] См.: О. С. Ахманова, Е. А. Бокарев, Международный язык как лингвистическая проблема, ВЯ, 1956. 6; О. С. Ахманова. Лексикология и словарные проблемы машинного языка, «Pracy filologiczny» 18, 1. 1963 и др.

[7] Насколько остро сейчас стоит вопрос об элементарной правильности языка научной прозы, можно себе представить, если обратить внимание на следующее, по существу, незначительное обстоятельство. В статье О. С. Ахмановой, Ю. А. Бельчикова, В. В. Веселитского «К вопросу о „правильности“ речи» (ВЯ, 1960,2) разного рода очевидные ошибки, явное несоблюдение правил и законов общенародного языка, порождаемые его плохим знанием, при ортологическом исследовании во внимание не принимались. Теперь же это основная проблема.

[8] Эти вопросы многократно обсуждались в наших работах. Из новых работ см. особенно: Olga Akhmanova, Optimization of natural communication systems, The Hague—Paris, 1977.

«регистра» (функционального стиля). В работах, посвященных английской научной ортологии, мы неизменно старались показать, что первым шагом здесь неизбежно является, с одной стороны, констатация неблагополучия, и с другой — разбор реальных текстов, уже увидевших свет. С этого же естественно начать и при рассмотрении русского материала [9].

Для того чтобы не допустить недоразумения, напомним, что в настоящей статье материал относится только к научному языку, функциональному стилю сообщения, не имеющему отношения к словесно-художественному творчеству авангардизма и модернизма, где нарушение норм словоупотребления нередко представляется как основа «художественного метода».

Известно, что вполне оценить характер и степень нарушения норм речи можно только обращаясь к более протяженным текстам. Однако типичное пренебрежение к словосочетаниям русского языка можно показать и на отдельно выбираемых номинативных единицах, при условии, конечно, указания на текст-источник в целом.

Приводим материал, группируя его по возможности вокруг своего рода «ключевых» слов [10]:

принципиально родственные явления; *они имеют то принципиальное сходство, что;*

лингвистическая теория обеспечивает более общий взгляд;

предложения двух разных столбцов... не отличаются друг от друга;

относительно способа мыслить данную ситуацию;

вытекающие отсюда преимущества в отношении экономии и простоты;

но это частные случаи выражения подчеркивания;

для всякого человека, владеющего русским языком, очевидно;

все они (предложения) выражают тот факт, что; аналогичным образом связаны предложения (сходствуют предложения);

поскольку «вручить» — явным образом менее простой глагол, чем «дать»; они позволили одинаковым образом записывать семантическую информацию; (теория) была усвоена и интересным образом переработана; определяя характер настоящей работы указанным образом; не могут быть объяснены сконструированной указанным образом грамматикой; что они помогут четким образом ориентировать; извлеченная описанным образом из корпуса грамматика; который должен категорическим образом отделить; ясным образом понять;

реагировать на сообщение пожатием плеч;

исторические семантические процессы, разыгрывающиеся в пределах слова;

смоделировать речевое поведение человека; сконтактировать лингвистику с другими науками;

принимать уничижительную позу;

главные стимулы, способствовавшие написанию книги;

не уйдут в одиночество, огораживаясь традицией;

лишенные поддержки со стороны солидного материала;

выполняющий разного рода коммуникативную деятельность; механизм деятельности языка;

---

[9] Выбор в качестве источника книг В. А. Звегинцева «Предложение и его отношение к языку и речи» (М., 1976) и Ю. Д. Апресяна «Экспериментальное исследование семантики русского глагола» (М., 1967) объясняется тем, что именно здесь наиболее убедительно проявляется несостоятельность «теорий», не только не опирающихся на практику, но и прямо противоречащих ей. См. об этом также: О. С. Ахманова, Очередные проблемы языковедения, «Р. яз. в шк.», 1969, 3; О. С. Ахманова, Смысл естественных человеческих языков и рациональная семантика, «Ин. яз. в шк.», 1968, 3.

[10] Примеры взяты из указанных книг В. А. Звегинцева (стр. 3—40) и Ю. Д. Апресяна (стр. 5—18).

это огорчительное обстоятельство отнюдь не уникально;
а ныне Хомский говорит примерно так; как ныне поступают, когда;
в том виде, в каком она ныне существует;
имеют покуда декларативный характер;
исподволь же оно пытается справиться с ними другими мерами;
наличествует стремление отождествить корпус с речью;
подпадает под ведомство языка;
бифуркировать науку о языке;
в этом участвуют два разных явления;
абсолютное отключение от значимой стороны; в самых основах лежит коренная непоследовательность; с абсолютной недвусмысленностью;
встать на почву языка;
приведена не без тайного умысла;
подтверждает с новой стороны;
теория, аттестуемая Н. Хомским как генеративная; теория Н. Х., именуемая генеративной;
которая будет в дальнейшем именоваться употреблением; та область лингвистического исследования, которая именуется языком; в том колдовском действе, которое именуется языком; тот аспект языка, который именуется творческим;
отвратил лингвистику от проблем творчества;
значение исследования кроется в том факте, что;
инструктирование относительно релевантности;
перехлестываются за пределы собственно языкового;
лингвистика... подошла к тайному тайных языка;
к этому следует добавить напоминание;
встреча проблем;
имеют неизбежный соссюровский привкус;
Н. Хомский танцует от В. Гумбольдта;
сама «большесть» речи;
можно было бы отрезать второй конец языка;
язык — не сам по себе;
к этому следует добавить напоминание.

Материал этого рода настолько обширен, что его без всякого труда можно было бы бесконечно увеличить. Но дело, конечно, не в этом. Пользующиеся научным стилем русского языка — в первую очередь молодые ученые — должны обладать необходимым фоновым знанием, должны быть в состоянии самостоятельно оценивать качество того или другого изложения. Но для этого им нужны образцы, на которых они развивали бы вкус, которым они могли бы подражать, постепенно вырабатывая для себя грамотный стиль научного изложения. Но как быть, если библиотеки наводнены произведениями лингвистов, язык которых не выдерживает самой снисходительной критики? Можно ли заставить работать над своей речью «языковедов без языка», «лингвистов», сознательно пренебрегающих изучением живых человеческих языков и их подлинных закономерностей, неприкрыто подменивших науку об истинном предмете языкознания туманными и самоуверенными лингвофилософскими рассуждениями? По-видимому, нельзя. Но можно и нужно найти пути и способы для того, чтобы еще и еще раз наглядно показать, сколь велик вред, который приносит культуре научного изложения неумеренное распространение развязно-безграмотных лингвистических опусов.

Итак, синтаксис — или учение о построении речи, изучает то, «...как с помощью языковых средств образуется речь и как устроены речевые

произведения» [11]. Язык — это одна из самобытных семиологических систем, являющаяся основным и важнейшим средством общения членов данного человеческого коллектива, для которых эта система оказывается также средством развития мышления, передачи от поколения к поколению культурно-исторических традиций. Как эвристически, так и онтологически первична речь, потому что язык как общее отвлекается от бесчисленных отдельных произведений речи, являющихся не только непосредственным источником сведений о нем, но и основой его существования.

Понятно, что изучение речи языковедом отнюдь не исключает участия целого ряда наук в рассмотрении разных сторон и аспектов человеческой речи. Однако такое сотрудничество действительно полезно только при условии единства общеметодологических предпосылок. «Единственный вывод из того, разделяемого марксистами, мнения, что теория Маркса есть объективная истина, состоит в следующем: идя *по пути* марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше (никогда не исчерпывая ее); идя же *по всякому другому пути* мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи» [12]. И еще: очень плохо, когда свободный обмен мнениями между учеными, без которого не может развиваться наука, смешивают с плюрализмом истин, подразумевающих существование в равной степени справедливых мнений. «Не надо бояться того, что общий язык марксизма, ясно выраженный в его лучшей литературе, отразится на оригинальности личного творчества, и не стоит менять этот язык на какой-нибудь новый жаргон технической схоластики» [13]. А, к сожалению, это случается, причем достаточно часто для того, чтобы вызывать тревогу за подготовку молодых языковедческих кадров. К сожалению, и теперь приходится употреблять большие усилия для того, чтобы отвлечь аспиранта от модных лингвистических жаргонов и научить исследовать реальный, непосредственно данный речевой материал [14], трудно также побудить его к систематической работе над собственной речью, к тому, чтобы добиваться повышения ее культуры и таким образом способности пользоваться ею для утверждения нашей передовой науки. А ведь без этого нельзя серьезно говорить о русском языке как языке международного общения, конкурирующем с другими мировыми языками, по капризу истории все еще играющими в этом отношении ведущую роль.

Понятно, что высокая речевая культура предполагает хорошее з н а н и е соответствующего языка, которое приобретается только путем упорной многолетней работы и начинается с обучения грамоте и элементам грамматики и стилистики в средней школе. Там же впервые прививается понятие о б р а з ц о в ы х произведений речи, наиболее полно

---

[11] В. М. С о л н ц е в, Язык как системно-структурное образование, М., 1977, стр. 289.

[12] В И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 18, стр. 146.

[13] Мих. Л и ф ш и ц, Чего не надо бояться, «Коммунист», 1978, 2, стр. 120.

[14] Например, целевому аспиранту было предложено исследовать явления паронимической аттракции в английской литературе с последующим выяснением сущности паронимов в их отличии от синонимов и вариантов слова. Ему было разъяснено, что паронимы, вообще говоря, это слова, которые вследствие сходства в звучании и частичного совпадения морфемного состава могут либо ошибочно, либо каламбурно заменять друг друга в речи

Вместо того, однако, чтобы обратиться к изучению английской литературы и сопутствующих ей филологических источников, аспирант занялся коллекционированием разноречивых высказываний на русском и английском языках, так или иначе касающихся с л о в а «пароним». Ему доставило огромное удовольствие то обстоятельство, что «по вопросу о том, что такое пароним, нет единства мнений». Он с наслаждением исписал несколько листов большей частью совершенно непонятными ему схоластическими рассуждениями.

раскрывающих возможности данного языка [15]. Поступив в вуз, филолог прежде всего должен обратиться к работам классиков советского — в первую очередь русского языкознания, оставивших нам образцы русского научного стиля. Изучая их и подражая им, человек развивает вкус, постепенно вырабатывает свой собственный стиль, начинает понимать необходимость строгого, сознательного и критического отношения к собственной речевой деятельности.

[15] Вопросам нормализации литературного языка, культуре речи, самым разнообразным разделам лингвостилистики посвящена огромная литература — чтобы убедиться в этом, достаточно беглого взгляда на список литературы. Например: В. В. Виноградов, Проблема литературных языков и закономерностей их образования и развития, М., 1967; сб. «Вопросы культуры речи», М., 1955; и др По-видимому, теперь нужно больше обратить внимания на создание работ, непосредственно нацеливающих читателя на оптимизацию научной речи, подобных практическим пособиям по «литературному редактированию», которых у нас крайне мало.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

МИЛЛЕР Е. Н.

ОТОБРАЖЕНИЕ В АНТОНИМИИ НЕЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

Разработка вопросов взаимосвязи языка с окружающей нас объективной действительностью имеет большое теоретико-познавательное и практическое значение, она в немалой степени обусловливает правильное понимание многих процессов, происходящих в языке, и способствует успешному проведению языковедческих исследований.

Как известно, отношения вещей, явлений, процессов и т. д. существуют так же реально, как сами вещи, явления, процессы [1]. В. И. Ленин отмечает универсальность отношений и взаимосвязь вещей: «...отношения каждой вещи (явления etc.) не только многоразличны, но всеобщи, универсальны. Каждая вещь (явление, процесс etc.) связаны с *каждой*» [2]. В специальной работе, посвященной анализу категорий вещи, свойства и отношения, отмечается, что «основное различие между идеалистическим и материалистическим пониманием категории отношения заключается в том, что идеализм рассматривает отношение как нечто субъективное, устанавливаемое человеком, а материализм признает отношение существующим объективно, в вещах, независимо от человека» [3].

Одним из видов отношений между вещами, явлениями, процессами и т. д. является отношение противоположности. В лексике и фразеологии отношение противоположности выражается противопоставлением антонимов — слов и фразеологизмов, противоположных по значению. Понятие «противоположность» в данной работе будет употребляться в значении «развитого до предела различия одной сущности» [4]. Принимается следующее определение антонимов: антонимы — это взаимопротивоположные по значению поминативные единицы языка, которые служат для обозначения взаимопротивоположных односущностных явлений объективной реальности.

Большинство исследователей антонимии отрицает детерминированность противоположных значений слов экстралингвистическими факторами. Так, Л. А. Новиков считает, что «предметы и их свойства „противоположны“ не сами по себе, не по своему денотативному (конкретно-предметному) значению, а как результат их вербального осмысления, оценки, включения в систему языка, в группы слов, обозначающих то же самое качество, свойство, отношение и т. п.» [5]. Иногда высказываются в этом плане еще более решительно, полагая, что общность антонимов выводится из их собственных семантических свойств, а не из реальных свойств обозначаемых ими явлений или вещей, потому что противоположных явлений и вещей не существует.

---

[1] См.: «Философский словарь», М., 1975, стр. 300.
[2] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29 стр. 203.
[3] А. И. Уемов, Вещи, свойства и отношения, М., 1963, стр. 48.
[4] А. Н. Аверьянов, Динамика противоречий, ВФ, 1976, 5, стр. 80.
[5] Л. А. Новиков, Антонимия в русском языке, М., 1973, стр. 56.

Попытаемся показать, что высказанная точка зрения дает неверное представление о взаимосвязи языка с объективной действительностью. Поскольку этот вопрос имеет принципиальное значение для понимания сущности антонимических отношений в лексике и фразеологии, необходимо подвергнуть его детальному рассмотрению.

В «Диалектике природы» Ф. Энгельс писал: «Тождество и различие — необходимость и случайность — причина и действие — вот главные противоположности, которые, если их рассматривать раздельно, превращаются друг в друга» [6]. Из этого высказывания можно заключить, что: а) противоположности существуют реально; б) они могут превращаться друг в друга; в) перечисленные противоположности — главные из тех, которые могут превращаться друг в друга, и, значит, не единственные. Еще более убедительным и важным для нашего изложения является следующее высказывание Ф. Энгельса: «...основной формой всякого движения являются приближение и удаление, сжатие и расширение, — короче говоря, старая полярная противоположность *притяжения* и *отталкивания*» [7]. Данное высказывание может быть дополнено мнением лингвиста: «В значениях языка отражено представление данного народа о внешнем мире, детерминированное (разрядка наша.— *Е. М.*) этим внешним миром» [8]. Эту детерминированность лучше всего показать на конкретных языковых примерах, однако начнем с тех случаев, когда создается видимость, что противоположность значений в языке не отражает реальных противоположностей, существующих в действительности: «Двор, когда я был *маленьким*, казался мне *большущим* — теперь-то вижу, что все относительно. Я *маленький* — двор *большой*, я стал *большим*,— двор сильно *уменьшился* (В. Перуанская, Мы — земляне).

Большой—маленький — общепризнанные антонимы, хотя их значения отражают отнюдь не абсолютные противоположности, существующие в реальном мире: *большими* могут быть еж, котенок, комар, а *маленькими* — соответственно слон, теленок, орел, тогда как самый большой еж меньше самого маленького слона и т. д. Один и тот же предмет, например, стол, завод, город, по оценке разных людей может считаться большим и маленьким. Один и тот же предмет может в разное время характеризоваться одним и тем же человеком, как это имеет место в приведенном примере, в одном случае как большой, в другом — как маленький: здесь особенно ярко выражен тот случай, когда проявляется различное ви́дение противоположных свойств предмета. И тем не менее противоположность, обозначаемая словами *большой* и *маленький*, существует объективно. Один и тот же двор по оценке одного человека в одно время будет охарактеризован либо как большой, либо как маленький в сопоставлении с другим, существенно отличающимся по размерам двором. Бесспорно, большой еж будет меньше маленького слона, но противоположность между большим и маленьким ежом также не может вызывать сомнений, она объективна, ибо представляет собой «развитое до предела различие одной сущности» применительно к данному конкретному объекту. Все дело в том, что такая противоположность не абсолютна, она релятивна, имеет место и проявляется лишь в чем-то конкретном, определенном, ограниченном какими-либо рамками. Антонимов такого типа в языке очень много, например: *близко — далеко* (до ближайшего переулка, созвездия), *быстро — медленно* (идти пешком, лететь самолетом), *глубокий — мелкий* (ручей,

[6] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20. стр. 531.
[7] Там же, стр. 393.
[8] В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1977, стр. 128.

океан), *громкий — тихий* (жужжание мухи, звуки духового оркестра), *дешевый — дорогой* (стоимость костюма, дворца спорта), *длинный — короткий* (карандаш, железнодорожный состав).

В литературе на каждую из перечисленных пар антонимов можно найти примеры, так или иначе подтверждающие, что противоположность значений этих слов является относительной: «А дальше все развивалось *быстро* и одновременно очень *медленно*» («Юность», 1975,7); «Какая *глупая*! — подумала Ольга Васильевна. — А говорят, будто бы *умна*» (Ю. Трифонов, Другая жизнь).

Но так дело обстоит далеко не всегда. В языке функционирует много антонимов, противоположные значения которых отображают реально существующие абсолютные противоположности. Это можно показать на следующем примере: «Переход жидкости в газообразное состояние называется *испарением*; обратный переход называется *конденсацией*» (Н. И. Кошкин, М. Г. Ширкевич, Справочник по элементарной физике). Физики установили, что в природе существуют два обратных процесса — *испарение* и *конденсация*. Лингвисты в свою очередь установили, что в языке, например в русском, существуют глаголы, которые обозначают два указанных процесса, в данном случае это глаголы *испарять* и *конденсировать*. Признано также, что слова *испарять* и *конденсировать* (как и семантически соотносимые с ними существительные *испарение* и *конденсация*) являются антонимами. Отсюда вывод: значения антонимов *испарение* и *конденсация* передают реально существующие в природе противоположности. Более того, значение слова *испарение* всегда обозначает процесс испарения, а *конденсация* — конденсацию; произвольное их переименование недопустимо. Следовательно, значения слов *испарение* и *конденсация* отражают объективные противоположности, носящие абсолютный характер.

Терминам естественных наук присуще обозначение реально существующих противоположностей, но они не всегда обнаруживают прямое соответствие между установившимся в языке значением слова и обозначаемым им отношением между вещами, явлениями, процессами. Возьмем следующий пример: «Если на тело действуют два момента сил, вызывающих вращение в противоположных направлениях, то один из них условно считают положительным, а второй — отрицательным» (там же). Итак, существуют два момента сил, действия которых противоположны; эти два момента условно названы *положительным* и *отрицательным*. Соответствуют ли свойства указанных двух моментов сил значениям слов *положительный* и *отрицательный*, которые они имеют в современном русском языке [9]? Видимо, нет, так как указанные моменты сил получили свои наименования условно: с таким же успехом их можно было, наверное, назвать соответственно *правым* и *левым*, *прямым* и *обратным*, *поступательным* и *возвратным* и т. п.

Рассмотрим точку зрения В. Н. Комиссарова, отрицающего существование противоположных явлений и вещей. Он пишет, что «противоположность значений слов-антонимов не связана непосредственно с какими бы то ни было особенностями отражаемых ими явлений. Нет оснований утверждать, что слова-антонимы называют какие-то особые предметы или явления, противоположные по самой своей природе. Вряд ли можно говорить, например, что цвета *белый* и *черный* по самой своей природе больше противопоставлены друг другу, чем крайние точки спектрального ряда *красный* и *фиолетовый* (*инфракрасный* и *ультрафиолетовый*). Или что *небо* от *земли* объективно дальше, чем *небо* от *воды*. Напротив, рассмотре-

[9] См.: С. И. Ожегов, Словарь русского языка, М., 1975, стр.438, 510.

ние характера предметов и явлений, называемых словами-антонимами, показывает, что с точки зрения предметной соотнесенности такие слова обнаруживают определенную близость значения. Эта близость заключается в том, что все члены антонимической группы называют предметы и явления одного рода, принадлежащие к одной и той же категории объективной действительности. Например, английские антонимы *hot* „горячий" и *cold* „холодный" называют температурные явления, антонимы *high* „высокий" и *low* „низкий" называют вертикальные размеры предметов и т. д.» [10].

Подбор примеров в приведенном рассуждении нарочито ограничен. Автору было бы значительно труднее или вообще невозможно подтвердить свой тезис, если бы он оперировал такими антонимами, как *деление — синтез, замедление — ускорение, испускаемый — поглощаемый, исчезновение — появление, нагревание — охлаждение, непрерывный — прерывный, переменный — постоянный, рассеивающий — собирающий* и под.

Следствием нарочитого подбора примеров является логическая ошибка, именуемая «поспешным обобщением» [11]. Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать, что цвета белый и черный противопоставлены друг другу не больше, чем красный и фиолетовый или инфракрасный и ультрафиолетовый, и что небо от земли объективно не дальше, чем небо от воды, но делать на основании анализа лишь четырех антонимов выводы, касающиеся всей антонимии, явно неправомерно.

Автор не учел, что для доказательства н а л и ч и я в языке какого-либо явления, с одной стороны, или его о т с у т с т в и я, с другой, требуется различное количество иллюстративного материала. В первом случае достаточными могут оказаться несколько примеров, если они взяты из надежных источников (например, если при изучении какого-либо литературного языка используются источники, достоверно представляющие этот литературный язык). Но для обоснования тезиса об отсутствии чего-либо в языке — а в данном случае речь идет именно об отсутствии связи значения слов с обозначаемыми ими свойствами предметов — нужен анализ большого фактического материала [12].

Замечание В. Н. Комиссарова о близости значений слов-антонимов и примеры, иллюстрирующие это положение, сами по себе представляются верными, но не подтверждают выдвинутого тезиса, так как непосредственно не связаны с ним, а приведенное выше суждение Л. А. Новикова иллюстрируется лишь одним примером: «Об одних и тех же людях, например, можно сказать *Рост Петрова 158 см, а Николаева — 189 см* и *Петров низкого роста, а Николаев — высокого*, однако только во втором предложении есть оценка качества (свойства) и появляются антонимы *низкий* и *высокий* (ср. *средний рост*). Чисто же номинативные „объективные" обозначения (*рост 158 см и рост 189 см*) антонимов не образуют: оценка растворяется здесь в констатации фактов» [13]. Анализ данного примера не может в полной мере служить обоснованием выдвинутого положения, для этого

---

[10] В. Н. К о м и с с а р о в, Проблема определения антонима (О соотношении логического и языкового в семасиологии), ВЯ, 1957, 2, стр. 53. Точку зрения В. Н. Комиссарова критикует А. В. Исаев, считающий, что антонимия в большей степени определяется характером обозначаемых объектов и что «слова называют противоположные вещи, явления и т. п.» (А. В. И с а е в, К вопросу о соотношении лингвистического и логического в учении об антонимах, ФН, 1972, 1, стр. 51, примеч.).

[11] «...когда некоторое свойство, обнаруженное только у небольшой части предметов данного класса, переносят на все предметы класса только на том основании, что не встречалось предметов, у которых нет этого свойства» (Н. И. К о н д а к о в, Логический словарь-справочник, М., 1975, стр. 314).

[12] См.: Б. Н. Г о л о в и н, Язык и статистика, М., 1971.

[13] Л. А. Н о в и к о в, указ. соч., стр. 56.

нужны иллюстрации, различные по своему содержанию: антонимы, которые обозначают характеристику не только качества (*низкий — высокий*), но также количества, например, *увеличение — уменьшение* (какого-либо тела), пространства, например, *сближение — отдаление* (каких-либо объектов) и т. д.

Анализ значения таких антонимов, как *сближение — отдаление*, *сближение — разделение*, *сближение — разъединение* и под., может привести к диаметрально противоположному выводу: к каким бы двум (или нескольким) людям ни было приложено значение этих слов, в прямом или переносном смысле, их сближение друг с другом неизменно окажется действием, противоположным действию отдаления: «Слишком часто поддавались они нажиму реакции и вытаскивали на обсуждение вопросы, не *сближавшие*, а *разделявшие* партнеров по развитию международного сотрудничества («Правда» 28 IX 1976); «Эмблема... символизирует неразрывность судеб всех континентов нашей планеты. Планеты, на которой живут большие и малые народы, *разделенные* сотнями границ, но *объединенные* одним стремлением превратить мир в общее благо, уберечь человечество от разрушительной ядерной войны» («Правда» 1 VIII 1976). Отсюда можно сделать вывод, что значения части антонимов отражают реально существующие а б с о л ю т н ы е противоположности, а значения других антонимов — реально существующие о т н о с и т е л ь н ы е противоположности, хотя на уровне обыденного сознания отношения противоположных значений как тех, так и других антонимов к обозначаемым ими противоположным явлениям, процессам, предметам и т. д. могут восприниматься недифференцированно.

Таким образом, антонимы можно разделить на две группы: значения антонимов одной группы обозначают реально существующие абсолютные противоположности, значения антонимов другой группы обозначают также реально существующие, но имеющие относительный характер противоположности.

К первой группе отнесем две разновидности антонимов.

А. А н т о н и м ы, значения которых обозначают противоположные явления, процессы, свойства и т. д., реально существующие в объективной действительности материального мира, например: *вогнутость — выпуклость* (поверхности тела), *выделение — поглощение* (энергии в тепловых явлениях), *замедление — ускорение* (процесса), *замерзание — оттаивание* (грунта), *затвердение — размягчение* (аморфных тел), *излучение — прием* (электромагнитных волн), *ослабление — усиление* (звуковых волн), *отраженная — проходящая* (лучистая энергия), *повышение — снижение* (плотности тела), *разделение — соединение* (элементов вещества), *разъединение — соединение* (молекул), *растяжение — сжатие* (вещества), *северный — южный* (магнитный полюс).

На каком основании эти антонимы объединены в одну рубрику? Любой носитель русского языка без особого труда интуитивно определит ту или иную пару как антонимы, однако вряд ли интуитивно можно установить различие между значениями антонимов *теплый — холодный* и *сближение — отдаление* в смысле их отношения к явлениям, процессам и т. д. реального мира: в обоих случаях это будут лишь слова с противоположным значением. На наш взгляд, наиболее приемлемым способом разграничения антонимов, отображающих своими значениями абсолютные или относительные противоположности реального мира, является цепь рассуждений.

Обратимся к антонимичной паре *теплый — холодный*. Вообразим, что между противоположными значениями этих двух слов можно провести, обозначить какую-то нейтральную, «старт › ую» («не холодную и не теп-

лую») точку (линию, черту и т. п.) начала (возникновения) противоположных качеств (движений и т. д.), от которой «различие развивается до предела». Может ли восприятие характера (объема, качества и т. д.) этой точки изменяться в зависимости от различного ее представления сознанием человека? Видимо, да: приложение значений слов *холодный* и *теплый* к разным предметам, вещам, процессам наверняка обнаружит реальную возможность такого изменения.

Теперь возьмем пару *разъединение — соединение*. Снова вообразим точку «неразъединения — несоединения». Может ли характер (объем, качество и т. п.) этой точки меняться? Наверное, нет: к какому бы предмету, явлению, процессу, к какой бы вещи ни были приложены противоположные значения слов *разъединение* и *соединение*, характер «изначальной» точки останется, видимо, неизменным. Следовательно, в противоположных значениях слов *разъединение* и *соединение* наличествует элемент абсолютного (по отношению к одному пункту в любой системе координат), что дает вполне достаточное основание для утверждения об их связи с реальными противоположностями. (Вопрос о том, осуществляется ли такая связь с внешним миром непосредственно или через предложение-высказывание, здесь не рассматривается, ибо на решение исследуемой проблемы он не влияет). Именно этот критерий взят за основу для включения в данную группу всех остальных антонимов, и читатель имеет возможность проверить обоснованность или необоснованность подбора антонимов для этой группы (разумеется, если будет принята изложенная концепция).

Б. Антонимы, значения которых обозначают противоположные явления, процессы, события, факты, свойства, реально (объективно) существующие в обществе, например: *возмущаться — восхищаться*, *волновать — успокаивать*, *вопрос — ответ* (форма общения), *вражда — дружба* (между людьми), *вспомнить — забыть*, *встреча — проводы* (гостей), *входящий — исходящий* (документ), *выиграть — проиграть* (партию в шахматы), *выходить — входить* (из дома; в дом); *давать — получать* (книгу), *друг — недруг* (лучший; тайный), *завязать — развязать* (узел на веревке), *закрывать — открывать* и др.

Такие антонимы обнаружены в высказываниях, эксцерпированных из текстов, принадлежащих к различным функциональным стилям,— из художественной прозы: «Кто не *берет*, тот, чаще всего, и *дать* ничего не хочет» (А. Ельянов, Заботы Леонида Ефремова); из трудов общественно-политического характера: «Чем больше отдельный гражданин *дает* обществу, тем больше он от него *получает* материальных благ (Е. Бугаев, Наша ленинская партия); из газет: «Тысячи фактов упрямо не укладываются в стройную систему, кропотливые наблюдения порой не *проясняют*, а *затуманивают* общую картину» («Правда» 1 VIII 1976); из трудов по психологии: «Натуры поверхностные, как правило, способны увлекаться, но не умеют по-настоящему ни *любить*, ни *ненавидеть*» (Ф. Гоноблин, Психология); из трудов по философии: «...одни хотят возможно дешевле *купить*, другие — возможно дороже *продать*» (ВФ, 1976, 5); по педагогике: «Научные труды давали нам, практикам, *ответы* на многие *вопросы*...» (В. Сухомлинский, Разговор с молодым директором школы).

Интерпретация антонимов этой подгруппы значительно сложнее, однако, тоже возможна. Возьмем такой пример. Действия, выражаемые значениями слов *брать* и *давать* (и сходных по семантике *давать — получать*), схематически можно изобразить следующим образом: в результате действия, обозначенного одним членом оппозиции, предмет C переходит от субъекта A к субъекту B; в результате действия, обозначенного вторым членом оппозиции, предмет C переходит от субъекта B к субъекту A.

Изменится ли характер действий, если субъект *A* заменить на субъект *X*, а *B* на *Y*? Нет, характер действий останется, видимо, прежним. Не изменится он и в случае замены предмета *C* на *H* (на *D*, на *E* и т. д.). Таким образом, субъекты и предмет — величины переменные, а действия, происходящие между ними — постоянные. Вывод: антонимы *брать* и *давать*, *давать* и *получать* обозначают реально существующие противоположные отношения.

Следует отметить, что разделение антонимов первой группы на две подгруппы является в значительной степени условным: противоположности значений, образуемые антонимами первой подгруппы, могут обозначать противоположности, существующие в общественной жизни, например: *повышение — снижение*, *разъединение — соединение*, и наоборот. Это разделение было проведено главным образом с целью особо подчеркнуть наличие реальных противоположностей и в общественной жизни (см. антонимы подгруппы Б). Более того, отметим, что поскольку в сферу общественной жизни включены как явления материального мира, так и явления, связанные с функционированием высшего продукта материи — мозга [14], то вполне допустимо предположение, что и форм реальных противоположностей в обществе значительно больше.

Так же, как и лексические антонимы, фразеологические антонимы отображают реально существующие вещи и идеи, процессы происходящие и мыслимые, явления действительности и воображаемые и т. д. и отношения противоположности между ними. Так, фразеологические антонимы *затыкать рот* «заставлять молчать, не давать говорить» — *тянуть за язык* «вынуждать говорить, отвечать, высказываться» называют действия, одно из которых препятствует появлению акта речи и одновременно (!) создает предпосылки к сохранению момента молчания, а второе, наоборот, создает предпосылки к появлению акта речи и препятствует сохранению момента молчания. Отсюда следует, что названные действия являются противоположными между собой и обусловливают наличие в языке единиц номинации, в данном случае фразеологических, отображающих эти противоположности и имеющих противоположные значения. Необходимо подчеркнуть, что толкование антонимов *затыкать рот* и *тянуть за язык* эксплицитно показывает наряду с значениями, называющими денотат, определенную направленность действий, значения добавочные, свойственные только антонимам, — антинаправленность этих же действий (см. вторые части толкований).

Число фразеологических антонимов, отображающих реально существующие противоположности, велико, например: *удариться в амбицию — проглотить пилюлю*, *накалить атмосферу — сгладить острые углы*, *дай бог — не приведи господи*, *брать на буксир — вставлять палки в колеса*, *водой не разольешь — как кошка с собакой*, *мутить воду — проливать свет*, *затыкать глотку — тянуть за язык*, *гладить по головке — брать в оборот*, *смешивать с грязью — петь дифирамбы*, *воспрянуть духом — опустить крылья*, *иметь зуб — не чаять души*, *выйти в люди — скатиться по наклонной плоскости*, *подлить масла в огонь — сгладить острые углы*, *сняться с места — бросить якорь*, *зарубить на носу — выбросить из головы*, *взвалить на плечи — сбросить с плеч*; в немецком языке: *die Binde von den Augen nehmen — Sand in die Augen streuen*, *sich Feindschaft zuziehen — sich auf guten Fuß stellen*, *aus dem Gedächtnis verlieren — sich ins Gedächtnis zurückrufen*, *ins Geleise kommen — aus dem Geleise treten*, *freie Hand lassen — die Hände binden*, *sich aus dem Kopf schlagen — sich in den Kopf setzen*, *aus der Lage bringen — in die Lage setzen*, *Mut fassen —*

[14] См.: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 164.

den Mut sinken lassen, in den Pfeffer geraten — sich aus der Sache ziehen, der Vergangenheit entreiß en — der Vergessenheit anheimgeben, zur Vernunft bringen — verrückt machen [15].

Ко второй группе относим следующие две разновидности антонимов:

А. Антонимы, обозначающие или характеризующие реально существующие независимо от сознания людей явления, процессы, факты, события, вещи, свойства, между которыми отношения противоположности ограничены какими-либо рамками; противоположность значений таких антонимов является относительной и носит конкретный характер, т. е. применительно к определенной области действительности в каком-то определенном отношении, например: *бедный — богатый* (крестьянин, помещик), *ближняя — дальняя* (сопка, звезда), *высоко — низко* (летят: стая лебедей, эскадрилья самолетов), *долго — недолго* (ждать завтрака, издания книги), *жесткий — мягкий* (матрац из пуха или соломы), *конец — начало* (веревки, пшеничного поля), *крупный — мелкий* (горох, картофель), *молодость — старость* (человека, горного хребта), *новый — старый* (костюм, завод), *позавчера — послезавтра* (по отношению к разным датам), *светлый — темный* (морская вода, побеленная известкой комната), *тепло — холод* (для жителей тундры и тропиков).

Указанные в скобках слова призваны в какой-то степени иллюстрировать относительность значений антонимов. Например, при помощи слов *сопка, звезда* относительность значений антонимов *ближний — дальний* можно проиллюстрировать сравнением: самая *дальняя* сопка ближе самой *близкой* звезды; или, например, *большая* горошина всегда меньше *большой* картофелины. Если сопоставить приведенные примеры с антонимами первой группы, то можно обнаружить принципиальное различие: противоположность действий, выражаемых антонимами, например, *увеличение — уменьшение*, отнесенных к тем же объектам, например, сопки и звезды, горошины и картофелины, останется по своей сущности неизменной, абсолютной. Однако значения слов *ближний — дальний* тоже отражают объективные противоположности, если они характеризуют однородные предметы, например звезды, а значения слов *больше — меньше* — горошины.

Б. Антонимы, обозначающие или характеризующие явления, процессы, факты, события, вещи, свойства, объективные различия между которыми субъективно воспринимаются сознанием как противоположные и в зависимости от установившихся в обществе норм оценки того или иного явления, факта, процесса, свойства и т. п., в зависимости от конкретных условий жизни человека, от многовековых обычаев, традиций, привычек, от тех или иных ситуаций и т. п., например: *безобразный — красивый* (рисунок), *горький — сладкий* (вкусовые ощущения), *грешный — святой* (человек), *грубый — ласковый* (например, отец), *красавец — урод* (о человеке), *красивый — уродливый* (например, пиджак), *лучше — хуже* (например, питаться белым или черным хлебом), *модная — немодная* (одежда), *неправильный — правильный* (поступок), *несчастный — счастливый* (человек), *неудачный — удачный* (опыт), *неудобное — удобное* (расписание движения поездов), *неуспевающий — успевающий* (студент), *плохо — хорошо* (одеваться), *плохой — хороший* (товарищ).

Между двумя разновидностями второй группы нельзя, конечно, возводить глухую стену: главное между ними то общее, что их объединяет в одну группу, а именно — обозначение относительных противоположностей.

---

[15] Автор данной статьи занимается исследованием фразеологической антонимии на материале русского и немецкого языков.

И во фразеологии имеются антонимы, значения которых отображают относительные противоположности вещей и идей. Так, например, фразеологические антонимы *не бог весть сколько — как сельдей в бочке* называют денотаты, которые обладают изменчивыми характеристиками в зависимости от релятивных отношений: если, например, по отношению к объекту B, содержащему 1000 каких-либо единиц измерения, объект A с 100 единицами может быть охарактеризован квантитативно как *не бог весть сколько*, то этот же объект A по отношению к объекту C объемом в 10 единиц теряет такую квалификацию и может быть обозначен, наоборот, антонимом *как сельдей в бочке*. Соответственно относительными являются и значения противоположности указанных фразеологических единиц, но благодаря наличию в их значениях оттенков противоположной направленности («много» — в сторону увеличения, «мало» — в сторону уменьшения) и в силу упомянутых ранее причин они воспринимаются сознанием недифференцированно по отношению к антонимам первой группы как абсолютно противоположные. Примеры антонимов этого типа: *как в воду опущенный — на седьмом небе, выходить из себя — держать себя в узде, ставить во главу — в грош не ставить, не смыкать глаз — задавать храповицкого, дубовая голова — светлая голова, с грехом пополам — как по маслу, дубина стоеросовая — семи пядей во лбу, выворачивать душу — кривить душой, с открытым забралом — из-за угла, хоть завались — с гулькин нос, на закате дней — во цвете лет, под занавес — на первых порах, тертый калач — желторотый птенец, капля в море — тьма тьмущая, дрожать над копейкой — трясти карманом, на краю света — рукой подать, разбиться в лепешку — пальцем не шевельнуть, темный лес — яснее ясного, лиса патрикеевна — святая простота, витать в облаках — смотреть правде в глаза, nur mit halbem Auge sehen — die Augen in die Hand nehmen, ins Breite gehen — sich kurz fassen, vor allen Dingen — zu guter Letzt, blauen Dunst vormachen — reinen Wein einschenken, nicht Fisch nicht Fleisch — ein Mensch von Charakter, keine Galle haben — Gift und Galle sein, sich gehen lassen — an sich halten, auf Gold essen — keinen roten Heller haben, nur halb zuhören — am Munde hängen, rasch bei der Hand sein — lange machen, weder Haus noch Hof haben — gut im Zeuge stehen, Knall und Fall — Zug um Zug, knapp auskommen — Luxus treiben, nicht auf den Kopf gefallen sein — aus Schilda stammen, seine Laufbahn beschließen — seine Laufbahn eröffnen, ein rechter Mann — ein Waschlappen von einem Mann, zur Not leben—wie ein Pascha leben, in Tuchfühlung stehen — aus dem Wege gehen, mit der Tür ins Haus fallen — weit ausholen.*

В развитие изложенной выше концепции вторая подгруппа может быть разделена еще на две подгруппы: антонимы, которые называют не существующие физически, а лишь мыслимые противоположности, и антонимы, которые называют реально (физически) существующие объекты, имеющие те или иные различия в свойствах, но систематическое их противопоставление как противоположных по значению обусловлено мыслительной деятельностью.

К первым можно отнести оппозиции *тот свет — этот свет, eine bessere Welt — diese Welt. Тот свет* и *eine bessere Welt*, имеющие значение «загробный мир как противопоставление земному миру, жизни», называют нечто, мыслимое сознанием верующих как реальная действительность. Поскольку, однако, загробного мира не существует, не может существовать и «этот свет», понимаемый как противоположный «тому свету», а также отношение противоположности между несуществующими объектами. Тем не менее существуют реальные языковые единицы, которые называют и семантически связывают противоположные значения мыслимых объектов, появившихся в результате ложно-отражательной

деятельности человеческого мозга и, несмотря на это, указанные единицы успешно служат целям коммуникации между членами языкового общества, например: «Но нам с фашистами надо так биться, чтобы их побольше на *тот свет* отправить, а самим по возможности на *этом* остаться» (М. Подобедов, О чем они мечтали).

Приведенный пример иллюстрирует противопоставление значений, которые выражают нереальность существования противоположных объектов, так сказать, в чистом виде. Другие антонимы выражают отсутствие противоположности не столь явно: они называют реально существующие свойства объектов, хотя противоположность этих свойств является в значительной степени плодом деятельности сознания. Такую противоположность обозначают, например, антонимы *красивый — безобразный, как картинка — ни кожи ни рожи, schön — häßlich, ein Bild von einem Mädchen — ein Bild von einem Mann.* Критерии в оценке красоты, хотя в той или иной степени и связаны с внешностью человека, однако большей частью зависят от иных факторов. Например, в одну эпоху человек в парике может вызывать отвращение, в другую — восхищение. Цвет и длина волос могут в одну и ту же эпоху у одних и тех же ценителей моды порождать различные, порой взаимоисключающие ассоциации. Понятие «красота» связывается нередко с весьма различными, подчас «несовместимыми» с точки зрения «узаконенных» обществом признаками красивого. Поэтому не удивительно, например, что любимая девушка кажется самой красивой, для матери самый красивый малыш — ее ребенок, а в известной сказке рыбки считали Дюймовочку «прелестной», а жуки, наоборот,— «некрасивой» только на том основании, что она не была похожа на них.

Антонимами, которые называют объекты в качестве противоположных в основном благодаря мыслительной деятельности мозга, можно считать следующие оппозиции: *продувная бестия — святая простота, видный невооруженным глазом — книга за семью печатями, с головой — без головы, дело в шляпе — дело табак, ясно как (божий) день — покрыто мраком неизвестности, на диво — ни в какие ворота не лезет, не все дома — в своем уме, ein böses Beispiel abgeben — ein schönes Vorbild abgeben, für den schlimmsten Fall — bestenfalls, ein großer Geist — ein kleiner Geist, gelegen kommen — ungelegen kommen, sich gut ausnehmen — sich schlecht ausnehmen, gut stehen — wie dem Ochsen ein Sattel passen, einen guten Kopf haben — nichts im Kopf haben.*

Ко вторым относятся такие оппозиции языковых единиц, значения которых называют реально существующие объекты и фиксируют те или иные р а з л и ч и я их свойств, но не п р о т и в о п о л о ж н о с т и, понимаемые как «развитые до предела различия одной сущности».

Разберем следующие три примера.

Первый: *как небо и земля — как две капли воды.* По своей семантике («очень различный, противоположный» — «одинаковый») эти фразеологизмы антонимичны, но анализ одного из компонентов оппозиции — *как небо и земля* — показывает, что он состоит из лексических антонимов, которые ни этимологически, ни в синхронии противоположностями не являются (ср. **как небо и вода*), хотя в образовании значения «очень различный, противоположный» фразеологизм обязан именно противоположности значений слов *небо* и *земля.* Однако общественное сознание восприняло их когда-то в качестве противоположных, возможно, как противопоставление близкого, доступного (земля) далекому, недоступному (небо), и речевая практика прочно закрепила образовавшуюся противоположность значений при помощи сочетаний, подчеркивающих различие, противоположность: *как небо от земли, падать* (или *спускаться*) *с неба на землю, между небом и землей* и под.

Второй: *grünes Licht* «разрешение» — *rotes Licht* «запрет» также образуют противоположность значений, но анализ истоков возникновения фразеологизмов выявляет, что называемые ими денотаты — свет определенного свойства, зеленый и красный — ни с каких позиций не позволяют рассматривать их как противоположности и стали они таковыми благодаря различным причинам, но, главным образом, из потребности общественной жизни и способности человеческого глаза наилучшим образом различать именно эти цвета.

Третий: *in Arbeit stehen* «работать» — *auf der Bärenhaut liegen* «бездельничать». Называемые этими фразеологизмами денотаты не противоположны уже хотя бы потому, что они не являют собой одну сущность, ср. односущностные денотаты: *ganze Arbeit leisten — nur halbe Arbeit leisten*, *in Arbeit geben — in Arbeit nehmen* и под. Тем не менее, общество противопоставляет указанные значения с точки зрения отношения индивидуума или коллектива к труду, являющемуся общественным долгом, как противоположные.

К антонимам, образующим анализируемую противоположность — назовем ее социально-обусловленной — можно отнести оппозиции *зеленый свет — красный свет*, *в розовом свете — в черном свете*, *an Bord — an Land*, *hartes Licht — weiches Licht*, *im rosigen Lichte sehen — schwarz sehen* и др.

В заключение представляется необходимым сказать следующее.

1. В результате проведенного анализа можно полагать, что противоположные значения лексических и фразеологических единиц языка зависят главным образом от двух факторов — детерминированности внешним миром и речевого употребления, что коренным образом меняет существующую по данному вопросу точку зрения. Тезис о том, что антонимы — это слова и фразеологизмы с взаимопротивоположными значениями, получает более глубокое, так сказать «материализованное» подтверждение и обоснование.

2. Разделение противоположных значений антонимов и вслед за ними образуемых ими противоположностей на абсолютную, относительную и социально-обусловленную помогает, как нам кажется, эксплицировать наиболее характерные свойства противоположности и благодаря этому преодолеть еще одну ступень на пути к выявлению сущности противоположности значений в языке и связи языковой противоположности с материальными и идеальными носителями противоположностей и противоположных тенденций.

3. При рассмотрении обусловленности характера противоположности значений характером материальных и идеальных носителей противоположностей необходимо учитывать, что та или иная концепция может зависеть и от точки зрения на вопрос о существовании-несуществовании этих носителей. Известно, что «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» [16]. Под этим углом зрения можно все объекты, не существующие физически, а лишь мыслимые сознанием как реальные (включая сказочные, например, баба-яга, змей-горыныч, Kobold, Erlkönig и т. п.), отнести к реально существующим. Поскольку объективный мир — это не только вещи, но также и свойства, и отношения, причем компоненты этого комплекса — вещи, свойства, отношения — взаимосвязаны, взаимозависимы и существуют только одновременно, т. е. одно без другого не может существовать [17], оказывается неизбежным, что

[16] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., 29, стр. 194.

[17] См.: А. И. Уемов, указ. соч.,; Л. Г. Анципенко, Проблема физической реальности, М., 1973, стр. 47; С. В. Остапенко, Дополнительность: гносеологические истоки и теоретические системы, в кн.: «Принцип дополнительности и материалистическая диалектика», М., 1976, стр. 37, 42.

сознание творит наряду с «вещами» также их свойства (в нашем случае — противоположные значения) и отношения (в нашем случае — противоположности значений). Правда, такой вывод может показаться противоречащим основной нашей концепции, гласящей, что противоположности существуют реально, а противоположности значений языковых единиц детерминированы ими. Но это противоречие кажущееся, вызванное сложностью рассматриваемой проблемы. Конечно, противоположности существуют независимо от сознания, но не в том виде, в каком они предстают в языке и соответственно описываются в лингвистической теории, а в каком-то ином, ибо в нашем сознании они выступают в преломленном и расчлененном виде в результате диалектического отображения реальной действительности [18]. В этом можно усмотреть объяснение тому факту, что благодаря активности (не созерцательности) процесса познания противоположными оказываются также отличительные черты вещей, свойств, отношений, творимых сознанием, и этот диалектический процесс познания не может не отражаться на становлении и развитии языка, в котором в соответствии с потребностями общества и уровнем познания окружающего мира образуются и отмирают те или иные противоположности между значениями номинативных единиц.

---

[18] См.: Л. Б. Баженов. Дополнительность и единство противоположностей, «Принцип дополнительности и материалистическая диалектика», стр. 6—9.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

РАСТОРГУЕВА Т. А.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЭВОЛЮЦИИ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ *

(Из истории именной парадигмы в английском языке)

Исторические преобразования словоизменительных систем были предметом многих лингвистических исследований, проводившихся с разных позиций и с различными целями. Очень большое число общих и специальных работ посвящено эволюции именной парадигмы в германских языках и, в частности, в английском, где изменения морфологии имени были особенно значительны. И все же, несмотря на имеющиеся описания, дальнейшее изучение именной парадигмы в истории английского языка представляется интересным и перспективным: оно помогает обнаружить неизвестные аспекты этого сложного процесса и уточнить такие его стороны, о которых до сих пор мы имели только общее представление. В настоящей статье описываются процедура и результаты анализа словоизменительной системы имени в английском языке VIII—XIV вв., применение несложной методики подсчетов позволило получить более точное, «осязаемое», представление о масштабах перестройки, о ее значимости для грамматического строя языка, а также показать механизм изменения, т. е. восстановить самый процесс постепенного перехода к новому состоянию.

Думается, что как методика анализа, так и некоторые выводы, в особенности касающиеся места вариантности в процессе исторического изменения и ее количественных закономерностей, могут представить общий интерес, выходящий за рамки конкретного материала исследования.

Общеизвестно, что морфологическая и синтаксическая системы языка взаимообусловлены и взаимозависимы в том смысле, что характер и признаки одной в очень значительной степени предопределяют характер и признаки другой. Это положение принимается в качестве языковой универсалии и является основанием для универсалий типа: «в языках с развитой падежной системой относительно низка функциональная нагрузка такого синтаксического средства, как порядок слов», и, напротив,— «при фиксированном, грамматически значимом порядке слов маркирование синтаксических связей морфологическими средствами отсутствует или оказывается менее регулярным». Несмотря на общепризнанность подобных положений [1], они носят достаточно общий характер и основываются скорее на

* Статья представляет собой переработку доклада, сделанного на седьмой научной конференции по вопросам германского языкознания (Москва, 28—30 марта 1977 г.).

[1] См.: В. Н. Ярцева, Типология языков и проблема универсалий, ВЯ, 1976, 2, стр. 8.

общем впечатлении о распределении грамматических средств языка, нежели на точных данных.

Исходя из связи морфологической и синтаксической систем языка, можно, очевидно, попытаться дать представление о грамматическом строе языка, анализируя лишь одну из этих систем; причем вполне правомерно — а в данном случае и предпочтительно — принять именно морфологическую систему за основу описания, поскольку она представляет собой на каждом этапе относительно закрытую, ограниченную систему, поддающуюся точному учету.

Взаимозависимость и сбалансированность морфологической и синтаксической систем проявляется в сфере их функциональной общности, т. е. в содержании и оформлении синтаксических, или синтагматических связей. Именно здесь имеет место определенное, специфичное для каждого языка или периода распределение функциональной нагрузки между морфологическими и синтаксическими (а также лексико-синтаксическими) средствами. Отсюда можно предположить, что если бы мы были в состоянии найти меру оценки функциональной нагрузки, выполняемой морфологическими средствами в осуществлении синтагматических связей и сравнить полученные показатели на нескольких этапах развития, то мы смогли бы увидеть имеющиеся различия и определить произошедшие изменения.

Совершенно очевидно, что функциональная нагрузка, выполняемая морфологическими средствами, должна зависеть от объема функциональных *возможностей* морфологической системы и ее действительно реализуемых потенций: сокращение или расширение этого объема должно соответственно указывать на возрастание или уменьшение доли функциональной нагрузки, которую могут выполнять морфологические средства, и на изменение доли синтаксических средств.

Для того чтобы оценить функциональные возможности системы, были отобраны релевантные признаки этой системы и определены параметры их анализа. Бесспорно, что не все признаки морфологической системы и имеющиеся в ней дифференциации непосредственно значимы для поставленной цели. Так, например, в принципе неважно, как образуются грамматические формы: синтетически — путем внутренних или внешних флексий, или аналитически — с помощью раздельно оформленных элементов (хотя эти черты морфологической системы и определяют ее общий характер и тем самым предопределяют наличие некоторых релевантных признаков). В то же время очень существенно, насколько широко представлены в морфологической системе дифференцированные и четко различаемые форманты, могущие непосредственно выражать синтагматические связи. Так, например, в глагольной системе непосредственно значимы для этих целей дифференциации по категориям лица и числа, которые осуществляют связь глагола-сказуемого с подлежащим, но лишь опосредованно значимо разбиение парадигмы на подсистемы времен, наклонений и т. д. Последние создают как бы разные условия, или «фоны», для реализации релевантных дифференциаций. Достаточно вспомнить использование форм лица и числа в русском глаголе в подсистеме настоящего времени индикатива и числа и рода в подсистеме прошедшего времени. Точно так же лишь опосредованно значимы всякого рода морфологические классификации, например, деление существительных на отдельные морфологические классы, или «типы склонения», где могут по-разному и в различной степени реализоваться дифференциации форм релевантных грамматических категорий падежа и числа. Таким образом, в анализ были включены различные морфологические признаки с учетом их непосредственной и опосредованной значимости.

Что касается параметров анализа и получаемых показателей, то основным требованием к ним было то, что, какие бы качественные обоснования они ни имели, они обязательно должны были иметь количественное, числовое выражение, чтобы обеспечить возможность объективного и убедительного сопоставления. Они должны были также быть достаточно обобщенными и универсальными для того, чтобы в одних и тех же единицах измерения можно было сравнивать языковой материал разных эпох и различные грамматические признаки. Но, по-видимому, в любом случае показатели функциональных возможностей и функциональной нагрузки морфологической системы не могут иметь абсолютной значимости, а могут быть лишь о т н о с и т е л ь н ы м и, т. е. могут применяться лишь в сопоставительных целях [2].

Определение функциональных возможностей морфологических средств проводилось на основе анализа парадигмы существительного и прилагательного в английском языке с VIII по XIV в. [3]. Эта эпоха в истории английской морфологии представляет особый интерес: она начинается с относительно стабильного состояния именной парадигмы (в VIII—IX вв.) и сменяется периодом интенсивных преобразований, которые в основном завершаются к XIV в. Именно благодаря своему разнообразию анализируемый материал позволил проверить результативность подхода и оценить принципиальную возможность предпринятой характеристики.

Анализ проводился в виде трех последовательных ступеней, на каждой из которых уточнялись результаты, полученные на предшествующей ступени.

Первая ступень анализа имела целью получить общее представление о парадигме, для чего определялся ее объем, или «степень развернутости» с точки зрения релевантных грамматических категорий, которыми в данном случае были категории числа и падежа существительного и все согласовательные категории прилагательного.

Развернутость парадигмы устанавливалась как по отдельным категориям, так и в целом; степень развернутости по каждой категории определялась, во-первых, как максимальное число различаемых в данной категории членов и, во-вторых, как число позиций в парадигме, в которых они могли или потенциально могли бы различаться. Так, например, категория числа у древнеанглийского существительного была представлена двумя формами в четырех позициях различения, т. е. в четырех падежах, так как в принципе различение числа было возможно в каждом из четырех падежей; для падежа, соответственно, представлены четыре падежные формы в двух позициях различения: в единственном и во множественном числе; для категории числа прилагательных — при двух категориальных формах — тридцать позиций потенциально возможного различения: во всех падежах, родах, в сильном и слабом склонении (см. табл. 1). Эти позиции «возможного различения» и составляли те условия, в которых либо проводилась, либо не проводилась потенциально возможная дифференциация. Такими же условиями, или фонами, для существительного, кроме того, являлись морфологические классы — типы, подтипы, варианты склонения, зависящие от типа основы, рода и других признаков и различавшиеся

[2] Ср. по этому поводу: «В плане синхронной типологической характеристики языков оценки „больше“ или „меньше“ иррелевантны» (В. Н. Я р ц е в а, указ. соч., стр. 11).

[3] Для анализа были использованы данные исторических грамматик и специальных исследований по истории имени в английском языке: H. C. A. C a r p e n t e r, Die Deklination in der Northumbrischen Evangelienübersetzung der Lindisfarne-Handschrift, Bonn, 1910; A. S. C. R o s s, Studies in the accidence of Lindistarne Gospels, Leeds, 1937; J. D a h l, Substantival inflection in early Old English, Lund, 1938; E. S i e v e r s, Altenglische Grammatik, Halle, 1951; и др.

наборами и последовательностью формантов (их общее число в древнеанглийском составило двадцать четыре).

Общий объем словоизменительной парадигмы соответственно исчислялся как максимальное число клеток, даваемых членами всех грамматических категорий данной части речи. Так, степень развернутости парадигмы для существительного при четырех падежах и двух числах составляла восемь клеток в течение всего древнеанглийского периода (2 × 4), для прилагательного, различавшего сильное и слабое склонения, три рода и пять падежей, — 60 клеток.

Таблица 1

Объем парадигм древнеанглийского существительного и прилагательного (VIII-IX вв.)

	Развернутость отдельных грамм. категорий								Общий объем парадигмы
	число		сильные и слабые формы [1]		род		падеж		
	члены (1)	позиции различения (2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
Существительное	2	4	—		—		4	2	8 клеток
Прилагательное	2	30	2	30	3	20	5	12	60 клеток

[1] Слабые и сильные формы древнеанглийского прилагательного рассматриваются как противочлены грамматической категории „определенности/ неопределенности" (см.: А. И. Смирницкий, Древнеанглийский язык, М., 1955, стр. 239).

К X—XI вв. в связи с утратой пятого (инструментального) падежа объем парадигмы прилагательного сокращается до 48 клеток с соответствующим сокращением чисел по категориям, а к XIV в. объем обеих парадигм — и существительного, и прилагательного — сокращается до четырех клеток (два падежа и два числа существительного, сильная и слабая формы и два числа у прилагательного).

Было бы ошибкой думать, что этот элементарный арифметический подсчет не скрывает за собой никаких принципиальных трудностей. Для обеспечения единообразия мы во всех случаях исходили из того принципа, что наличие формальных различий между членами грамматической категории хотя бы в одной части парадигмы позволяет постулировать потенциальную возможность подобных дифференциаций в других аналогичных ее частях. Иными словами, мы устанавливали потенциально возможную, максимальную развернутость системы. С другой стороны, при полном отсутствии формальных различий потенциальная возможность дифференциации исключалась. Поэтому, например, для существительного был принят четырехпадежный ряд: достоверные формы инструментального падежа не засвидетельствованы, хотя, судя по падежной системе прилагательного (имеющей инструментальный падеж), можно предполагать наличие пятого падежа у существительного в дописьменную эпоху.

Полученные показатели степени развернутости отдельных категорий — число категориальных членов, число позиций различения и общее число клеток в парадигме — послужили основой для второй ступени анализа: определения степени реальной дифференциации.

Степень дифференциации определялась как отношение числа реализуемых дифференциаций, или действительно различаемых форм, к числу потенциально возможных — в целом для всей парадигмы и по отдельным категориям, с выведением средних процентных показателей по всем позициям потенциально возможного различения, а для существительного также по всем морфологическим классам. На этом этапе для раннедревнеанглийского (VIII—IX вв. — период относительно стабильного состояния систе-

мы) получение точных показателей не вызывало принципиальных трудностей, так как каждая клетка парадигмы имела четкий маркер и каждую позицию возможного различения можно было квалифицировать либо как реализующую различение членов, либо как не реализующую их различение. Приведем некоторые результаты.

Древнеанглийское существительное никогда, ни в одном из морфологических классов, не различало всех потенциально возможных восьми форм: в среднем по всем классам дифференцируется 4,6 формы, что составляет всего 57,5% от потенциально возможных (т. е. от 8, принимаемых за 100%).

У прилагательного этот показатель почти втрое ниже — на 60 клеток мы находим всего 11 различающихся форм, т. е. общая степень дифференциации в парадигме равнялась 18,3%.

Интересны данные по отдельным категориям, которые легко сопоставить друг с другом, так как все представлены в процентном выражении (см. табл. 2 и 3). Самую высокую степень реальной дифференциации обнаруживает категория числа существительного; в среднем в VIII—IX вв. по всем позициям и морфологическим классам числовая дифференциация реализуется на 86% (1,85 формы из 2); этот факт интересен для истории именных категорий как раннее свидетельство весомости категории числа среди других категорий в связи с ее дальнейшей исторической устойчивостью. Падежная дифференциация существительного в полтора раза ниже — она достигает только 64%. К этой последней величине близка и степень дифференциации некоторых категорий прилагательного: степень дифференциации падежных противопоставлений составляет 66%; дифференциация сильных и слабых форм — 63%; дифференциация категории числа — 60%. Род прилагательных показывает самую низкую степень реальной дифференциации из всех рассматриваемых категорий — всего 20% от потенциально возможной. При этом надо отметить, что в парадигме прилагательного уже в это время появляются варианты форм: в некоторых клетках парадигмы зафиксированы по две формы с разными флексиями, и потому определение реальной дифференциации по отношению к потенциально возможной оказывается затруднительным.

Позже, начиная с X в., расчет степени реальной дифференциации в этом виде провести невозможно, так как варианты форм в именной парадигме становятся регулярным явлением. Поэтому на третьей, завершающей ступени анализа проводился учет вариантности форм.

Прежде чем перейти к описанию способов этого учета, необходимо кратко остановиться на роли и месте вариантности в грамматических изменениях и на принципиальной необходимости включения данных о вариантности в описания грамматического изменения как его неотъемлемой составной части.

За последнее время варьирование как свойство языка и речи стало одной из актуальных, если не сказать центральных, проблем многих областей языкознания — социолингвистических исследований, работ стилистического плана и работ, занимающихся любой стратификацией языка. Большое место занимает варьирование и в исторических исследованиях, в частности, в работах, посвященных становлению литературных языков, формированию нормы и стилей [4]. Однако в данном случае имеется в виду иной

[4] Из работ последних лет можно указать статьи: М. М. Гухман, Изучение регионального варьирования в немецком литературном языке и методика лингвистической географии, сб. «Philologica», Л., 1973; И. Шильдт, Изменение соотношения стабильности и вариативности в процессе развития немецкого национального литературного языка, сб. «Типология германских литературных языков», М., 1976; Г. В. Степанов. Об особенностях языковой вариативности, сб. «Теория языка, англистика, кельтология», М., 1976.

аспект варьирования, а именно — роль вариантности грамматических форм в процессе их изменения [5].

К эволюции грамматической системы очень точно применимо определение исторического изменения как з а м е щ е н и я, будь то замена или вытеснение одной формы другой или изменение в числе и составе формальных и семантических грамматических дифференциаций [6]. Если появляются какие-то новые семантические и формальные различия, то они всего лишь представляют более дифференцированно и детализированно то, что ранее выражалось и осознавалось более обобщенно: одна старая форма заменяется несколькими. И наоборот, при утрате каких-то форм и дифференцированных грамматических значений форма с более общей семантической функцией замещает ряд ранее существовавших форм. В любом из этих случаев происходит замещение, а его постепенность обеспечивается сосуществованием в языке изофункциональных вариантов формы (и/или вариантов значения) в течение всего периода реализации данного изменения [7]. Именно поэтому сам факт наличия вариантности и можно рассматривать как свидетельство происходящих грамматических преобразований в соответствующих исторических условиях.

О соответствующих исторических условиях необходимо говорить потому, что варьирование языка непосредственно отражает внешние исторические условия его развития и может, помимо указанных явлений и одновременно с ними, свидетельствовать о других процессах, например, об усилении диалектных различий, о смешении диалектов, о стилистической и функциональной стратификации языка; поэтому использование и интерпретация данных о варьировании должна проводиться с большой осторожностью. Для рассматриваемого периода истории английского языка (VIII—XIII вв.) вариантность грамматических форм существительного и прилагательного является прежде всего и более всего формой реализации интенсивных морфологических изменений. Несмотря на возросшие диалектные расхождения в XII—XIII вв. тесная связь и взаимопроницаемость диалектов, их относительно равноправное положение [8], а также их дальнейшие сближения и смешения позволяют рассматривать сосуществующие варианты грамматических форм как единицы одной парадигмы, принимающие участие в процессе изменения. Во всяком случае, полученные нами результаты вполне подтверждают это положение.

Прежде всего надо отметить, что начиная с X в. вариантность форм в парадигме существительного и прилагательного значительно возрастает: в XI в. по сравнению с IXв. она увеличивается примерно в полтора раза (общее число форм, зарегистрированных для 192 клеток парадигмы существительного, т. е. по всем типам склонения, достигает 325, для 48 клеток парадигмы прилагательного — 88). Наличие вариантов делает формальную дифференциацию менее четкой: материально тождественные варианты перекрывают различавшиеся ранее клетки, создавая случаи окка-

---

[5] Относительно разграничения терминов «варьирование» и «вариантность» см.: Т. А. Р а с т о р г у е в а. Изучение количественных показателей грамматических вариантов в английском языке, ФН, 1976, 4, стр. 52.

[6] Определение исторического изменения как замещения см., например: «Общее языкознание», М., 1970, стр. 209; H. M. H o e n i g s w a l d, Language change and linguistic reconstruction, Chicago, 1960, стр. 27; G. M. A n d e r s o n, Structural aspects of linguistic change, Chicago, 1973, особенно гл. 8.

[7] Э. К о с е р и у, Синхрония, диахрония и история, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 220 и сл.; Л. Н. З а с о р и н а. Дистрибутивные структуры в синтаксисе и их эволюция, «Основные проблемы эволюции языка», Самарканд, 1966, стр. 56.

[8] В. Н. Я р ц е в а, Функционально-стилистическая система литературного языка и ее соотношение с территориальными диалектами, ФН, 1974, 3, стр. 45

зиональной, а далее и регулярной нейтрализации, что в конечном итоге может приводить к полному неразличению форм.

Поэтому третьей ступенью анализа парадигмы и было определение степени четкости дифференциации форм посредством подсчета трех видов позиций возможного различения: 1) позиций с четким различением, без вариантов; 2) позиций с нечетким, или «вариантным», различением форм, т. е. с частично или полностью совпадающими вариантами и 3) позиций, не реализующих потенциально возможное различение форм. (Полученные данные в процентах приводятся в табл. 2 и 3; таблицы основаны на сведениях о наличии вариантов, а не об их частотности.)

Таблица 21

Дифференциация категориальных форм существительного

Грамматическая категория	VIII — IX вв.			X — XI вв.			XII — XIII вв.		
	+	+/−	−	+	+/−	−	+	+/−	−
Падеж	64	0	36	56	12	32	30	25	45
Число	86	0	14	89	11	0	75	25	0
Среднее	75	0	25	72	12	16	52	25	23

Таблица 3

Дифференциация категориальных форм прилагательного

Грамматическая категория	IX в.			X в.			XI в.			XII в.			XIII в.		
	+	+/−	−	+	+/−	−	+	+/−	−	+	+/−	−	+	+/−	−
Падеж	66	34	0	91	9	0	33	67	0	22	50	28	0	0	100
Число	60	10	30	50	21	29	29	53	18	35	36	31	0	50	50
Сильные/слабые формы	63	37	0	50	33	17	12	76	12	20	34	46	0	50	50
Род	20	25	55	6	25	69	6	25	69	2	9	89	0	0	100
Среднее	52	26	22	49	22	29	20	55	25	19	28	53	0	25	75

[1] Условные обозначения в табл. 2 и 3 + позиции четкого различения; +/− позиции вариантного (нечеткого) различения; − позиции неразличения.

Изменения в относительном количестве трех видов позиций в каждой из рассматриваемых грамматических категорий демонстрируют довольно единообразный ход эволюции. В самый ранний период — VIII, IX и частично X вв., который можно квалифицировать как период относительной стабильности,— для большинства категорий мы получаем высокий процент позиций с четким различением форм. Число позиций с полным неразличением форм в несколько раз ниже, и число позиций с вариантным, нечетким различением также очень невелико; исключение составляет род и отчасти число прилагательных, у которых наблюдается значительная вариантность уже в это время (хотя частотность новых вариантов пока еще очень мала). В XI в. возрастает число позиций с вариантным различением для всех категорий за счет числа позиций четкого различения; именно в это время у большинства категорий оно достигает своей высшей точки — вплоть до 70%; у некоторых категорий их число продолжает увеличиваться еще в XII в. В XII—XIII вв. растет число позиций полного неразличения и одновременно начинает понижаться процент позиций с вариант-

ным, нечетким различением. Утрата различаемости во всех позициях в определенном ряду парадигмы — как четкой, так и вариантной — свидетельствует о сокращении, свертывании парадигмы и ее отдельных категорий. Общий спад вариантности указывает на стабилизацию состояния системы и на вновь обретенную относительную устойчивость по сравнению с интенсивными изменениями и колебаниями предшествующих столетий. Так весь процесс перестройки осуществляется через количественный рост вариантности, снижающий степень реальной дифференциации и завершающийся сокращением объема, или степени развернутости парадигмы.

При единстве общего направления и при единообразном механизме изменения отдельные грамматические категории ведут себя несколько по-разному. Так, род прилагательных раньше всего обнаруживает вариантную маркировку и разрушается ранее других категорий. Наиболее стойкой оказывается категория числа существительного: в течение всего периода разрушения она снижает степень реальной дифференциации всего лишь с 86 до 75%; при этом надо отметить, что многочисленные варианты форм множественного числа в позднем древнеанглийском дают не нейтрализацию числового противопоставления, а нейтрализацию различий между морфологическими классами, т. е. свидетельствуют о влиянии индуцирующих типов склонения на другие типы и о выработке единообразных маркеров множественного числа [9]. Самую сложную картину представляет собой развитие падежа существительного: сокращается общая степень падежной дифференциации и одновременно выявляются определенные тенденции падежного синкретизма [10]. В VIII—IX вв. у существительного было пять типов падежного различения, т. е. различных комбинаций падежных форм в двух- или трехчленном ряду; в X—XI вв. только варианты форм указывают на тенденцию к двучленному падежному ряду двух разных типов: с объединением именительного и винительного либо с дательным, либо с родительным. В XII—XIII вв. маркировка дательного становится вариантной, нечеткой, и к концу XIII в. утрачивается полностью, т. е. побеждает первый из этих типов. Сохраняется неполное — с частичной нейтрализацией — различение двух форм: «общего» и родительного падежей.

Общее сокращение дифференциальной способности именной парадигмы может быть высчитано в виде итоговых показателей на основании данных начального и конечного срезов. Функциональные возможности категорий прилагательного с VIII по XIV в. сократились в пятьдесят раз (на 98%); для категорий прилагательного можно ограничиться одним общим показателем, поскольку все они выполняли единую согласовательную функцию. Для существительного же интереснее привести итоговые данные по категориям раздельно, тем более, что развитие двух словоизменительных категорий было очень несхожим: функциональные возможности числовой дифференциации снизились за это время только на 12%, тогда как для падежа соответствующий показатель достигает 67%, т. е. его функциональные возможности сократились в три раза. Естественно, что при этом должна была сократиться и функциональная нагрузка, которую могли выполнять эти морфологические средства. В отношении существительного интересно обратить внимание на реальное использование сохранившихся форм, которое позволяет получить дополнительные подтверждения

[9] См.: Э. А. Макаев. Именное склонение в германских языках, в кн.: «Сравнительная грамматика германских языков», III, М., 1963; В. Н. Ярцева, Историческая морфология английского языка, М.— Л., 1969, стр. 85—86.

[10] Известно, что варьирование может указывать на тенденции языкового развития, не предопределяя, однако, их дальнейшей реализации, см.: G. M. Anderson, указ. соч., стр. 5; В. Матезиус, О потенциальности языковых явлений, сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967.

и коррективы к этим выводам. Известно, что положение четырех сохранившихся в среднеанглийском форм существительного было далеко не равноправным с точки зрения их собственной функциональной нагрузки: к этому времени сократилось использование форм родительного падежа, поскольку он утратил свои приглагольные, приадъективные и приадвербиальные функции, а частично даже и присубстантивные [11]. Из-за ограниченного применения форм родительного падежа действительная роль падежной дифференциации (оппозиции «общий падеж — родительный падеж») снизилась еще более, чем формальные возможности падежной парадигмы. С другой стороны, по тем же причинам — ограниченное использование родительного падежа — отсутствие формального различения числа в позиции родительного падежа функционально было менее существенно, чем его четкое различение в позиции общего падежа; поэтому небольшое понижение дифференциальных возможностей числового противопоставления (за счет нейтрализации различий в родительном падеже) не могло фактически повлиять на функциональную нагрузку этой оппозиции.

Таким образом мы получили объективные количественные данные о снижении функциональной нагрузки, которую могли выполнять формы согласования прилагательных и падежные формы существительных, т. е. те средства, которые маркировали связь прилагательного-определения с определяемым и все синтаксические связи беспредложного существительного. Эти изменения не могли не сказаться на роли синтаксических средств в предложении. Если морфологические средства отныне выполняют меньшую функциональную нагрузку, то нагрузка синтаксических средств соответственно возрастает. Синтаксические (и лексико-синтаксические) средства становятся единственным или почти единственным средством связи. Следовательно, по сравнению с предшествующим периодом произошло очень существенное с м е щ е н и е в функциональном весе морфологии и синтаксиса, которое представляет собой сдвиг типологического ранга в грамматической системе языка. Так, проведенный анализ морфологической парадигмы явился способом характеристики всей грамматической системы с помощью объективных количественных данных.

По-видимому, хорошим дополнением к этому выводу было бы наличие каких-то соизмеримых по масштабам изменений в синтаксической системе, которые происходили бы примерно одновременно со свертыванием морфологической парадигмы. Между тем, в работах по историческому синтаксису английского языка отмечены разнообразные процессы, далеко не всегда параллельные морфологическим изменениям.

Наличие предложных оборотов, эквивалентных или синонимичных беспредложным падежным формам во многих значениях, зарегистрировано еще для древнеанглийского периода [12]. Однако наиболее сильный рост частотности предложных оборотов англисты единодушно относят к XIII—XIV вв., т. е. к тому времени, когда сокращение морфологической парадигмы и утрата падежной дифференциации фактически уже завершились [13].

---

[11] См.: Б. А. И л ь и ш, История английского языка, М., 1968, стр. 226; D. E. B a r o n, Case grammar and diachronic English syntax, The Hague—Paris, 1974.

[12] См.: Л. С. К у з н е ц о в а, История предложных и беспредложных глагольных и именных словосочетаний в английском языке. КД, Уфа, 1964; Т. С. С о р о к и н а, К истории развития синонимичных атрибутивных словосочетаний в английском языке. КД, М., 1972; Э. З. Л е в к о в а, Дательный падеж в древнеанглийском языке и его функциональные эквиваленты. КД, Л., 1973; Л. В. Д а н и л ю к, Структурно семантические особенности предложных словосочетаний древнеанглийского языка. АКД, Киев, 1977.

[13] В. Н. Я р ц е в а, Исторический синтаксис английского языка, М.— Л., 1961, стр. 185 и сл.; И. П. И в а н о в а, Л. П. Ч а х о я н, История английского языка, М., 1976, стр. 224.

Как объяснить это «отставание» или временно́й разрыв? Надо полагать, что даже вариантное, нечеткое различение падежных форм, характерное для времени интенсивных преобразований морфологической парадигмы имени существительного, в частности, нерегулярное маркирование дательного падежа в XII—XIII вв., продолжало нести определенную функциональную нагрузку. Это подтверждается имеющимися данными о большей стойкости окончания дательного падежа *-e* при его беспредложном употреблении [14].

Сложнее обстоит дело с порядком слов как синтаксическим средством, принявшим на себя функции связи, осуществлявшиеся согласовательными категориями прилагательного и большинством падежных форм существительного. Фиксация прилагательного в препозиции к определяемому слову считается завершившейся уже к концу X в.[15]. Примерно в это время или немного позже складывается система детерминативов-артиклей, оформляющих субстантивную группу. Иными словами, синтаксические средства, которые могли выполнять связующие функции, подобно согласовательным категориям прилагательного, были уже созданы к началу процесса сокращения их функциональных возможностей. Вероятно, это обстоятельство могло ускорить процесс перестройки, и именно в этом случае наиболее уместно ставить вопрос об избыточности некоторых формальных средств при рассмотрении причинности этих изменений [16]. Фиксация же порядка слов «подлежащее — сказуемое — дополнение», т. е. синтаксического средства, функционально заменившего падежные противопоставления существительного, относится к значительно более позднему времени — к XV—XVII вв. Таким образом, в течение двух-трех столетий в языке вообще не было формального обозначения этих связей. При отсутствии эксплицитных показателей синтаксических отношений связь между словами в предложении осознавалась только семантически [17].

Не входя в детальное сопоставление использования морфологических и синтаксических средств, необходимо отметить, что отсутствие синхронности между морфологическими и синтаксическими изменениями вполне объяснимо. Подобно тому как в синхронии синтаксические признаки не являются каким-то автоматическим «отражением» морфологических, так и в истории: синтаксические изменения не всегда сопутствуют морфологическим и вызываются ими. В этом нас убеждает хотя бы то обстоятельство, что позиция определения в непосредственной близости к определяемому мотивирована в первую очередь их тесной семантической связью, а не необходимостью ее формального обозначения; неслучайно, что это местоположение определения мы находим и в тех языках, где прилагательное обладает полным набором согласовательных категорий, например, в русском. Конечно, строгость соблюдения подобного правила может возрасти в связи с морфологическими изменениями. Это же рассуждение применимо и к порядку следования «подлежащее — сказуемое — дополнение», который является поверхностным обнаружением их семантических

[14] См.: А. И. Мощицкая, К вопросу о склонении среднеанглийского существительного. КД, Томск, 1962.

[15] В. В. Евченко, Развитие постпозитивного определения в английском языке (IX—XV вв.). КД, Л., 1971.

[16] Л. С. Бархударов. К проблеме развития аналитического строя в английском языке, «Ин. яз. в высш. шк.», М., 1963; его же, Еще раз к вопросу о развитии аналитического строя, «Ин. яз. в высш. шк.», 3, М., 1964.

[17] См.: В. Н. Ярцева, Исторический синтаксис английского языка, стр. 23; В. В. Пассек, К вопросу о соотношении между редукцией окончаний и выдвижением синтаксических средств в английском языке, сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955. См., однако, другое мнение о порядке следования подлежащего, сказуемого и дополнения в среднеанглийском: И. П. Иванова, Л. П. Чахоян, указ. соч., стр. 242.

связей и отражает естественную логическую последовательность компонентов глубинной структуры: сначала источник действия, затем действие и далее— тот объект, на который оно переходит. И в этом случае утрата морфологических средств способствовала закреплению этого порядка как обязательного, но не была ни его первопричиной, ни единственным стимулом его стабилизации.

Эти соображения отнюдь не опровергают сделанных нами выводов о сдвиге в удельном весе морфологических и синтаксических средств в связи с сокращением функциональных возможностей морфологической парадигмы, а являются лишь предостережением от переоценки зависимости синтаксических изменений от морфологических. Факт сдвига в распределении функциональной нагрузки морфологии между морфологией и синтаксисом не вызывает сомнения, причем количественные показатели сокращения функциональных возможностей парадигмы дают, как нам представляется, объективное представление о масштабах этого сдвига.

Оценивая общие результаты проведенного исследования, хотелось бы отметить, что методика количественного анализа, опробованная на именной парадигме, оказалась достаточно эффективной, и, по-видимому, достаточно универсальной, чтобы ее можно было применить в других областях; например, с помощью аналогичных методов и количественных показателей можно проследить эволюцию глагольной системы и глагольных грамматических категорий или провести типологическое сопоставление разных языков со сходным составом морфологических категорий (а также, возможно, и сопоставление удельного веса единиц разных лингвистических уровней в одном языке и темпов их исторических изменений).

Самостоятельный интерес для проблемы исторических изменений имеют, как нам представляется, и выявленные в ходе анализа закономерности, связанные с вариантностью грамматических форм. В модели «замещения», являющейся наиболее общей диахронной моделью, вариантность (или шире: варьирование) занимает особенно важное место как один из этапов и как способ перехода от старого состояния, или качества, к новому. Учет состояния варьирования на разных стадиях эволюции языка дает возможность с большей точностью и полнотой реконструировать языковую историю, поскольку варьирование является показателем и проявлением многих процессов развития: общий количественный рост вариантов может свидетельствовать об интенсификации изменений в языке, их сокращение — об относительной стабилизации. Многие исторические сдвиги в языковой системе осуществляются через н а р а с т а н и е вариантности до максимума и с п а д вариантности, сигнализирующий о завершении сдвига. Сосуществующие варианты отражают действующие тенденции языкового развития и указывают на потенциальные изменения, реализация которых зависит в конечном итоге от разных внутрилингвистических и экстралингвистических факторов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

ТАРЛАНОВ З. К.

ГЛАГОЛЫ С НЕПОЛНОЙ ЛИЧНОЙ ПАРАДИГМОЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Русскому глаголу посвящено немало блестящих работ, выполненных на большом и разнообразном материале. Несмотря на это, в морфологии и синтаксисе русского глагола все еще обнаруживаются «нетронутые» или «почти нетронутые» аспекты, связанные с исследованием его прежде всего с лексико-грамматической точки зрения. Хотя подход к изучению частей речи именно как к лексико-грамматическим разрядам слов следует признать одной из прочных традиций русского языкознания в целом, тем не менее он, к сожалению, пока не нашел своей полной реализации в исследовательской практике. Вследствие этого наши представления о глаголе, о степени обязательности тех или иных его категорий для различных входящих в него групп слов, отличающихся друг от друга тематически, генетически, стилистически, по формам внешнезвуковой организации и т. д., остаются весьма приблизительными.

Настоящая статья преследует цель рассмотреть кратко некоторые вопросы, возникающие при анализе состава русского глагола с точки зрения полноты/неполноты его личной парадигмы.

С конца XIX в. в науке о русском языке при изучении категории лица глагола все чаще выдвигается мысль, что именно эта категория, выражая глагольное действие наиболее конкретно и наглядно, составляет фундамент сказуемости [1]. Дальнейшее свое обоснование и развитие эта концепция нашла в исследованиях В. В. Виноградова [2], в академической «Грамматике русского языка» [3], а также в многочисленных статьях и учебной литературе последних десятилетий. Признавая категорию лица одной из «основных синтаксических категорий глагола (наряду с формами времени и наклонения)», В. В. Виноградов писал: «Синтаксическое изучение глагольных контрукций должно выяснить роль глагольных форм в строе разных типов словосочетаний, предложений и синтагм» [4]. Следовательно, согласно В. В. Виноградову, для выяснения конструктивной роли глагольных форм в разных синтаксических построениях русского языка необходимо предварительно выявить синтаксические возможности этих форм. Однако специальные исследования такого рода не проводились. Недостаток этот в известной мере компенсировался отдельными замечаниями сугубо синтаксического плана.

В сложившейся лингвистической традиции категория лица неизменно считается одной из существенных характеристик русского глагола, с которой связывает его «сказуемостное» значение. Поскольку сказуемость —

---

[1] В. Ф. Андреев, Знаменательные и служебные слова в русской речи, ЖМНП, 1895, сентябрь, стр. 258.

[2] В. В. Виноградов, Русский язык, М.— Л., 1947, стр. 452—454 и сл. Ср. также: А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, М., 1941, стр. 175.

[3] «Грамматика русского языка», II, ч. 1, М., 1960, стр. 80.

[4] В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 453.

понятие синтаксическое, то в синтаксическом же плане рассматривается и категория лица.

Как известно, общепринятым является деление всех глаголов прежде всего на две большие группы в зависимости от того, в составе каких предложений — личных или безличных — они функционируют: 1) глаголы личные и 2) глаголы безличные (включая и личные формы, употребленные безлично). Этим двум классам глаголов соответствуют два типа предложения — личные (двусоставные и односоставные) и безличные. Дальнейшая семантическая детализация личных и безличных форм глаголов оказывается опять-таки подчиненной синтаксису: значения их по существу сводятся к констатации того, относятся ли обозначенные ими действия к определенному, неопределенному, обобщенному лицам или мыслятся безлично [5], тем самым происходит очевидное смещение исследовательского интереса в сторону типологии односоставных предложений. Таким образом, вопросы, связанные с категорией лица глагола, в конечном счете растворяются в синтаксисе двусоставных и односоставных предложений.

Хотя тесное взаимодействие между категорией лица (личными и безличными формами) глагола, с одной стороны, и типами, структурой предложения,— с другой, бесспорно (в самом деле синтаксическая квалификация, например, основных разновидностей односоставных конструкций немыслима без опоры на грамматические значения личных форм глагола), тем не менее указания на семантику и функционирование тех или иных форм глагола в составе предложения не покрывают все аспекты категории лица глагола. Это становится очевидным, если принять во внимание тот факт, что синтаксические возможности и поведение личных форм разных тематических, стилистических, словообразовательных групп глаголов неодинаковы. Иными словами, не все личные глаголы способны образовать все теоретически мыслимые личные формы, на что обращается внимание уже сравнительно давно. Именно это обстоятельство имеют в виду, когда, наряду с личными и безличными глаголами, выделяют глаголы дефектные с точки зрения полноты парадигмы личных форм. Однако ряд подобных глаголов оказывается, по данным специальной литературы, весьма ограниченным. В. В. Виноградов, квалифицировавший их как переходную ступень от личных глаголов к безличным, приводит примеры с личными глаголами, употребительными «почти исключительно в форме 3-го лица (ср.: *причина кроется в том, что...*; *что-то мерещится*; „И снится чудный сон Татьяне“; ср. употребление глаголов: *мерзить*, *зыбаться* или *зыбиться*: „Тихо зыблется тростник“ (Пушкин); *зиждиться*: „Наша дисциплина зиждется на революционно-марксистской идеологии“ и т. п.» [6].

Несколько подробнее о тех же глаголах пишется в «Грамматике русского языка» (т. I). В ней, в частности, констатируется факт употребляемости некоторых глаголов, «в зависимости от лексического своего значения... только в форме 3-го лица единственного и множественного числа» (стр. 468), и называются отдельные тематические группы их: 1) «глаголы, обозначающие физические состояния органов или частей тела (названия последних и выступают в 3-м лице как подлежащие при соответствующих формах глагола)...: *болеть — голова болит...*, *зудеть... — кожа зудит*; *ныть... — колено ноет*»: 2) «только в 3-м лице употребляются некоторые средне-возвратные глаголы, напр.: *крыться* (в значении „состоять“, „за-

[5] См., например: А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 177—178; его же, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 70—81; А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 370—376; В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 458—461; «Грамматика русского языка», I, стр. 467—471, II, ч. 2, стр. 5—22 и сл., и др.

[6] В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 466.

ключаться")..., *зиждиться* (в значении „основываться")..., *доиться — корова хорошо доится*»; 3) «также преимущественно в 3-м лице употребляются страдательные глаголы на *-ся*; подлежащими при них являются названия предметов и животных, реже — названия лиц, напр.: *книги выдаются библиотекарем*; *в совхозе выращиваются ранние овощи...*» (стр. 468, 469).

Последующая научная и учебная литература ограничивается в основном воспроизведением отдельных примеров и замечаний к ним, заимствованных из работ В. В. Виноградова и «Грамматики русского языка».

Глаголы с неполной личной парадигмой кратко, но с иных позиций рассматриваются также и в соответствующем разделе «Грамматики современного русского литературного языка» [7]. Поскольку в «Гр. 70» парадигматическое описание занимает принципиально важное место (с точки зрения ее авторов), то от нее следовало бы ожидать достаточно полного охвата глаголов с неполной личной парадигмой с указанием, по возможности, причин или условий, препятствующих употреблению их во всех формах лица. На деле же «Гр. 70» ограничивается несколькими общими и расплывчатыми замечаниями. В частности, в ней отмечается: «Формы наст. вр. могут быть образованы от любого глагола. Но практическому их употреблению могут препятствовать: 1) традиционное представление о „неблагозвучии" формы; 2) омонимическое совпадение словоформ разных глаголов; 3) лексическое значение, несовместимое с употреблением 1-го и 2-го л. ед. и мн. ч.» (стр. 412). Далее уточняется, что первое ограничение распространяется преимущественно на глаголы 2-го спряжения на *-ить* и *-еть*: «избегаются в употреблении формы 1-го л. ед. ч. (которые должны оканчиваться на *чу, жу, шу, щу*)» (там же): а) у глаголов *желтить, застить, мутить* и т. д. (всего — 39 слов), б) у глаголов *затмить, стонать*, в) у глаголов, словоформы которых совпадают со словоформами других глаголов: *бузить, дерзить, лазить, тузить*. Третье ограничение иллюстрируется глаголами типа *телиться, зеленеть, осыпаться, течь* и под., а также глаголами, «лексические значения которых несовместимы с представлением о единичном деятеле; например: *толпиться, концентрироваться, сползтись, сбежаться, скопиться, перепадать, перемёрзнуть, набежать, попáдать, помёрзнуть* и т. п.» (стр. 413). Всего в «Гр. 70» приводится около 60 глаголов, в том числе и просторечных.

Таким образом, самый полный список глаголов с неполной личной парадигмой, использованный в специальной литературе как материал для грамматических наблюдений включает в себя около шести десятков единиц. При этом в качестве факторов, обусловливающих неполноту парадигмы, как уже отмечалось, указывали на: 1) лексическое значение, исключающее употребление глагола в форме 1 и 2-го лиц, 2) залоговые значения глаголов, не способные сочетаться с формами 1 и 2-го лиц, 3) борьба носителей языка с омонимически совпадающими формами и 4) «традиционные представления о „неблагозвучии"». Однако факторы эти не равноценны по их значимости. Выделение первого из них не вызывает возражений и представляется вполне естественным с точки зрения языкового сознания. Что же касается остальных трех условий, как будто бы также препятствующих употреблению тех или иных глаголов в 1 и 2-м лицах, то они не могут считаться очевидными, а ссылка на них — убедительной. В самом деле, почему должны избегаться в употреблении формы 1 и 2-го лиц только у 39 глаголов, перечисленных в «Гр. 70», если совершенно аналогичные формы у массы других глаголов воспринимаются как возможные

[7] «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970.

и допустимые [8]? Что значат «традиционные представления о „неблагозвучии“» и каковы границы этих представлений? Почему омонимия жестко исключается только для форм 1 и 2-го лиц некоторых глаголов, но считается допустимой при грамматическом изменении огромного количества различных классов слов русского языка?

Из сказанного следует, что глаголы с неполной личной парадигмой в русском языке требуют отдельного и углубленного исследования, тем более, что до сих пор они вообще специально не рассматривались, несмотря на то, что сам по себе глагол относится к числу интенсивно изучаемых классов слов. Исследование этих глаголов предполагает, во-первых, выявление общего количества их в современном русском языке, прежде всего — в литературном; во-вторых, установление основных тенденций в истории их употребления; в-третьих, формулирование причин и условий, благодаря которым они оказываются лишенными форм 1 и 2-го лиц.

Главная трудность, которая возникает при изучении указанных глаголов, состоит в том, что они до сих пор не систематизировались. Поэтому нет данных даже об их общем количестве в языке. Основной источник, из которого можно черпать сведения о них,— это словари современного русского языка, преимущественно — толковые. Но, к сожалению, показания словарей тоже противоречивы. Так, по данным Малого академического словаря 1957—1961 гг. (МАС) [9], в современном литературном языке насчитывается около 4900 глаголов с неполной личной парадигмой. Если глаголы, отмеченные в МАС, принять за основу и проследить, как квалифицируются те же глаголы в плане полноты/неполноты личной парадигмы в других авторитетных словарях современного русского литературного языка, ориентирующих читателя на нормативность словоупотребления, то оказывается, что Большой академический словарь (ССРЛЯ) [10] выделяет около 3600 единиц, лишенных форм 1 или 1 и 2-го лиц, а в Словаре Д. Н. Ушакова (СУ) [11] их всего около 40 единиц, да и среди них встречается ряд безличных глаголов, которые по существу к интересующей нас теме отношения на имеют [12]. В плане характеристики глагольной лексемы с точки зрения парадигмы личных форм СУ продолжает традицию академического «Словаря церковнославянского и русского языка» 1847 г., в котором не разграничиваются грамматически (потенциально) возможные и реально допустимые формы лица.

Сам по себе этот факт еще раз убеждает в том, что русский литературный язык, несмотря на то, что ему посвящена богатейшая лингвистическая литература, не может считаться всесторонне изученным не только в плане историко-генетическом и функциональном [13], но и в неменьшей степени также в плане структурном.

В реестре выдвигаемых разными исследователями признаков, благодаря которым литературный язык считается противопоставленным нелите-

---

[8] Ср., например: *Может быть, я* ***убежусь*** *вашими доводами* (Л. Толстой, Письмо А. А. Толстой, 1862). Пример заимствован из кн.: С. П. Обнорский, Очерки по морфологии русского глагола, М., 1953, стр. 113.

[9] «Словарь русского языка в четырех томах», М., 1957—1961.

[10] «Словарь современного русского литературного языка в семнадцати томах», М.— Л., 1950—1965.

[11] «Толковый словарь русского языка», под ред. проф. Д. Н. Ушакова. I—IV, М. 1935—1940.

[12] См. также: В. И. Чернышев, Толковый словарь русского языка (Критический обзор), в кн.: В. И. Чернышев, Избр. труды, I, М., 1970, стр. 378.

[13] В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958; Ф. П. Филин, О генетическом и функциональном статусе современного русского литературного языка, ВЯ, 1977, 4.

ратурным разновидностям языка [14], критерии структурного характера даже не выставляются. Так, в число важнейших черт литературного языка включаются, например, его обработанность, нормативность, стабильность, общеобязательность, стилистическая дифференцированность, поливалентность и т. д.[15] (общее количество этих признаков колеблется у разных авторов), но никак при этом не оговаривается, означает ли это, что в отношении внутренней, грамматической организации литературный язык тождествен нелитературным формам языка, ничем от последних не отличается. Есть ли какие-то структурные различия между литературной и нелитературными формами языка, и в чем они выражаются? То есть можно ли считать, например, что спряжение глагола как факт морфологической системы русского языка совершенно одинаково по своему объему, последовательности и полноте охвата всей совокупности глаголов во всех разновидностях современного русского языка?

Структурное своеобразие литературного языка, в отличие от прочих разновидностей языка, покоится на том, что основу, ядро его составляет монолог, о чем убедительно писал Л. В. Щерба: «Если вдуматься глубже в суть вещей, то мы придем к заключению, что в основе литературного языка лежит монолог, рассказ, противополагаемый диалогу — разговорной речи. Эта последняя состоит из взаимных реакций двух общающихся между собой индивидов, реакций нормально спонтанных, определяемых ситуацией или высказыванием собеседника. Диалог — это в сущности цепь реплик. Монолог — это уже организованная система облеченных в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, а преднамеренным воздействием на окружающих. Всякий монолог есть литературное произведение в зачатке» [16]. Монолог специфичен не только в организации своих частей, не только его композиционной замкнутостью, противостоящей диалогу с его последовательно чередующимися репликами, образующими открытую структуру, но и составом, строением используемых в нем языковых единиц и категорий. Кроме всего прочего, монолог — прежде всего повествовательная его разновидность — в частности, противополагается диалогу, разговорной речи, тем, что в нем преобладающим, доминирующим оказывается 3-е лицо, выражающее предмет мысли, повествования, рассказа. Следовательно, из всех членов личной парадигмы глагола центральное место в монологе отводится именно форме 3-го лица. Становясь конструктивным элементом развитых повествовательных форм речи, она приобретает самодовлеющую силу: она может существовать в каждом конкретном случае независимо от наличия или отсутствия соотносительных с ней форм 1 и 2-го лиц, поскольку эти последние составляюя принадлежность иного типа речи — диалога. Она свободна также от тех семантических и пр. ограничений, которые накладываются на потенциально коррелятивные формы 1 и 2-го лиц.

Факт принадлежности глагольной формы 3-го лица иному плану, чем формы 1 и 2-го лиц, вовсе не означает, однако, что она противостоит собственно личным формам как форма не-личная, «функция которой состоит в том, чтобы выражать *не-лицо*» [17]. Доказательству тезиса «третье лицо не есть лицо», а также рассмотрению взаимных отношений между 1 и 2-м

[14] Р. А. Будагов, Литературные языки и языковые стили, М., 1967, стр. 5—13; В. В. Виноградов, Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, М., 1967, стр. 98 и сл.; Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6.

[15] Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, стр. 4.

[16] Л. В. Щерба, Современный русский литературный язык, в кн.: Л. В. Щерба. Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 115.

[17] Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974, стр. 262 (далее ссылки на стр. даются в тексте).

лицами глагола Э. Бенвенист посвятил специальную работу «Структура отношений лица в глаголе», которая строится на материале ряда типологически разных языков и содержит много тонких и оригинальных наблюдений и выводов. Поскольку она имеет непосредственное отношение к теме статьи, то остановимся на ней несколько подробнее.

Прежде всего следует заметить, что у Э. Бенвениста анализ отношений лица в глаголе в конечном счете оказался подмененным анализом аналогичных отношений в местоимениях, что не одно и то же.

Исходя из предположения, что «лицо свойственно только позициям „я" и „ты"» (стр. 264), Э. Бенвенист считает, что «третье лицо является уже в силу своей структуры неличной формой глагольной флексии» (там же), и аргументирует это ссылками на такие факты, как: 1) употребление формы 3-го лица «всегда, когда лицо не указывается, а именно в выражениях, называемых безличными» (там же); 2) «в семитских языках третье лицо единственного числа перфекта не имеет флексии»; 3) «в турецком языке, как правило, третье лицо единственного числа имеет нулевой показатель при показателе первого лица единственного числа *-m* и второго лица единственного числа *-n*...»; 4) «в финно-угорских языках третье лицо единственного числа представляет собой чистую основу»; 5) «в грузинском языке в субъектном спряжении (в единственном, где лицо рассматривается как субъект) оба первых лица, помимо окончаний, характеризуются префиксами: *v-* для первого лица и *h-* — для второго лица; третье же лицо имеет только окончание»; 6) «в языках северо-западного Кавказа (а именно в абхазском и черкесском) личные признаки для первых двух лиц являются постоянными и регулярными формами, для третьего же лица имеется большое число признаков и трудности в выражении»; 7) «дравидские языки употребляют для третьего лица единственного числа — в отличие от первых двух лиц — именную форму, обозначающую деятеля»; 8) «в эскимосском языке В. Тальбицер отмечает неличный характер третьего лица единственного числа...»; 9) «во всех языках американских индейцев, где глагол спрягается с помощью окончаний или же личных префиксов, этот показатель обычно отсутствует в третьем лице»; 10) «в языке бурушаски третье лицо единственного числа всех глаголов согласуется с показателями именных классов, в то время как у двух первых лиц согласование отсутствует»; 11) «в индоевропейских языках аномалия в третьем лице единственного числа глагола в литовском языке свидетельствует о том же явлении» (стр. 262—263).

Таким образом, если подойти к перечню Э. Бенвениста формально, то может показаться, что Э. Бенвенист обосновывает свой тезис о не-личном характере глагольной формы 3-го лица многочисленными фактами из истории функционирования разных языков. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что весь этот перечень в сущности может быть сведен к двум моментам: 1) форма именно 3-го лица, а не 1 и 2-го, употребляется в безличных выражениях и 2) во многих языках 3-е лицо оформляется не так, как 1 и 2-е. Что же касается того, дает ли это основание отказать форме 3-го лица глагола в праве называться личной формой, то ответ здесь может быть, как представляется, лишь отрицательным в силу следующих причин.

Во-первых, употребление формы 3-го лица в безличных выражениях свидетельствует не только о ее не-личном характере, сколько о том, что сами безличные выражения зародились и утвердились не в диалоге, где «лицо» манифестируется противопоставленными друг другу «я» и «ты», а в повествовательной речи, в которой «лицо» представляется «он»; и в принципе путь доказательства, избранный Э. Бенвенистом, вряд ли может считаться безупречным именно потому, что он предусматривает приоритет

логических рассуждений перед грамматическими фактами; утверждение, что «третье лицо не есть лицо», потому что оно выходит за пределы «я» и «ты», аналогично тому, если бы мы стали исключать формы среднего рода индоевропейских языков из числа родовых форм на том основании, что они не укладываются в рамки мужского и женского полов.

Во-вторых, из бесспорного факта, что во многих языках 3-е лицо оформляется не по тем же принципам, что 1 и 2-е лица, не следует, что «третье лицо не есть лицо»: 1) принципиально иное оформление 3-го лица, в отличие от 1 и 2-го, характеризует не все языки; 2) если бы даже отмеченный признак 3-го лица подтверждался фактами всех языков, все равно это не дало бы основания согласиться с Э. Бенвенистом: ведь иные принципы выражения 3-го лица могут быть результатом того, что процессы оформления 1 и 2-го лиц, с одной стороны, и 3-го лица — с другой, не совпадали во времени. Скорее всего так и было. Так, имея в виду историю грузинского языка, А. С. Чикобава пишет: «С утерей категории грамматических классов классно-личное спряжение замещается личным спряжением, причем процесс формирования личных форм субъекта начинается с 1 и 2-го лица: личными становятся прежде всего „лицо говорящее“ и „лицо слушающее“, т. е. лицо, к которому обращаются. 3-е лицо формируется позже первых двух (разрядка наша.— *З. Т.*), как то наглядно прослеживается, в частности, в личном спряжении грузинского и сванского языков» [18]. Аналогичные факты можно найти в истории разных языков.

В-третьих, Э. Бенвенист почему-то совершенно не учитывает того, что объединяет 3-е лицо с первыми двумя. В этом смысле существенным представляется то обстоятельство, что 3-е лицо, как и 1 и 2-е лица (чаще — как 2-е) оказывается вовлеченным в систему форм императива, что было бы невозможно, если бы оно не манифестировало идею «лица». При этом имеются в виду не только синтаксические формы типа русск. *Да здравствует солнце! Пусть будет небо!* 3-е лицо может иметь свой специализированный морфологический способ передачи адресованного ему императива, соотносительный с аналогичной формой 2-го лица, ср. агульск. *ušuraj*, лезг. *ƒiraj* «пусть (он, она, они) пойдет (пойдут)».

Наконец, в-четвертых,— и это главное — Э. Бенвенист отождествляет понятие «речь» с понятием «диалог», возникающим на базе, как он считает, исключительно в языке существующего противопоставления «я» : «ты». Компоненты этого противопоставления квалифицируются как личные местоимения (стр. 294). Далее утверждается, что «личные местоимения являются первой опорной точкой для проявления субъективности в языке» (стр. 296). В свою очередь «наличие „субъективности“ в языке создает в самом языке... и за его пределами категорию лица» (стр. 297), и здесь круг замыкается: личные местоимения (являющиеся, как известно, наиболее универсальным средством реализации категории лица) представляют собой опору для «субъективности» в языке, которая создает в языке же категорию лица, т. е. личные местоимения прежде всего. Поскольку самое коммуникативную сущность языка Э. Бенвенист связывает с выражением в нем субъективности, опирающейся на личные местоимения, которые, по его мнению, «не соотносятся ни с понятием, ни с индивидом» (стр. 295), то тем самым этим последним придается чуть ли не мистический характер. Но не в этом суть. Важно другое: отождествляя речь с диалогом, трактуемым как актуализация противопоставления «я» : «ты», Э. Бенвенист оставляет в стороне обширную область монологической речи, которую в ее за-

[18] Арн. Чикобава, Об одном принципе классного спряжения в древнегрузинском глаголе, ВЯ, 1977, 2, стр. 99.

чаточных формах [19] следует считать такой же древней, как и диалогическую, и потому осознать себя можно не только в противоположении «я» : «ты», но и в противоположении «я» : «он». Игнорирование монолога неизбежно ведет к недооценке языка как средства сообщения мысли, как хранилища коллективного опыта народа, а монолог подлинный, повествовательный, немыслим без 3-го лица: не случайно традиционные народные эпические формы строятся именно вокруг 3-го лица, которое и можно было бы назвать эпическим, в отличие от 1-го лица ; совсем особо стоит 2-е лицо, выполняющее почти исключительно вокативную функцию [20].

Таким образом, Э. Бенвенисту не удалось доказать выдвинутый им тезис, согласно которому «третье лицо не есть лицо», и это вполне понятно, ибо категория лица глагола (там, где эта категория имеется) — это трехчленная парадигма, включающая в себя предполагающие друг друга позиции «я», «ты», «он» [21].

Возвращаясь к теме, которая нас непосредственно интересует, заметим, что само существование глаголов с неполной личной парадигмой в русском литературном языке, равно как и непрерывный рост их количества, есть следствие того, что литературный язык базируется на монологе, что неоднократно подчеркивалось Л. В. Щербой: многие глаголы лишены форм 1 и 2-го лиц по той простой причине, что не употребляются в этих лицах, поскольку используются лишь в описаниях, повествованиях в широком смысле слова. Они вошли в литературно-языковой обиход как элементы монологической речи и через монологическую речь. Это подтверждается уже самим составом рассматриваемых глаголов.

Среди глаголов с неполной личной парадигмой значителен удельный вес: 1) слов терминологического происхождения, многие из которых полностью или частично восходят к заимствованиям из западноевропейских языков: *абсолютизироваться*, *абсорбироваться*, *автоматизироваться*, *авторизоваться*, *адаптироваться*, *адсорбироваться*, *аннулироваться*, *актироваться*, *акцентироваться*, *аккумулироваться*, *атаковаться*, *аттестоваться*, *большевизироваться*, *варьироваться*, *вулканизоваться*, *демуницепализироваться*, *дублироваться*, *зацементироваться*, *имитироваться*, *ионизоваться*, *палатализоваться*, *парироваться*, *эрудировать*, *экранизоваться*, *яровизироваться* и т. д.; 2) слов с аффиксом *-ся*, исключающим по смыслу употребление их в 1 и 2-м лицах, ср.: *накидываться*, *накашиваться*, *наклеваться*, *наклеиваться*, *наклеиться*, *накопляться*, *нацедиться*, *начерчиваться*, *начесываться*, *начинаться*, *обессоливаться*, *обезглавливаться*, *обезвоживаться*, *обобщиться*, *отпочковываться*, *перевыполняться*, *приобретаться*, *приливаться*, *расчаливаться*, *расшиваться*, *святиться*, *состоятся*, *соскабливаться*, *употребиться*, *усугубляться*, *утрироваться* и мн. др.; на их долю приходится 90% всех глаголов с неполной личной парадигмой.

Подавляющее большинство глаголов относится к продуктивным классам и к первому спряжению, на второе спряжение приходится около

[19] Такой зачаточной формой монолога является всякое сообщение о чем-либо или о ком-либо, всякое повествовательное предложение. В этом смысле монолог обнаруживается в каждом языке независимо от степени его развития. Другое дело — монолог как литературная форма, как культурная традиция. Это уже — продукт истории культуры, непосредственно связанный с языком как художественным творчеством, как искусством слова Именно монолог как культурная традиция и ложится в основу литературного языка Когда говорят о древнейших формах речи, в частности монологической речи, к сожалению, не различают эти совершенно разные вещи. Ср.: В. Н. Мигирин, Язык как система категорий отображения, Кишинев, 1973, стр. 211—214.

[20] Правда, встречаются опыты создать литературные формы, в которых повествование ведется от 2-го лица. См., например, роман французского писателя М. Бютора «Изменение» («Иностранная литература», 1970, 8 9). Но это только лишь опыты.

[21] См.: З. К. Тарланов, Опыт системного анализа личных местоимений в восточнолезгинских языках, ВЯ, 1977. 5.

700 единиц, что составляет примерно 14% всех слов рассматриваемого типа. Следует также отметить, что около 84% от их общего количества представляют собой приставочные образования, причем общая картина по префиксам выглядит следующим образом (все префиксальные образования, включая, разумеется, и префиксально-суффиксальные, принимаются за 100%): *в-(во-)* — 2%; *вз-(воз-)* — 2%; *вы-* — около 6%; *до-* — 2%; *за-* — около 9%; *из* — 1,8%; *на-* — 6%; *о-(об-)* — около 13%; *пере-(пре-)* — около 10%; *по-* — 3%; *под-* — 4%; *при-* — 3%; *про-* — 5%; *раз-* — 6%; *с-(со-)* — 6%; *у-* — 5%; другие префиксы [*пред-*, *недо-*, *низ-* (*нис-*), *ре-* и под.] — около 1%.

Если принять во внимание, что около 90% глаголов с неполной личной парадигмой включает в свой состав суффикс *-ся*, 84% — те или иные префиксы, то, естественно, напрашивается вывод о том, что мы имеем дело со словами, образованными в основном суффиксально-префиксальным способом.

В рамках настоящей статьи невозможно предложить подробную тематическую классификацию глаголов, лишенных форм 1 и 2-го лиц (что могло бы быть предметом отдельного исследования). Да и не только в тематических группах тут дело. Существенно и то, что сами личные местоимения 1 и 2-го лиц не способны сочетаться со всеми глаголами в силу того, что чаще всего они употребляются в сугубо личном значении. Они семантически более конкретны и индивидуальны, чего нельзя сказать о форме 3-го лица, совмещающей в себе личное значение и значение нейтральное по отношению к лицу. В силу этого вопрос о том, относятся ли глаголы с неполной личной парадигмой к первому или второму спряжению, не имеет принципиального значения.

Как уже отмечалось, отсутствие форм 1 и 2-го лиц у глаголов второго спряжения на *-ить* и *-еть* (типа *мутить*, *победить*, *убедить* и пр.) «Гр. 70» объясняет «традиционным представлением о „неблагозвучии" формы», и это теоретически и фактически неверно, поскольку, во-первых, неясно, что это за «традиционное представление о „неблагозвучии"», где эта традиция фиксирована и с каких пор она существует; во-вторых, в том-то и дело, что традиция употребления форм 1 и 2-го лиц от этих глаголов вообще формально не прерывалась, что находит свое подтверждение как в соответствующих словарях, так и в специальных исследованиях В. И. Чернышева и С. П. Обнорского [22], посвященных русскому глаголу. Речь может идти, таким образом, не о запрете, наложенном традицией или стремлением к благозвучию, но о практически малой употребляемости или неупотребительности указанных и аналогичных им глаголов в 1 и 2-м лицах прежде всего по семантическим и жанровым основаниям.

Если сопоставить с точки зрения последовательности и полноты охвата глаголов личной парадигмой литературный язык с языком народным, то выясняется, что этот последний не знает или почти не знает глаголов с неполной парадигмой (безличные формы не в счет), что естественно при том разнообразии форм лица (в том числе и 1 и 2-го лиц), которым он характеризуется [23]. Аналогично обстоит дело и с другими типами парадигм, в том числе и именных. Отсюда можно заключить, что не только в рассматриваемом случае, но и вообще неполнота прохождения через те или иные словоизменительные парадигмы — одна из существенных структурных черт литературного языка, в отличие от ненормированных форм речи. В свою очередь само это обстоятельство может быть объяснено, хотя бы

---

[22] В. И. Чернышев, Избр. труды, I, стр. 559—564; С. П. Обнорский, указ. соч. стр. 112—117.

[23] С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 89—117.

частично, двусторонней ориентацией литературного языка: на разговорную речь, диалог, с одной стороны, и монолог как целостную форму — с другой. Поскольку эта проблема является обширной, вполне самостоятельной и требует отдельного изучения то ограничимся здесь по необходимости указанием на то, что важность учета подобных процессов в истории русского литературного языка в целом подчеркивалась неоднократно в связи с рассмотрением направлений взаимодействия между литературным языком и нелитературными формами речи [24], хотя, к сожалению, эти идеи так и не были воплощены в конкретные исследования.

Наличие значительных пластов глагольных слов с неполной личной парадигмой следует считать обычным явлением для тех литературных языков, которые характеризуются личным спряжением. Более того, по мере развития литературных языков, обогащения их новой глагольной лексикой, служащей для выражения бесконечно дифференцирующейся и усложняющейся производственной, общественно-политической, художественно-эстетической, интеллектуальной жизни, количество подобных групп слов будет закономерно возрастать. К такому выводу приводит уже самое предварительное сравнение словарей русского языка, которые были названы выше. Так, например, в МАС на буквы А, Б, В, Г, Д насчитывается соответственно 44, 34, 550, 25 и 160 глаголов с неполной личной парадигмой. Из этих групп глаголов в «Словаре церковнославянского и русского языка» [25], составленном сто с лишним лет назад, приводятся лишь 1, 19, 404, 9 и 109 единиц (при этом следует иметь в виду, что «Словарь церковнославянского и русского языка» не различает, как уже говорилось, потенциально возможные и реально допустимые личные формы). Таким образом, уже эти данные показывают, что за сто лет количество глаголов с неполной личной парадигмой увеличилось значительно. Очень важно то, что это увеличение происходило главным образом за счет производственно-терминологической лексики, ср. хотя бы слова на *Д*: *датироваться*, *дебатироваться*, *дебетоваться*, *дегазироваться*, *дезинфицироваться*, *дезорганизоваться*, *дезорганизовываться*, *декалькироваться*, *декатироваться*, *декламироваться*, *декларироваться*, *декорироваться*, *декретироваться*, *делегироваться*, *демаскироваться*, *демонстрироваться*, *демонтироваться*, *демуниципализироваться*, *денатурироваться*, *денонсироваться*, *детализироваться*, *детонировать*, *деформироваться*, *децентрализоваться*, *дешифрироваться*, *дзинькать*, *дзинькнуть*, *диктоваться*, *дисгармонировать*, *дисконтироваться*, *дискредитироваться*, *дискриминироваться*, *диссонировать*, *дистиллироваться*, *дифференцироваться*, *дображивать*, *довлеть*, *дозироваться*, *документироваться*, *доминировать*, *дополучаться*, *допродаваться*, *досеиваться*, *досочиняться*, *драматизироваться*, *дренажироваться*, *дренироваться*, *дрессироваться*, *дублироваться*, *дурманиться*. В дальнейшем, во второй половине XIX в. и особенно в послеоктябрьский период, процесс демократизации литературного языка принимает еще более широкие масштабы, и это приводит к массовому притоку в литературный язык производственных, научно-технических терминов [26], что не могло не сказаться и на интересующей нас глагольной лексике. Применительно же к более отдаленным этапам в истории русского языка необходимо заметить: поскольку подавляющее большинство глаголов с неполной личной пара-

[24] См., например: Г. О. Винокур, История русского литературного языка, в кн.: Г. О. Винокур, Избр. работы по русскому языку, М., 1959, стр. 68—76; Л. В. Щерба, Литературный язык и пути его развития (применительно к русскому языку), в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку.

[25] «Словарь церковнославянского и русского языка, сост. Вторым отд. имп. Акад. наук», СПб., 1847.

[26] Л. В. Щерба, Литературный язык и пути его развития..., стр. 137.

дигмой приходится на образования с суффиксом *-ся*, то очевидно, что появление и неуклонное возрастание числа подобных глаголов было непосредственно связано с судьбой древнерусского энклитического местоимения *ся*, трансформировавшегося примерно к концу XV — середине XVI в. в морфологический показатель категории залога [27]. Следовательно, XVI в. и нужно считать тем «внутрилингвистическим» рубежом, с которого по существу и начинается подлинная история глаголов с неполной личной парадигмой.

Однако это не означает, что сам по себе отмеченный процесс является однонаправленным. Отнюдь нет. Тенденции литературного языка к увеличению числа личных глаголов, употребляющихся только в 3-м лице, соответствует противоположная тенденция, когда те же глаголы, приобретя переносные значения, начинают изменяться по всем лицам, ср.: *обсахариться*, *передерживаться*, *передоверяться*, *подчалиться*, *подшиваться*, *предназначаться*, *произноситься*, *проклевываться*, *проявиться*, *разбалтываться*, *расшириться*, *серебриться*, *сократиться*, *уладиться*, *утепляться*, *утухать*, *хмелить*, *заискриться*, *близиться*, *анализироваться* и т. д. Это один из путей освоения книжно-литературной глагольной лексики разговорной речью. Поэтому едва ли правильно квалифицировать подобные глаголы как переходную ступень от личных форм к безличным.

Рассмотренный факт лишний раз убеждает, что язык, в том числе и литературный, взятый даже в его синхронной данности, есть результат действия различных, нередко противоположных, тенденций, без учета которых научные выводы не могут быть адекватными действительному положению вещей.

[27] Л. А. Булаховский, Исторический комментарий к русскому литературному языку, 3-е изд., Киев, 1950, стр. 203—204; С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 59; С. Д. Никифоров, Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века, М., 1952, стр. 33.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

ГАФФАРОВ Р.

К ВОПРОСУ О СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ СИНТАКСИСА ТАДЖИКСКИХ ГОВОРОВ

Первые сведения о таджикских диалектах относятся ко второй половине прошлого столетия [1]. Однако становление таджикской диалектологии как науки происходит в годы советской власти. В процессе своего развития таджикская диалектология проходит несколько этапов, с течением времени задачи ее все более усложняются, а методы исследования все более совершенствуются.

Начальный этап диалектологических исследований характеризуется монографическим описанием диалектов. Именно таким методом были изучены диалекты таджиков и ряда таджикоязычных этнических групп, которые в силу различных исторических условий издавна расселяются на территории Таджикистана и Узбекистана.

Публикациями диалектографического характера были созданы условия для перехода таджикской диалектологии на новую ступень. В 60-х годах появляются обобщающие исследования и начинается сравнительное изучение диалектов таджикского языка. Так, в 1964 г. В. С. Расторгуевой был опубликован «Опыт сравнительного изучения таджикских говоров» [2]. Данный труд существенным образом отличается от всех предшествующих диалектологических работ. Во-первых, автор на основании сравнительного изучения языковых явлений определяет исторический путь развития фонетической и грамматической систем современных таджикских народных говоров. Во-вторых, сравнительное обозрение обширного диалектного материала позволило автору установить изоглоссы основных диалектных явлений, нанести их на карту и тем самым выдвинуть вопросы лингвогеографического изучения диалектов таджикского языка.

Рассматриваемое исследование при всех его достоинствах не является исчерпывающим в области сравнительных характеристик таджикских диалектов. Сам автор пишет, что цель работы «положить начало сравнительному изучению таджикских говоров» [3]. В указанной работе фонетика и морфология разработаны достаточно всесторонне и детально, однако лексика и синтаксис не получили в ней столь полного освещения. Как указывает сам автор, причиной этому явились два обстоятельства: 1) в работах, послуживших источниками исследования, недостаточно равномерно были охвачены различные стороны диалектов; 2) в отличие от фонетики и морфологии лексика и синтаксис диалектов таджикского языка являются наименее изученными в историческом плане разделами.

---

[1] См.: В. В. Григорьев, Обозрение диалектных особенностей употребительных у бухарских таджиков персидского языка, приложение к кн.: «О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре Записки Мирзы Шамса Бухари», Казань, 1861; А. А. Семенов, Материалы для изучения наречия горных таджиков Центральной Азии, I. М., 1900.

[2] В. С. Расторгуева, Опыт сравнительного изучения таджикских говоров, М., 1964.

[3] Там же, стр. 14.

В 1968 г. коллектив Сектора диалектологии Института языка и литературы им. Рудаки АН ТаджССР (ныне Отдел истории языка и диалектологии) приступил к сравнительному изучению одной из крупных групп говоров, а именно южных говоров таджикского языка с тем, чтобы в дальнейшем, изучив в той же степени другие группы таджикских говоров, подготовить почву для работ обобщающего характера и создания атласа таджикских диалектов. Перед исследователями стояли следующие задачи: а) равномерное и возможно полное описание всех уровней диалектной речи как языковой системы; б) установление межговорных различий внутри южной группы; в) установление изоглосс языковых явлений, свойственных говорам южной группы. На основе обширного научного фонда полевых материалов по южным говорам под непосредственным руководством В. С. Расторгуевой в настоящее время завершена монография (в пяти томах) «Южные говоры таджикского языка». Третий том данной работы специально посвящен синтаксису простого предложения южных говоров таджикского языка [4].

Поскольку данная работа является первым опытом систематической и достаточно детальной характеристики синтаксиса таджикской диалектной речи, то, естественно, в процессе написания ее возникло много важных проблемных вопросов, как общего характера, так и связанных со спецификой национального языка и его диалектов, требующих всестороннего обсуждения специалистов этой области. Справедливо замечание чехословацкого диалектолога Й. Штольца: «Изучение и описание синтаксиса диалектов имеет свои методические и проблемные особенности» [5].

Синтаксис является наименее исследованной областью не только в диалектах таджикского языка, но и в диалектах языков других народов нашей страны. Даже в русской диалектологии, имеющей давние традиции изучения диалектов, синтаксис, несмотря на то, что он «богат своеобразными конструкциями» [6], считается наименее изученным разделом. Это отмечают видные русские диалектологи. Так, в 1949 г. Р. И. Аванесов писал: «Еще труднее было составить очерки синтаксиса и лексики, так как эти разделы в диалектологии остаются почти совсем не изученными» [7]. П. С. Кузнецов также утверждал, что «в синтаксическом отношении русские говоры изучены меньше, чем в отношении фонетическом и морфологическом» [8]. Авторы недавно изданного учебного пособия «Русская диалектология» указывают, что синтаксис говоров русского языка изучен крайне неудовлетворительно [9].

Однако нельзя считать, что этот раздел языка остался за пределами внимания диалектологов-русистов. Особенно интенсивно стали заниматься русским диалектным синтаксисом в последние годы, о чем свидетельствует значительная литература по этому вопросу [10]. Эти исследования

---

[4] Книга находится в печати.

[5] Й. Штольц, Состояние, проблемы и задачи словацкой диалектологии, ВЯ, 1968, 4, стр. 19.

[6] Ф. П. Филин. Заметки о записях материалов по синтаксису. «Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка АН СССР», 4, М., 1948, стр. 23.

[7] Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии. ч. 1, М., 1949, стр. 5.

[8] П. С. Кузнецов, Русская диалектология, М., 1960, стр. 120.

[9] «Русская диалектология», М., 1972 стр. 208.

[10] Перечислим некоторые из них: Ф. П. Филин, Из наблюдений над синтаксисом северо-западных говоров, «Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена». 69, 1948, П. С. Кузнецов, К вопросу о сказуемостном употреблении причастий и деепричастий в русских говорах, в кн.: «Материалы и исследования по русской диалектологии», 2, М.—Л., 1949: Н. М. Мешковская, Синтаксические явления в мордовских говорах Тамбовской области. АКД, М., 1950: В. А. Иванова, Простое предложение в говорах Брасовского района Брянской области. АКД, Л., 1953; А. Б. Шапиро. Очерки по синтаксису русских народных говоров, М., 1953; В. И. Собинников,

позволили авторам «Русской диалектологии» представить синтаксический раздел не меньший по объему, чем другие разделы [11].

В таджикском языкознании до настоящего времени мы имеем лишь краткие сведения по синтаксису отдельных говоров. Ни в одной из диалектологических работ нет полной характеристики всех разделов синтаксиса. Не случайно автор первого обобщающего исследования по говорам таджикского языка В. С. Расторгуева отмечает: «... по синтаксису таджикских диалектов в нашем распоряжении имеются лишь весьма разрозненные обрывочные сведения, так как исследователи при сборе материалов на местах уделяли ему значительно меньше внимания, чем фонетике и морфологии» [12].

Естественно возникает вопрос, по какой причине изучению синтаксиса уделялось меньше внимания, чем другим разделам языка? Основная причина заключается в том, что наиболее яркие диалектные отличия прежде всего выявляются в фонетике и морфологии, в синтаксисе же они не столь наглядны. Это связано «с тем, что в этой сфере наиболее четко сказывается единство национального языка, органическая взаимосвязанность всех его разновидностей — территориальных диалектов, литературного языка и его стилей, социальных, профессиональных и иных языковых образований» [13]. Вот почему диалектные черты синтаксиса нелегко установить на небольшом материале. Более глубокое исследование синтаксиса диалектной речи требует длительного пребывания в среде носителей говора, обильного фактического материала и всестороннего его анализа. Известные диалектологи-русисты Р. И. Аванесов и В. Г. Орлова отмечают, что «собственно синтаксические явления (т. е. явления „свободного“ синтаксиса), не прикрепленные ни в какой степени к определенному лексическому материалу, представляющие собой отношения, а не сочетания конкретных слов, трудно уловимы без детального, построенного на очень большом фактическом материале монографического описания» [14].

В самом деле, в системе синтаксиса дифференциальные явления относительно немногочисленны и иногда трудно уловимы, вследствие чего выявление и определение их не на большом материале, вне непосредственных наблюдений над естественной непринужденной связной речью невозможны. В этом отношении особенно большое значение приобретает количественный анализ, успешное осуществление которого возможно только на основе обильного количества фактов, их сравнения и сопоставления.

В основном соглашаясь с мнением исследователей относительно немногочисленности синтаксических признаков, по которым различаются диалекты, вместе с тем полагаем необходимым подчеркнуть, что степень проявления их в говорах каждого данного языка тесно связана с историей народа, с уровнем его социального и культурного развития. Говоря о таджикском языке, следует указать, что синтаксические расхождения

в а, Простое предложение в русских народных говорах (по материалам говоров Воронежской области), Воронеж, 1961, И Б. К у з ь м и н а Ғ. В Н е м ч е н к о, О типах синтаксических различий русских говоров, ИАН ОЛЯ, 1961, 4; О Н. Ш у л е н а, Синтаксис русского говора Зарасайского района Литовской ССР (простое предложение). АКД, Вильнюс, 1965. В. И. С о б и н н и к о в а, Проблемы диалектного и исторического синтаксиса (на материале воронежских говоров и памятников письменности). Доклад по выполненным и опубликованным работам, представленным к защите на соискание ученой степени доктора филологических наук, М., 1969: И. Б. К у з ь м и н а, Е. В. Н е м ч е н к о, Синтаксис причастных форм в русских говорах, М., 1971; и т. д.

[11] См.: «Русская диалектология», стр. 207—261.

[12] В. С. Р а с т о р г у е в а, указ. соч., стр. 143.

[13] Й. Ш т о л ь ц, указ. соч., стр. 18.

[14] Р. И. А в а н е с о в, В. Г. О р л о в а, К очередным задачам русской диалектологии. «Материалы и исследования по русской диалектологии», Новая серия, I, М., 1959, стр. 4.

имеют место во всех категориях синтаксиса, хотя, конечно, в разной степени, и они интересны как различия не только количественного порядка, но и качественного. Особенно ярко проявляются различия как количественные, так и качественные между полярными группами таджикских говоров — северной и южной (а также юго-восточной), характеризующимися многими диалектными расхождениями [15].

Среди специалистов распространено и такое мнение, что синтаксические явления в диалектах различаются в первую очередь в количественном плане. Чешский ученый Й. Штольц в отношении словацких диалектов пишет следующее: «Синтаксическая дифференциация между диалектами и литературным языком больше всего проявляется в плане частотно-количественном. Отчетливых качественных различий наблюдается меньше, и они создаются в связи с отсутствием в диалекте явления, свойственного литературному языку. Наличие этих явлений в литературном языке нередко (или, пожалуй, как правило) обусловлено связями с языковой средой, находящейся за пределами родного национального языка» [16]. Это положение может быть в какой-то мере применимо и к исследованиям по таджикскому языку.

Различия в синтаксических конструкциях как между диалектными группами, так и между этими группами и литературным таджикским языком выявляются прежде всего в частотно-количественном отношении. Наряду с этим в таджикском языке имеется довольно большое количество явлений, различающихся своими особенностями с качественной стороны. Они охватывают как новые явления, так и архаичные. Каждое из явлений проявляется по-разному в северной и южной группах говоров, что определяется экстралингвистическими факторами. Большинство северных таджикских говоров, которые распространены на равнинах, в древних административно-политических и культурных центрах, и бытуют в тесном соприкосновении с узбекским языком, характеризуются большим количеством новообразований. Напротив, бездорожье, удаленность от административных и культурных центров — все это способствовало сохранению консервативного облика южных говоров. Именно поэтому в южном наречии в отличие от северного сохранились синтаксические конструкции, характерные для раннего этапа развития таджикского языка, новообразования же в южных говорах представляют редкое явление [17].

Иными словами, северное наречие сближается с современным литературным языком, а южное с языком классического периода. При определении системы дифференциальных признаков в области синтаксиса диалектов таджикского языка необходимо учитывать не только указанный фактор, но и этапы развития литературного языка — как дооктябрьского периода, так и современный. Некоторые явления диалектного синтаксиса восходят к самому раннему периоду развития таджикского языка. В подтверждение сказанного достаточно привести следующие два примера.

1. В северных говорах чрезвычайно распространено оформление уступительной синтаксической конструкции сочетанием *нигоҳ накарда...* «несмотря на...»: *Одил амак пиршон-ба ниго накада кор кагшон каги* «дядя Одил, несмотря на свою старость, работает и работает» (говор Самаркан-

[15] Именно поэтому свои наблюдения мы излагаем на основе материалов сравнительного изучения синтаксиса этих двух групп таджикских говоров.

[16] Й. Штольц, указ. соч., стр. 18.

[17] В связи с этим уместно напомнить, что в период демократизации таджикского литературного языка, некоторые таджикские писатели и литераторы считали что в новый период развития таджикского языка за основу его синтаксиса следует принять южные говоры, синтаксический строй которых не подвергался влиянию других языков (см.: А. Дехоти, Куллиёт, 6, Душанбе, 1966, стр. 312—315; Б. Азизи, Ба забони точики дурри сухан суфтан мехоҳам, газ. «Овози точик», 10 I 1929: и др.).

да). Подобное синтаксическое явление не было свойственно классическому языку, однако в современном литературном языке оно используется [18]. Южным говорам подобные обороты чужды.

2. В южных говорах к числу довольно распространенных синтаксических явлений можно отнести употребление прямого определенного объекта без показателя *-ро* (диалект *-ра//-а*); *хонаи Суфй накофтй*? «дом Суфи не обыскала?» (севернокулябские говоры); *амин қишлоқ ам Жунд мегуйанд, ам Гармчашма* «этот кишлак называют и Жунд, и Гармчашма» (говоры Бадахшана).

Это явление для большинства северных говоров (кроме подгруппы аштских говоров — Хиштхона, Шайдон, Ашт) не характерно. В современном литературном таджикском языке оно также не наблюдается. Однако в произведениях классической литературы, особенно в тех, которые относятся к более раннему периоду, это явление наблюдается часто. Известный французский иранист Ж. Лазар, отмечавший в памятниках классической прозы многочисленные примеры указанного явления, пишет: «В современном литературном языке дополнения, указывающие на определенный предмет, обязательно оформляются послелогом *-ра*, однако в текстах, изучаемых нами (особенно в более ранних), встречаются предложения, в которых дополнение употребляется без послелога *-ра*» [19].

Дифференциальные синтаксические явления качественной окраски обычно имеют четкие ареалы и именно поэтому вполне могут быть закартографированы. На этом основании можно прийти к выводу, что в основу проведения исследования лингвогеографическим методом могут быть частично положены и синтаксические дифференциальные признаки. В обоснование данного положения из числа многочисленных примеров можно привести следующие два факта:

1. В ряде говоров таджикского языка однородные глагольные сказуемые в предложении бывают выражены следующим образом: первое сказуемое чаще всего выражено личной спрягаемой формой глагола простого прошедшего времени или реже настояще-будущего, второе сказуемое неличной формой — архаическим причастием [20], предикативные свойства которого в отношении лица, числа и времени выражены первым сказуемым и которое в подобном употреблении при самостоятельном лексическом значении используется в синтаксически самостоятельной функции второго компонента сказуемого: *ман а калхос йа пуд ҷаврй мегирам-у бе шумо дод* «я получу в колхозе один пуд кукурузы и дам вам» (говоры Матчи); *нун-ат Назрй мегира гирехт* «твой хлеб заберет Назри (и) убежит» (говор Дарваза).

Изоглосса этого синтаксического явления охватывает ареал бассейна верхнего течения р. Зеравшан, включая Пенджикент (Зебон, Филмандара, Косатарош, долина р. Фандарьи, Матча), Дарваз, Ванч, Бадахшан, случаи единичного употребления отмечаются также в Каратегине и северном Кулябе [21].

[18] См.: М. Ф. Исматуллаев, Обстоятельство и его виды в современном таджикском литературном языке. АДД, Душанбе, 1971, стр. 47—48.

[19] G. Lazard, La langue des plus anciens monuments de prose persane, 1, Paris, 1963, стр. 387.

[20] М. Н. Боголюбов, Предложения с архаичным причастием в говорах таджикского языка, «Уч. зап. ЛГУ», 306. Серия востоковедческих наук, 16, Филология стран востока, 1962, стр. 5; В. С. Расторгуева, указ. соч., стр. 144.

[21] См.: С. Ю. Иванова, Материалы по пенджикентскому говору, «Труды Ин-та языкознания АН СССР», IV, М., 1956, стр. 292, А. Л. Хромов, Говоры таджиков Матчинского района, «Труды АН ТаджССР», CVII, Душанбе, 1962, стр. 109, А. З Розенфельд, Ванджские говоры таджикского языка, «Труды Ин-та языкознания АН СССР», VI, 1956, стр. 215, е е ж е, Бадахшанские говоры таджикского языка, Л., 1971, стр. 22.

2. Именные словосочетания, выражающие отношение родства, компонентами которых являются имена собственные типа *Одинаи Шариф* «Одина сын Шарифа». Ареал этой синтаксической конструкции по нашим материалам таков: центральные, южные и юго-восточные говоры, в северных говорах она неупотребительна.

Дифференциальные качественные признаки различаются не только между наречиями (группами говоров), но и между говорами одного диалекта. Например, посессивная конструкция *мо-ра ватан* «наша родина» в южном наречии засвидетельствована лишь в единичных случаях в вахиинско-каратегинских говорах каратегинского диалекта. Эта конструкция распространена в юго-восточном наречии таджикского языка.

Подобно этому употребление в функции сказуемого, выражающего намерение, желание причастия будущего времени (*омадани́*, *рафтани́*) в основном засвидетельствовано в северном наречии в сурхандарьинских, кашкадарьинских и самаркандско-бухарских говорах, в ленинабадских же и ферганских говорах (за исключением говора Чуста) указанная форма причастия в этой функции не имеет распространения.

При сравнительном изучении синтаксиса таджикских говоров наиболее ярко выявляются отличительные признаки количественного плана. Роль количественных различий, однако, не ограничивается определением большего или меньшего количества дифференциальных диалектных явлений, по существу количественные различия в той или иной степени переплетаются с качественными. Эта особенность обусловлена тем, что между качественными и количественными явлениями существует внутреннее взаимодействие и диалектическая связь. Поэтому широкое распространение в диалектах одного синтаксического явления влечет за собой возникновение других явлений, связанных с ним. Количественные отличия характеристики, в отличие от качественных, нельзя исследовать методами лингвистической географии, они требуют сопоставительного изучения и описания фактов. Это обстоятельство, как совершенно справедливо отмечает Й. Штольц, выделяет синтаксический уровень среди других уровней диалектной речи и определяет особый метод его изучения [22].

Выявление расхождений в диалектном синтаксисе как между диалектами и говорами, так и сравнительно с литературным языком, путем исследования количественных расхождений в комплексе с качественными отчетливо и ярко воспроизводит общую картину различительных признаков системы синтаксиса говоров. Следовательно, систематическое комплексное применение обоих этих методов в области синтаксиса очень важно и несомненно эффективно. В сущности количественное исследование служит для более четкого выявления качественных явлений, что отмечается в статье В. М. Андрющенко следующим образом: «... методы количественного анализа дополнительны по отношению к методам качественного анализа и составляют неотъемлемую часть современной лингвистической методологии» [23].

Количественные различия в своем проявлении весьма разнообразны. Существуют конструкции, которые были весьма распространены в языке в дооктябрьский период, в современном же литературном языке степень их употребительности очень ограничена. Что касается диалектной речи, то в одних диалектах они широко употребительны, в других же либо вовсе не существуют, либо встречаются очень редко. Некоторые синтаксические конструкции вовсе отсутствовали в языке классического периода,

[22] Й. Штольц, указ. соч., стр. 18.

[23] В. М Андрющенко, Сущность количественного анализа при изучении лингвистического материала Основные понятия статистики, «Ин. яз. в шк.», 1966, 1 стр. 103, см. также: Б. Н. Головин, Язык и статистика, М., 1971, стр. 11.

однако в современном литературном языке они являются либо общепринятой нормой, либо употребляются в определенных стилистических условиях. Использование этих конструкций в диалектах различно: в одних — они широко распространены, в других употребляются в единичных случаях или вовсе не употребляются. Из множества примеров, имеющихся в нашем распоряжении, иллюстрирующих сказанное выше, приведем один из них — посессивную конструкцию *Аҳмад-а китоб-аш* «книга Ахмада».

Данное сочетание используется как в северной, так и в южной группах говоров. Однако в северных говорах оно распространено очень широко, а в южных более ограниченно. Широкая употребительность этого типа словосочетаний в северных говорах способствовала возникновению и развитию ряда особых черт, появлению качественно новых особенностей структуры указанных сочетаний. В качестве основных отличий в этом отношении северных говоров от южных можно выделить следующее.

В северных говорах перед словосочетаниями рассматриваемого типа иногда используется местоимение *ини* и его параллельная форма *айни*, восходящие к соответствующим аналогам, употреблявшимся в среднем периоде таджикско-персидского языка и в языке классической литературы [24]: например, *ини Ашт-а забон-аш* «язык Ашта»; *айни Фориш-а гап-аш* «фаришская речь». В этом случае мы наблюдаем контаминацию двух посессивных конструкций, из которых одна оформляется анафорическим местоимением *ини*, вторая же посредством послелога *-а* и энклитического местоимения [25]. Обороты с *ини* в южном и юго-восточном говорах не употребительны.

В северных говорах круг частей речи и категорий слов, которыми бывают выражены компоненты рассматриваемых вариантов данного типа словосочетания, шире, чем в южных говорах. В южных говорах компоненты таких сочетаний могут быть выражены существительными, местоимениями, числительными, реже наречиями и инфинитивом, в северных также прилагательными и причастиями [26]. При этом в последних случаях расширяется и круг значений отношений, выражаемых словосочетаниями: помимо определительных отношений (основным из которых является отношение принадлежности), они могут выражать выделительно-партитивные отношения и некоторые другие смысловые оттенки грамматических значений: *ҷо-йа кенг-аш наʔз* «места просторные хороши» (говор Дарбанда); *одам-а хондагеш ин кор-а намекунад* «человек образованный этого не сделает» (говор Канибадама).

В южных говорах используются распространенные словосочетания рассматриваемого типа, однако в этих говорах они, как правило, состоят из трех слов: *хуҳари ма-ра шу-ш* «муж моей сестры». Для северных же говоров характерны словосочетания, состоящие из четырех, пяти и более **слов** [27]. Например: *ҳамин кӯрпа-йа соҳиб аш-а хоҳар-аш* «сестра владельца этого одеяла» (говор Канибадама); *вай хеши дур не, аке-м-а духтар-ашон-а шӯ-ш-а амакаш-а писар-аш мишуд* «он не дальний родственник, это сын дяди (со стороны отца) мужа моей племянницы (букв. „дочери моего старшего брата")» (говор Самарканда); *ва-йа холе-ш-а келин-аш-а аке-ш-а ҷӯре-ш* «друг брата невестки его тети (со стороны матери)» (говор Бухары).

В северных говорах эти словосочетания в предложениях могут быть ис-

[24] См.: Е. К. Молчанова, Таджикские диалектные обороты типа *ини мач*. сб. «Масъалаҳои забоншиносӣ», Душанбе, 1975, стр. 176.

[25] Там же, стр. 169.

[26] Этот факт в свое время был отмечен Д. Т. Таджиевым; см. его статью «Об определительных словосочетаниях типа *Аҳмада китобаш, гапа намаш*» («Уч. зап. ТГУ», 2, Серия гуманитарных наук, Сталинабад, 1956, стр. 197).

[27] А. А. Каримова, Об одной определительной конструкции в таджикском языке, сб. «Индийская и иранская филология», М., 1964, стр. 281.

пользованы парно, как в группе подлежащего, так и в группе сказуемого: *Соле-ака-йа духтар-ашон ин кас-а келин-ашон* «дочь Соле-ака (букв. „Соле-ака, дочь их") — их невестка (букв. „этого человека, невестка их")» (говор Самарканда).

Предпосылки к развитию синтаксических дифференциальных диалектных явлений в таджикском языке различны. Часть из них возникает не на почве национального языка, а под влиянием другого языка, например — узбекского. Так, выражение отрицательной формы сказуемого причастием прошедшего времени (на *-гӣ*), оформленного энклитическим местоимением, в сочетании с отрицательной частицей — *рафтаге-ш не* «он не ходил», — явление очень широко распространенное в северных таджикских говорах, особенно в ленинабадских и ферганских, калька с узбекского языка [28].

Другие черты, будучи исконными, имели ограниченное употребление в родном языке, но под влиянием узбекского языка, в условиях конвергенции активизировались и стали широко употребительными. К ним относятся, например, осложненные формы простых глагольных сказуемых с модифицирующими глаголами типа *хандида фиристод* «засмеялся», *канда партофт* «оборвал», *нависта гирифт* «записал», которые, как отмечает В. А. Лившиц, «отнюдь не могут считаться скалькированными с узбекской модели. Их широкому распространению в северо-западных таджикских говорах могло лишь способствовать наличие аналогичных по структуре форм в узбекском языке» [29].

Третьи же — те конструкции, появление которых связано с субстратом. Иногда здесь имеет место воздействие адстрата совместно с факторами субстрата. Для примера назовем конструкции со значением принадлежности с глаголами обладания синонимического характера: *ҳаст* и *доштан*, из которых первые (т. е. с недостаточным глаголом *ҳаст*) свойственны большинству северных говоров, вторые (с глаголом *доштан*) характерны преимущественно для южных говоров.

Употребительность глагольного сказуемого *ҳаст* именно в северных говорах можно объяснить поддержкой согдийского субстрата, с одной стороны, а с другой — это поддержано адстратом, т. е. явлением узбекского языка [30]. Именно по этой причине в северных говорах логический субъект указанной конструкции оформлен не одним грамматическим средством, как это мы наблюдаем в литературном языке, а двумя — послелогом и энклитическим местоимением: *ман а китоб-ам ҳаст* «у меня есть книга».

Даже столь беглый обзор свидетельствует о том, что в синтаксисе таджикских говоров существует немало дифференциальных явлений. Они наблюдаются как в частотно-количественном плане, так и в качественном, источники их возникновения и развития различны. С этой точки зрения системное изучение каждой из групп говоров, а также сравнительное изучение нескольких групп говоров, особенно полярных, не сходных друг с другом, полезно и необходимо. Причем особый интерес представляет сравнительная характеристика двух основных разделов синтаксиса — структуры словосочетания и строя предложения. Мы убеждены, что отличительные факты синтаксиса имеются и в диалектах других языков (в одних меньше, в других больше) и выявление, а также изучение их представит большой интерес не только для диалектологов, но и для специалистов общего языкознания.

---

[28] В. С. Расторгуева, Очерки по таджикской диалектологии. 2, М., 1952, стр. 156.

[29] В. А. Лившиц, О внутренних законах развития таджикского языка, «Изв. АН ТаджССР», Отд. обществ. наук, V, Сталинабад, 1954, стр. 35.

[30] Д. И. Эдельман, О некоторых синтаксических конструкциях в таджикских говорах Бадахшана, сб. «Масъалаҳои забоншиносӣ», Душанбе, 1975, стр. 78.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

КЯМИЛЕВ С. Х.

О СОВПАДЕНИИ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ И ГЛАГОЛЬНЫХ НАКЛОНЕНИЙ В АРАБСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Форманты склонения имен и спряжения глаголов в арабском литературном языке заметно беднее, чем в таких языках, как, например, индоевропейские. У арабского имени [1] обнаруживается не более трех падежей: прямой на *-u* и два косвенных — на *-a* и на *-i*[2] (в терминах индоевропейской грамматической традиции их обычно называют соответственно — именительным, винительным и родительным). Что касается арабского глагола, то он имеет только две серии простых (неаналитических) спрягаемых форм — суффиксальную и префиксально-суффиксальную [3]. Первые всегда независимы от служебных модальных слов ʿawāmil, т. е. не управляются ими и не приобретают специальных морфологических помет наклонения. Вторые могут выступать как независимо от ʿawāmil (формы на *-u*), так и управляться ими, получая пометы соответствующих косвенных наклонений — на *-a* и на *Ø* (нуль гласного) [4].

Арабский язык отличается не только относительной бедностью формальных средств выражения падежного склонения имен и спряжения глаголов, но и тем, что обнаруживаются вполне регулярные совпадения этих средств: окончание *-u* имеют как имена прямого падежа, так и глаголы прямого наклонения, а окончание *-a* — как имена косвенного падежа, так и глаголы косвенных наклонений. Столь оригинальное явление было обнаружено еще основателями арабской грамматической традиции (конец VIII — начало IX в.), которые обозначили одним и тем же термином ʾiʿrāb

[1] Здесь и в дальнейшем изложении выражения «арабский» и «арабский язык» будут связаны с арабским литературным языком.

[2] Падежные окончания даются для имен определенного и сопряженного состояний, поскольку, как отмечал В. П. Старинин, картина именного склонения в таком случае видна более четко (см. его книгу «Структура семитского слова», М., 1965, стр. 16). Следует также добавить, что парадигма склонения арабских имен не ограничивается перечисленными окончаниями и включает в себя еще ряд других. И тем не менее исходными пометами (ʿalāmāt ʾaṣliyya) трех различных падежей считаются (как в арабской грамматической традиции, так и в европейской и отечественной семитологии) окончания *-u*, *-a*, *-i*, поскольку природа всех прочих помет именного арабского склонения вторична по отношению к ним. [Здесь и далее арабские грамматические термины даются в латинской транскрипции по системе, предложенной в сб. «Семитские языки», III, М., 1976, стр. 260—273, причем они могут приводиться в несколько упрощенном виде, в частности — без определенного артикля *ʾal* и в так называемой паузальной форме. Для арабистов не составит труда восстановить полную форму термина (ʿalāmāt ʾaṣliyya < ʾal-ʿalāmātu l-ʾaṣliyyatu), а для других читателей (неарабистов) облегчается его восприятие и запоминание в арабском оригинале.]

[3] В. П. Старинин предпочитал название «префиксально-конфиксальное спряжение», подчеркивая тем самым, что префикс и суффикс арабского глагола не просто сумма двух служебных морфем, но единый аффикс, разделенный на две части основой (см.: указ. соч., стр. 9, 12).

[4] Окончания префиксально-суффиксального спряжения не ограничиваются перечисленными формами, но, подобно окончаниям *-u*, *-a*, *-i* именного склонения, они считаются исходными характеристическими пометами арабских глагольных наклонений.

«[правильное, ясное] выражение [окончания слова]» как склонение имени ('ism) по падежам, так и спряжение глагола (fiʿl) по наклонениям, соответственно — 'iʿrābu-'ism и 'iʿrābu l-fiʿl. Изменяемые по наклонениям глаголы (т. е. глаголы префиксально-суффиксального спряжения) стали называть 'afʿāl muḍāriʿa «глаголы подобные [имени]»[5], а систему их окончаний объединили с падежным склонением имен: глагол в прямом наклонении на *-u* и имя в прямом падеже на *-u* получили названия fiʿl marfūʿ «глагол [поставленный] в rafʿ (т. е. в высший, независимый ранг)» и 'ism marfūʿ «имя [поставленное] в rafʿ», а глагол в косвенном наклонении на *-a* и имя в косвенном падеже на *-a* соответственно — fiʿl manṣūb «глагол [поставленный] в naṣb (т. е. в соотнесенный [с ʿawāmil] и зависимый [от них] ранг)» и 'ism manṣūb «имя [поставленное] в naṣb (т. е. в соотнесенный [с глаголом] и зависимый [от него] ранг)».

В европейских школах арабистики, в том числе и в отечественной, нет единообразия в квалификации именных падежей и глагольных наклонений арабского языка, поскольку их семантическая емкость, а также отличие от именных и глагольных систем индоевропейских языков столь велики, что, во-первых, трудно выделить наиболее обобщающие семантические черты, характеризующие тот или иной падеж или наклонение в арабском языке, и, во-вторых, еще труднее дать им адекватные названия в терминах индоевропеистики. Очевидно, только для прямого падежа и прямого наклонения можно считать более или менее удовлетворительными термины «именительный падеж» и «изъявительное наклонение».

И весьма знаменательно, что в арабской грамматической традиции не стали искать для каждой из относительно немногочисленых форм именного склонения и глагольных наклонений каких-то обобщающих семантических терминов (слишком обширны и разнообразны значения, передаваемые как теми, так и другими формами), а назвали их, как было показано выше, по морфолого-синтаксическим признакам. Б. М. Гранде, справедливо оценивший такой подход как в целом более последовательный по сравнению с европейскими школами семитологии, допускал, однако, неточность, когда интерпретировал его как подход, не имеющий отношения к семантике. Например, рассматривая вопрос о систематизации наклонений арабского глагола, он писал: «Нам представляется более последовательным взгляд арабских грамматистов на формы наклонений. Их классификация основывается н е н а с е м а н т и к е (разрядка наша. — *С. К.*), а на морфологии, и подкрепляется синтаксической ролью этих образований» [6]. Дав подобную оценку, Б. М. Гранде вольно или невольно сочувственно отнесся к категорическому противопоставлению двух взаимодействующих начал — семантическому и грамматическому, причем приписал его именно тем, кто не только не отрывал их друг от друга, но, как правило, обязательно стремился обнаружить их взаимную связь, нередко рассматривая семантику даже доминирующим началом. Верно, что арабские грамматисты объединили именное склонение и глагольные наклонения по формальным признакам, но неверно полагать, что они исходили только из них, совершенно абстрагируясь от семантики. Ведь сами по себе морфолого-синтаксические признаки рассматривались ими как внешние проявления более глубоких, семантических, начал. Например, представители Басрской грамматической школы, пытаясь решить загадку отмеченных выше совпадений внешней флексии у имен и «глаголов подобных [им]», считали, что эти совпадения являются следствием сходства «гла-

[5] Ед. число — fiʿl muḍāriʿ «глагол подобный [имени]», или — просто эллипсис muḍāriʿ «подобный».

[6] Б. М. Г р а н д е, Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении, М., 1963, стр. 159.

голов подобных» с 'ism fāɛil «именем действующего», или «именем действователя» [7]. Представители другой школы — Куфийской [8], хотя и расходились с басрцами по поводу причин внешней флексии глаголов, утверждая, что она в равной степени свойственна как именам, так и глаголам, не спорили с ними по поводу сходства «имени действователя» с глаголом [9].

Но в любом случае возникают два взаимосвязанных вопроса: 1) почему формальное сходство глагольной внешней флексии с именной наблюдается только в одной их двух серий спряжения арабского глагола (префиксально-суффиксальной) и 2) говорит ли оно о каких-то специфических закономерных особенностях арабского языка или это просто «игра случая», как, например, в русском — *путешеству | ем мор | ем*?

Представители арабской грамматической традиции подобных вопросов специально не решали — и не только потому, что сравнительно-исторические и типологические исследования были по существу вне их интересов, но и в силу того, что в основу своей классификации знаменательных слов они клали прежде всего как раз семантические, а не морфологические критерии. В частности, главным признаком, отличающим глагол от имени, считалась способность глагола выражать «связь события со временем» в противоположность имени, которому приписывалась способность выражать самостоятельные понятия, но без указания на их отношение ко времени. А такой, например, морфологический признак, как абсолютная невозможность полного совпадения в арабском языке именных форм с глагольными [даже окказионального по типу русского *капля стекла* (существительное *стекло*) и *капля стекла* (глагол *стекать*) [10]], оставался при этом фактически где-то на заднем плане, если не вовсе без внимания. Случайно ли это и в какой мере правомерно?

Известно, что основатели арабской грамматической традиции, разрабатывавшие правила арабского языка, находились под заметным влиянием древнегреческой философской мысли. В семитологии даже бытует, в частности, мнение о том, что чуть ли не все основные категории арабской грамматики выведены из категорий аристотелевской логики [11]. И в самом деле, внешние совпадения порой могут показаться просто разительными. Например, в арабской традиционной грамматике все единицы языка делятся на три категории — имя, глагол, частица, причем, как было отмечено выше, противопоставление их друг другу базируется в первую очередь на семантике, а не на собственно грамматических признаках. И все же в конечном счете дело, очевидно, не в том, на чем базировался классификационный метод в арабской грамматической традиции, а в какой мере он соответствовал реалиям арабского языка. В целом этот метод оказался верным, и никто из серьезных семитологов и арабистов никогда не отвергал его полностью и тем более не игнорировал, хотя в нем были обнаружены и существенные противоречия. Так, по мнению Р. Блашера и М. Годфруа - Демомбина, поскольку среди прочих фундаментальных понятий греческой логики, перенесенных на арабскую грамматику, оказалось «вре-

[7] Получила свое название от города Басра (Ирак). Несмотря на то, что относится к одной из первых арабских грамматических школ, всегда оставалась наиболее авторитетной в арабском мире.

[8] Получила свое название от города Куфа (Ирак).

[9] И в арабской грамматической традиции стало нормой рассматривать имена действователя совместно с глаголами не просто как формы, регулярно образуемые от глагольных основ, но и как имеющие с глаголом общие точки соприкосновения по значению и управлению.

[10] Разумеется, исключение могут составлять имена собственные, топонимы и им подобные.

[11] H. Fleisch, Traité de philologie arabe, I, Beyrouth, 1961, стр. 23—24.

мя», постольку исходные ее концепции «были обращены к идее времени»[12], хотя арабский глагол сам по себе (т. е. его простые, неаналитические, формы) не имеет никаких морфологических помет, которые указывали бы на прямое, или абсолютное, время.

Исходные различия между суффиксальными и префиксально-суффиксальными формами арабского глагола носят не временной, а видовой характер: первые передают завершенное действие или состояние как его результат, а вторые — незавершенное [13].

И если серию суффиксальных форм глагола, передающих завершенное действие, арабские грамматисты еще могли подвести под рубрику mādī «прошедшее [время]», то, как образно подчеркивают Р. Блашер и М. Годфруа-Демомбин, они оказывались в «крайнем замешательстве» перед тем, чтобы назвать термином, связанным с идеей времени, и серию префиксально-суффиксальных форм, «истинную природу которых они хорошо ощущали» [14]. И эти формы, как было отмечено выше, получили оригинальное название 'afʕāl mudaria, по своему значению совершенно не связанное с понятием времени.

Таким образом, основатели арабской грамматической традиции вступили в серьезное противоречие со своей исходной концепцией времени как главного параметра, отличающего глагол от имени. И хотя этого противоречия они разрешить не смогли, само по себе оно делает им честь как ученым и подтверждает слова Б. М. Гранде о том, что создатели арабской традиционной грамматики «были прекрасными знатоками своего языка и литературы, трудолюбивыми собирателями языкового материала и добросовестными исследователями» [15]. Ведь, несмотря на то, что они не в силах были отказаться от ряда исходных посылок своей грамматической теории, которые порой мало согласовывались с реальными фактами арабского языка, они тем не менее при его описании готовы были жертвовать этими посылками, если языковые факты не соответствовали им.

---

[12] R. Blachère, M. Gaudefroy-Demombines, Grammaire de l'arabe classique, 3-ed éd., Paris, 1952, стр. 36.

[13] Подобный взгляд на сущность суффиксального и префиксально-суффиксального спряжения арабского глагола преобладает среди семитологов. Еще М. Коэн (M. Cohen) в работе «Le système verbal sémitique et l'expression du temps» (Paris, 1924) и солидаризовавшиеся с ним Р. Блашер и М. Годфруа-Демомбин («Grammaire de l'arabe classique») показали, что разнообразные термины которыми называют в европейских школах семитологии две серии спрягаемых форм арабского глагола (претерит — аорист, прошедшее — настояще-будущее, совершенное — несовершенное время, перфект — имперфект и др.), служат по существу для передачи не времен, но видов (aspects) глагола: суффиксальные формы выражают действие завершенное, а префиксально-суффиксальные — действие, которое находится в процессе совершения.

Сходной точки зрения придерживались у нас Н. В. Юшманов. И. Ю. Крачковский (Н. В. Юшманов, Грамматика литературного арабского языка, под ред. и с предисловием И. Ю. Крачковского, Л., 1928), Б. М. Гранде, но последний с тенденцией описывать арабский глагол по более сложным параметрам, по взаимопроникающим видо-временным и даже модальным характеристикам: «„естественно" ли находить в языке формы, которые означали бы только время, только вид или только наклонение?» (указ. соч., стр. 152).

Интересно, что исследователи, которые квалифицируют рассматриваемые формы арабского глагола уже как собственно времена, согласны с тем, что их временно́е значение выросло на основе их видового значения (А. А. Ковалев, К вопросу о временных формах арабского глагола, сб. «Труды ВИИЯ», I, М., 1952, стр. 82—83). И не случайно, что общие характеристики и определения, даваемые этим временам, ставят их по существу в ряд относительных (а не абсолютных) времен. На этот важный момент совершенно справедливо обратил внимание Н. А. Сыромятников, тщательно исследовавший относительные значения грамматических времен в разных языках (см. его книгу «Система времен в новояпонском языке», М., 1971, стр. 29).

[14] R. Blachère, M. Gaudefroy-Demombines, указ. соч., стр. 36.

[15] Б. М. Гранде, указ. соч., стр. 5.

Возможность системного выяснения природы суффиксального и префиксально-суффиксального спряжения арабского глагола появилась лишь в новое время, когда сравнительно-исторический метод распространился и на изучение арабского языка и других генетически родственных ему языков, когда в языкознании в полной мере получила развитие его специальная область — семитология.

Был выяснен, в частности, генезис суффиксальных и префиксально-суффиксальных форм арабского глагола. Оказалось, что вторые старше первых: их возникновение относят с достаточным основанием к тем древнейшим периодам в развитии семитских языков, когда в них только начиналась дифференциация собственно именных и собственно глагольных значений слов [16]. И еще до становления суффиксальных форм создалась система наклонений префиксально-суффиксальных форм, причем они, представляя одну единственную глагольную парадигму, могли передавать как действие завершенное, так и незавершенное.

Прототипом развивавшихся позднее суффиксальных форм во всех семитских языках послужили, как известно, спрягаемые именные формы, выступавшие в роли предиката. В западносемитских языках, к которым относится и арабский, они образовывались в частности, путем прибавления к глагольному имени со значением качества или состояния личных местоимений, показателей субъекта: *xazin* «печальный» + *'anta* «ты» > *xazin|ta* «печален [есть (или был)] ты». С течением времени форма именного предиката «глагольное имя + местоимение», обозначавшая первоначально качество или состояние (наступившее), стала функционировать как глагольная форма, передающая завершенное действие [17], причем в плане исключительно одного изъявительного наклонения, или точнее — одного прямого наклонения, которому не противопоставлялись какие-либо другие морфологически обозначенные наклонения. И последняя особенность не только не случайна, но вполне закономерна. Ведь по своей природе суффиксальные глаголы восходят к именным предикатам состояния, которые, как справедливо отмечает И. М. Дьяконов, являли собой конструкции определительного или обстоятельственного характера [18]. Но подобного рода конструкции выражают суждения одного вполне определенного плана — плана констатации наличия или отсутствия какого-либо состояния без указания на отношение говорящего к содержанию высказываемого. Отсюда заранее, генетически, «настрой» суффиксальных форм глагола был вполне определенным — выражать одно, констатирующее (или изъявительное), наклонение, а развившаяся уже система наклонений префиксально-суффиксальных форм могла лишь укреплять такой настрой.

Ответив на вопрос о причинах отсутствия в глаголах суффиксального спряжения форм наклонений, попытаемся теперь выяснить, почему эти формы, присущие только префиксально-суффиксальному спряжению, оказываются сходными с формами падежного склонения имен.

На первый взгляд может показаться, что подобный вопрос по существу уже решен с тех пор, как в семитологии утвердилось представление о том, что в семитских языках суффиксы (окончания) глагольных накло-

[16] Там же, стр. 178—179.

[17] Механизм такой эволюции хорошо представлен Б. М. Гранде: «Из первоначального значения длительного существования (дуратив) выработалось значение состояния в настоящем как результат завершившегося в прошлом перехода, отсюда в конечном итоге получилось значение перфекта со всеми его оттенками. Например, *fahimltu* в первоначальном значении „я есть (или был) понимающий", далее: „я стал понимающим в результате того, что я понял" и, наконец, „я понял" и, следовательно, „я понимаю"» (Б. М. Гранде, Введение в сравнительное изучение семитских языков, М., 1972, стр. 245).

[18] И. М. Дьяконов, Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 246.

нений восходят к суффиксам (окончаниям) падежей. В. П. Старинин, например, в своей книге выделяет специальный параграф (14) под заголовком «Использование именных суффиксов в спряжении» [19]. Для других авторитетных семитологов вопрос этот столь же очевиден, и разговор может идти лишь о том, к суффиксам к а к и х падежей восходят те или иные наклонения. Так, Е. Курилович относит окончание *-u* к именительному падежу [20], а И. М. Дьяконов — к локативному. Оба ученых находят свои основания для подобных утверждений, которые, однако, не меняют главного — их общего мнения о том, что форманты глагольных наклонений восходят к именным показателям.

Но вот что любопытно. Представление об именном происхождении формантов глагольных наклонений стало буквально хрестоматийным, хотя строго доказано не было. До сих пор оно все еще формулируется в виде более или менее убедительных гипотез. Касаясь, например, происхождения глагольного форманта *-a*, И. М. Дьяконов пишет: «П о в с е й в е р о я т н о с т и (разрядка наша. — *С. К.*), этот формант *-a* восходит к именному объектному показателю *-a* (винительно-локативного падежа)» [21]. Но подобной гипотезе с такой же долей вероятности и убедительности можно было бы противопоставить и совершенно противоположную, если обратиться, например, к данным иврита. В этом языке имеется когортатив, или удлиненная (увещевательная) форма имперфекта, которая выражает намерение со стороны 1-го лица, а также побудительное пожелание по отношению к 3-му лицу. Когортатив образуется путем добавления окончания *-ā* к форме юссива: *'āktəb|ā* «напишу-ка я», *'āsūrā | na* «зайду-ка я». Поскольку при этом глаголы движения всегда так или иначе связаны с направлением или целью, то можно допустить, что формант *-ā*, употребляясь с ними „заряжался" потенциальной способностью выражать направление или цель. И вот в иврите, где падежное склонение имен не развилось, «при обозначении движения к определенному пункту название пункта, цели движения может быть обозначено посредством безударного окончания *-ā*, например: *'arṣā* „в страну" или „на землю", *ṣāfōnā* „на север", *Bābelā* „в Вавилон". Эту форму можно считать направительным падежом» [22]. В «Курсе арабской грамматики...» Б. М. Гранде высказывался еще определеннее, когда подчеркивал, что окончание *-ā* «придает имени значение не прямого объекта, а движения в определенном направлении» (стр. 322).

Если учесть, что *-ā* квалифицируется как безударный гласный, то строго говоря, он должен артикулироваться как гласный неопределенной долготы. Отсюда его вполне можно сопоставить с общесемитским формантом *-a* [23]. Но, таким образом, получается, что у этого форманта собственно глагольных признаков не меньше, чем признаков именных. Следовательно, ответ на вопрос о его происхождении — именном или глагольном — оказывается не столь уж очевидным.

Гипотезы об именном или глагольном происхождении окончаний *-u* и *-a* уязвимы не только потому, что могут быть противопоставлены друг другу, но и потому, что любая из них в случае ее принятия заставляет допустить возможность довольно неожиданного характера развития именных и глагольных форм в семитских языках. Так, если принять гипотезу

[19] В. П. С т а р и н и н, указ. соч., стр. 16.

[20] E K u r y ł o w i c z, L'apophonie en sémitique, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961.

[21] И. М. Д ь я к о н о в, указ. соч., стр. 254.

[22] Б. М. Г р а н д е, Введение..., стр. 340.

[23] Касаясь внешней флексии имен, Б. М Гранде отмечает, что образующие ее краткие гласные «в раннюю эпоху были „двоякими" (anceps), т. е. могли произноситься как долго, так и кратко, а первоначально они должны были быть только долгими» («Курс...», стр. 323).

именного происхождения формантов глагольных наклонений, невольно придется признать, что развитие имен значительно опережало развитие глаголов префиксально-суффиксального спряжения и даже чуть ли не было оторвано от него. Ведь, согласно гипотезе, формы наклонений создаются при помощи уже готовых именных показателей. Но это трудно допустить, если учитывать, что, с одной стороны, основа префиксально-суффиксальных форм во всех семитских языках совпадает с основой императива, т. е. основой, которая восходит к тому древнейшему периоду в их истории, когда в знаменательных словах глагольное и именное значения еще не обособились, а с другой — развитие глагольных наклонений в семитских языках отличается от падежного склонения в целом большей последовательностью своих типологических черт и более регулярным характером их проявления. Вот почему в итоге приходится прийти к выводу о серьезной уязвимости гипотетических допущений того, что форманты глагольных наклонений могут быть возведены к именным. Равным образом, и противоположные допущения (от глагола к имени) не выходят за рамки гипотетических и не могут считаться достоверными доказательствами. Но тогда возникает естественный вопрос: а могут ли вообще совпадающие у имен и глаголов окончания *-и* и *-а* называться именными или глагольными? Если к этому прибавить, что сами по себе они не содержат никаких указаний на род, число и лицо, то ответ как будто напрашивается сам собой: нет, не могут. Но как принципиально согласовать такой ответ с тем фактом, что форма на *-i* закреплена только за именами, а форма на *Ø* — только за глаголами?

Прежде всего заметим, что окончания *-i* и *Ø* так же, как *-и* и *-а*, безотносительны к роду, числу, лицу и употребляются только в качестве реляционных формантов; причем они не имеют никаких совпадающих друг с другом функциональных черт, т. е. обслуживаемые ими имена и глаголы никогда не употребляются в синтагматически равнозначных планах, или позициях [24]. Но в таком случае, если, в отличие от *-i* и *Ø*, у окончаний *-и* и *-а* и в именах и в глаголах обнаружатся соответственно идентичные функционально-семантические черты, то их формальное совпадение и несовпадение *-i* и *Ø* должны быть признаны не случайными. Если же этих черт не обнаружится, то необходимо будет признать наличие в арабском языке двух серий реляционных окончаний — именных *-и*, *-а*, *-i* и глагольных *-и*, *-а*, *Ø*, а их частичное совпадение считать чисто внешним (по типу упоминавшегося совпадения в русском — *путешеству* | *ем мор* | *ем*). Тем самым будет поставлена под сомнение правомерность объединения в арабской грамматической традиции падежного склонения имен с глагольными наклонениями. Равным образом, будет подтвержден или, напротив, потребует уточнений выдвигаемый Г. П. Мельниковым тезис о принципиальной специализации формальных показателей в арабском языке и их разделении на собственно деривационные и собственно реляционные [25]. Ведь в случае действительного наличия двух серий реляционных окончаний —

---

[24] Принципиальная возможность сравнения друг с другом позиций слов, принадлежащих разным классам, вытекает из функциональной природы синтагматических отношений. «Позиция элемента,— подчеркивает, например, В. М. Солнцев,— характеризуется функцией элемента в данном речевом образовании и определяется только относительно позиций (и функций) других элементов.

Таким образом, понятие позиции есть понятие не абсолютное, а реляционное» (В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, 2-е изд., доп., М., 1978, стр. 75).

[25] См., например: Г. П. Мельников, Взаимодействие структуры ярусов в языках семитского строя, сб. «Семитские языки», 2, 2-е изд., М., 1965, стр. 793—817; его же, Языковая стратификация и классификация языков, сб «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969, стр. 45—73.

одной для имен, а другой для глаголов — эти окончания неизбежно должны были бы обладать и деривационным качеством, и тогда неправомерно было бы говорить об однозначной специализации формальных показателей в арабском языке и тем более — принимать ее за одно из важнейших оснований для того, чтобы «не относить семитские языки ни к типу флективных, ни к типу агглюнативных, а рассматривать их как один из вполне самостоятельных „чистых" языковых типов» [26].

Задача выявления наличия (или отсутствия) совпадающих функционально-семантических черт у общих для имен и глаголов окончаний *-u* и *-a* для первого решается довольно просто. Этот формант оказывается универсальным основным конституирующим элементом главных компонентов самостоятельной предикативной синтагмы, т. е. главных компонентов группы подлежащего и группы сказуемого в предложении. Например: *hāḍa ͡r-rajul | u ɛālim | u | n* [27] «этот человек ученый», *hāḍa ͡l-ɛālim | u ya | ɛmal | u fī maɛhad | i | nā* «этот ученый работает в нашем институте».

Что касается окончания *-a*, то для него решение поставленной задачи представляется уже не столь очевидным и простым, как в отношении *-u*. Окончание *-a* характеризует имена косвенного падежа и глаголы косвенного наклонения. Другими словами — имена и глаголы на *-a* в любом синтагматическом комплексе, в который они могут входить, всегда находятся в той или иной зависимости от компонентов этого же комплекса или от компонентов других комплексов. Значит необходимо выяснить, имеются ли между косвенными именными и глагольными формами на *-a* сопоставимые черты зависимости, точнее — имеется ли такая зависимость, которая может в равной степени характеризовать как имена, так и глаголы на *-a*.

Анализ дает положительный ответ на этот вопрос. В арабском языке между косвенным падежом на *-a* и косвенным наклонением на *-a* при всех их различиях обнаруживаются и идентичные функционально-семантические черты: косвенный падеж на *-a* и косвенное наклонение на *-a* употребляются в арабском языке для передачи определенного рода совместности двух имен или двух глаголов, когда второе имя или второй глагол имеет оттенок сопровождения первого, т. е. оттенок подчиненной, а не равной совместности. Ср. *jā'a ͡r-rajul | u wa ͡l-mar'at | u* «пришли мужчина и женщина», но *jā'a ͡r-rajul | u wa ͡l-mar'at | a* «пришел мужчина с женщиной»; *hal ta'kul | u ͡s-samaka wa taṣrab | u ͡l-xalība*? «ешь ли ты рыбу и пьешь ли ты молоко?», но *hal ta'kul | u ͡s-samaka wa taṣrab | a ͡l-xalība*? «разве ты ешь рыбу и [одновременно] пьешь молоко?» [28].

Таким образом, арабский язык дает примеры закономерного совпадения окончаний у имен и глаголов при их употреблении в синтагматически равнозначных планах и их несовпадении, когда эти планы несопоставимы. Если теперь вновь подчеркнуть, что сами по себе окончания *-u*, *-a*, *-t*, *Ø* безотносительны к роду, числу и лицу, то можно с достаточным основанием квалифицировать их как универсальные реляционные форманты, не связанные с классной принадлежностью знаменательного слова, а лишь с его функционально-семантической ролью в том или ином синтагматическом комплексе. Но возможность использования одних и тех же формантов для разных классов знаменательных слов говорит скорее о деривационной, а не морфологической природе самой противопоставленности этих классов. Следовательно, основатели арабской грамматической традиции в принципе были на верном пути, когда, как было отмечено, пытались от-

[26] Г. П. Мельников, Детерминантная классификация языков и языки банту, сб. «Africana — африканский этнографический сборник IX», Л., 1972, стр. 138.

[27] *n* — показатель неопределенного состояния.

[28] Последние два примера взяты из «Курса арабской грамматики...», стр. 162, 400.

разить сущность противопоставленности имени и глагола в арабском языке, исходя в первую очередь из семантических, а не морфологических признаков. А объединив падежное склонение имен с глагольными наклонениями по совпадающим окончаниям, они проницательно угадали их истинную сущность как универсальных реляционных формантов. И вывод В. П. Старинина о том, что арабская грамматическая теория, приравнивающая наклонения к склонению, не лишена некоторого основания [29], теперь мог бы быть сформулирован более определенно, а именно: арабская грамматическая теория, приравнивающая наклонения к склонению, объективно имеет самые серьезные основания.

[29] В. П. Старинин, указ. соч., стр. 11.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

НИКИТИН М. В.

О СЕМАНТИКЕ МЕТАФОРЫ

В некоторых концепциях знака, следуя за Ч. Пирсом [1], словесную метафору причисляют к иконическим знакам [2]. Иконичность, очевидно, частный случай подобия, изоморфизма. Знак иконичен тогда, когда экспонент знака моделирует (т. е. воспроизводит в своей субстанции и структуре) свой денотат. Определяя область иконических знаков, можно идти двумя путями: 1) в области моделей выделить те, которые знаковы; 2) в области знаков выделить те, которые обладают свойством «быть моделью». В любом случае необходимо уяснение понятий модели и знака. Понятие модели выходит далеко за рамки лингвистики и семиотики, и лингвист должен или пользоваться результатами, полученными вне его науки, или довольствоваться приблизительными представлениями, считая понятия подобия и модели интуитивно ясными. Напротив, знак входит прямо в его компетенцию и поэтому для лингвиста более приемлем первый из указанных путей: он практически знает, где есть отношение подобия (моделирования, изоморфизма), и может объяснить теоретически, где есть отношение знаковости.

Ч. Пирс и его последователи необоснованно расширяли область знаков, подключая к ним явления естественной зависимости вещей и событий (так называемые «знаки-индексы», или «симптомы», например, с этой точки зрения, покачивание ветки является «знаком» ветра) и мыслительные, психические образы вещей в сознании. Это как будто возводило семиотику в ранг науки наук, а фактически не добавляло положительного знания: область знака раздвигалась беспредельно, но обобщение оказывалось неоправданным и непродуктивным. Следует ограничить область знака сущностями, связанными с целенамеренной передачей информации от одного сознания другому [3].

Важно уточнить соотношение знака и значения. Справедливо, что нет знака без значения, но обратное неверно. Значение возможно и вне знаковой ситуации. В целом существуют два класса ситуаций, в которых наличествует феномен значения. Представим их типичными примерами.

1. Некто видит покачивание ветки за окном и понимает, что это значит: должно быть, дует ветер. Это пример незнаковой, опытной (experiential) ситуации, в которой, тем не менее, присутствует значение. Один кон-

---

[1] О его типологии знаков см.: «Collected papers of Ch. S. Pierce», II, Cambridge, 1960.

[2] Этот взгляд представлен у Р. Якобсона (Р. Якобсон, В поисках сущности языка, «Сборник переводов по вопросам информационной теории и практики», 16, М., 1970), П. Хенле («Language, thought and culture», ed. by P. Henle, Ann Arbor, 1958), Р. Брауна (R. M. Browne, The typology of literary signs, «College English», 33, 1, October. 1971). Из последних работ см.: В. К. Тарасова, Словесная метафора как знак. АКД, Л., 1976.

[3] Из последних работ по этим вопросам см., например: В. З. Панфилов, О гносеологических аспектах проблемы языкового знака, ВЯ, 1977, 2; В. М. Солнцев, Языковой знак и его свойства, там же.

цепт[4] — образ покачивающейся ветки — актуализирует другой — образ ветреной погоды. Концепты связаны импликационной зависимостью, которая складывается как отражение природных связей вещей и явлений. Сознание настраивается на второй, актуализируемый концепт как информационно важный. Этот второй концепт и выступает в этой связи как значение первого.

2. Некто слышит: *Дует ветер* — и понимает, что это значит. Один концепт — психический образ услышанной фразы — актуализирует другой — образ ветреной погоды. Сознание настраивается на второй, актуализируемый концепт как информационно важный. Это пример знаковой ситуации. Здесь также актуализируемый концепт выступает как значение концепта актуализирующего.

Ситуации первого рода (опытные, experiential) объединяет с ситуациями второго рода (знаковыми) то, что и в тех, и в других мы сталкиваемся со значением. Поэтому их можно описывать одинаковыми выражениями, вроде «x значит (означает) y» или «значением x является y» и т. п., хотя в одних случаях переменные x, y замещают какие-то факты (события, явления), а в других — знаки (слова, выражения). Ср. 1) «покачивание ветки значит (означает) движение воздушных масс», 2) «ветер значит (означает) движение воздушных масс». В самом деле, говоря: «x значит (означает) y», мы указываем, что: 1) x несет информацию о чем-то и 2) содержание этой информации заключено в y.

Итак, значение предполагает зависимость концептов, такую, что один концепт (и соответствующий ему объект) актуализирует в сознании другой концепт, информационно более важный, и настраивает сознание на этот последний (и на соответствующий ему объект). Связь концептов при этом носит импликационный характер (как в ситуациях первого рода) или же характер конвенциональный (как в собственно знаковых ситуациях). В самом общем виде значение можно определить как информацию, актуализируемую при импликационной и конвенциональной зависимости концептов. Это содержание зависимого концепта, выступающего как информационная функция актуализирующего концепта.

Если сказанное выше справедливо, то значение покрывает более широкую область, чем знак. Оно наличествует и в ситуациях первого рода, где знака нет. О значениях можно говорить даже на дознаковом уровне сознания. Ими, в частности, оперируют животные. Охотничьей собаке тем смысл фразы *Пойдем на охоту*, но полны значения сборы хозяина. По сути дела, значение — это информация в живых системах, обладающих сознанием. У человека оно поднято посредством языка до высшей формы мыслительной организации — понятий.

Разумеется, между опытной и знаковой ситуациями есть существенное различие. Оно состоит в том, что: 1) в знаковой деятельности информация не замыкается в пределах индивидуального сознания, а предназначена для передачи другому сознанию; 2) знаковая деятельность протекает параллельно концептуальной деятельности, параллельно отражению сознанием объективного мира, как некий аналог отражающей работы сознания; 3) при этом зависимость между двумя концептами не отражает какую-либо естественную связь между соответствующими им объектами (экспонентом знака и его денотатом), так что связь между двумя концептами (десигнатором и десигнатом) в принципе может быть произвольной, условной; 4) экспонент изолирован от своих природных связей и импликаций и противопоставлен им своей функцией — служить в качестве актуализатора некоего информационного состояния сознания.

[4] Концепт — родовой термин для единиц (форм) сознания любого уровня абстракции и сложности.

Тем самым знак несет значение, но о знаке в собственном (не расширительном, не метафорическом) смысле следует говорить тогда, когда значение извлекается, минуя импликацию [5].

Из сказанного следует, что объекты и явления, связанные естественной связью, не могут быть знаками друг друга: причины не могут быть знаками следствий, признаки не могут быть знаками вещей. В самом деле, нелепо полагать, что в функцию молнии входит информировать о том, что грянет гром, или что ветка качается для того, чтобы сообщить о ветре. Признание естественных признаков знаками равносильно признанию всеобщего анимизма мира: оно настолько расширяет понятие знака, что он теряет всякую специфику и смысл. На самом же деле связи между вещами и признаками, равно как и их отражения в сознании, составляют предмет специальных наук, не подчиненных семиотике.

Из сказанного следует также, что идеальные отражения нельзя назвать знаками их материальных объектов, так как их отношение не отвечает условиям знаковой функции. Но равным образом и отношения идеальных образов и их материальных воплощений (замыслы и исполнения, планы и их реализации, всякого рода творчество, в том числе искусство) не могут быть квалифицированы как разновидности знаковой деятельности в собственном смысле [6].

Именно потому, что связь двух сторон знака, значения и средства его выражения, в принципе чисто техническая, условная, ничто не мешает избирать такие экспоненты, строение которых облегчает их запоминание и понимание. Подобие между экспонентом знака и его денотатом, изоморфизм в их строении, т. е. иконичность знака,— это прием знаковой мнемотехники, способ, которым решается задача запоминания и понимания значения знака. Нужно лишь заметить, что чем больше семантическая мощность знаковой системы, тем меньше оснований ожидать, что ее знаки будут иконичны. В самом деле, трудно представить себе достаточно мощную и гибкую знаковую систему с большим объемом выражаемого содержания, которую можно было бы экономно и последовательно построить на принципе иконичности. Семантическая универсальность знаковой системы входит в противоречие с иконичностью. Поэтому семантически наиболее универсальные знаковые системы — естественные языки мало иконичны. В письменности пиктографический принцип быстро обнаруживает свои неудобства и ограниченные возможности.

Напротив, если знак принадлежит узким специальным подсистемам панзнаковой системы, имеющейся в распоряжении человека, то шанс иконичности возрастает (ср., например, многие дорожные знаки). Кроме того, подобие денотату делает иконические знаки коммуникативно универсальными, т. е. понятными независимо от условия, в частности, от языка.

Относя словесную метафору к иконическим знакам, имеют в виду то, что между двумя денотатами (классами денотатов), а также между их идеальными образами — концептами имеется известное сходство, такое, которое позволяет уподобить одно другому и обозначить их одним именем (точнее, сделать прямое обозначение одного также переносным обозначением другого). Однако такая квалификация метафоры неправомерна, по-

---

[5] Более подробное изложение см.: М. В. Никитин, К определению знака и к типологии знаков и знаковых систем, «Уч. зап. [Владимирского гос. пед. ин-та]», серия «Иностранные языки», 3, 1969; его же, К определению и типологии значений в естественном языке (статьи первая и вторая), «Уч. зап. [Владимирского гос. пед. ин-та]», серия «Иностранные языки», 4, 1970.

[6] Знаковость во всяком случае не составляет сущности искусства, хотя знаковое, понятно, может к нему подключаться как элемент произведении искусства или как его инструмент.

скольку по условию иконичности требуется сходство не двух вещей (классов вещей) или двух концептов, а сходство между означающим и означаемым знака, т. е. сходство, подобие, общность признаков и / или структуры экспонента — десигнатора, с одной стороны, и десигната — денотата, с другой. Но ведь в случае словесной метафоры означающее вообще не меняется, меняется означаемое.

Несомненно, что в основе метафоры лежит мыслительная операция сравнения, а сама метафора — отработанное скрытое сравнение. Условимся называть то, что сравнивается с чем-то, прообразом сравнения, а то, с чем прообраз сравнивается, то, чему он уподобляется, его образом [7]. Оба термина распространяются как на вещи (объекты), так и на их мыслительные отражения (концепты).

Если общее у вещи $Д_1$ класса $К_1$, имя N_1, и вещи $Д_2$ класса $К_2$, имя N_2, достаточно, чтобы отнести их к классу $К_3$ (имя N_3), то понятия о классах $К_1$ и $К_2$ и их имена N_1 и N_2 соотносятся как эквонимы. Эквонимическое отношение — это отношение понятий и имен подклассов общего класса, ср. *отец* и *мать*, *сын* и *дочь*, *прозаик* и *поэт* и т. п. Понятия о классе $К_3$ и $К_1$, или о $К_3$ и $К_1$, а также соответствующие им пары имен N_3 — N_1, N_3 — N_2 соотносятся как гипероним и гипоним. Гиперо-гипонимическое отношение — это отношение родового и видового понятий и их имен, ср. *родитель* и *отец*, *родитель* и *мать* и т. п. Если же общее у вещи $Д_1$ класса $К_1$, имя N_1, и вещи $Д_2$ класса $К_2$, имя N_2, недостаточно для того, чтобы отнести их к общему классу, то отношение понятий о классах $К_1$ и $К_2$ и их имен N_1 и N_2 носит аналогический, симилятивный характер, ср. *заяц* и *трус*, *медведь* и *неуклюжий человек* и т. п. Эквонимию, гипергипонимию и симиляцию (аналогию) можно считать видами классификационных отношений понятий и имен.

Языки избегают выражения эквонимических понятий одним именем, а стремятся выражать их разными именами. Между тем сочетание в одном имени родового и видового понятий — случай, как известно, достаточно обычный, ср. *медведь*: 1) известный вид животных; 2) самец этого вида; *гнать*: 1) заставлять двигаться (*ветер гонит облака*); 2) заставлять двигаться прочь, вон (*дворник гонит собаку*); 3) заставлять двигаться быстро (*ямщик, не гони лошадей*).

Еще более свойственно языкам совмещать в одном слове аналогические, симилятивные понятия. Словесная метафора — тот случай симилятивного совмещения понятий в слове, когда выражение данного понятия осознается как вторичная ономасиологическая функция слова, уже «занятого» каким-то другим понятием. Иначе говоря, метафора — это выражение понятия словом, за которым в первичном распределении номинаций закреплено выражение иного понятия, связанного с первым симилятивной связью.

Для полноты картины необходимо отметить импликационный тип концептуальных связей, противопоставленный классификационному. Классификационные связи концептов не являются отражением каких-либо реальных связей вещей и явлений действительности. Они суть мыслительный аналог распределения признаков (свойств и отношений) в объективном мире, их объективным основанием являются общности сущностей объективного мира по наличным у них признакам. Связь между двумя концептами устанавливается в сознании, но отражает не какие-либо реальные

[7] Тем самым, если вектор в сравнении существен, сравнение оказывается случаем несимметричного отношения, т. е. такого отношения, в котором статус аргументов отношения не одинаков. Если же вектор в сравнении почему-либо не существен, то сравнение оказывается случаем симметричного отношения, а каждый из его аргументов является одновременно и образом, и прообразом другого.

связи, отношения, взаимодействия соответствующих сущностей, а общность — различие обнаруживаемых признаков.

Разнообразным связям объективного мира соответствует импликационный тип связи концептов. Термину «импликация» здесь придается более широкий смысл сравнительно с принятым в логике. Импликация понимается как мыслительный аналог связей реального мира, как важнейший способ организации сознания. Импликация в общем виде состоит в том, что в силу необходимых и возможных связей из наличия A заключают о наличии B. Поскольку в сознании отражены не только сущности объективного мира, но и их связи, один концепт может предполагать и «вызывать» (имплицировать) другой.

Импликация может быть отражением единовременных и разновременных, статических и динамических, жестких и вероятностных, слабых (например, пространственных и временных) и сильных (например, причинно-следственных) и других взаимодействий.

Совмещение импликационно связанных понятий в одном слове столь же (если не более) привычно для естественных языков, как и понятий симилятивно сближаемых. Метонимия — тот случай импликационного совмещения понятий в слове, когда выражение данного понятия осознается как вторичная ономасиологическая функция слова, уже «занятого» каким-то другим понятием. Иначе говоря, метонимия — это выражение понятия словом, за которым в первичном распределении номинаций закреплено выражение иного понятия, связанного с первым импликационной зависимостью.

Случаи этого рода хорошо известны и в иллюстрации не нуждаются. Внимания заслуживает особая разновидность импликационных связей в семантике многозначного слова — конверсивная связь лексико-семантических вариантов. Если две вещи $Д_1$ и $Д_2$ вступают в отношение (взаимодействуют) и в этом и только этом отношении им присущи признаки $P_+(Д_1)$ и $P_-(Д_2)$, то эти признаки мы будем называть конверсивными. Соответствующие классы вещей $К_1(P_+)$ и $К_2(P_-)$, а также понятия о таких признаках и классах, равно как их имена $N_1(P_+)$ и $N_2(P_-)$, $N_3(К_1)$ и $N_4(К_2)$, называем конверсивными. Ср. *продавать — покупать*, *продавец — покупатель*, *лечить — лечиться*, *врач — пациент* и т. п. Как известно, конверсивные понятия передаются обычно лексически (разными словами) или грамматически (разными словоформами, например, актив и пассив глагола). Возможен, однако, и лексико-семантический способ выражения конверсивных понятий, т. е. они могут совмещаться в семантике одного слова как разные его значения, ср. *глухой*: 1) не слышащий, плохо слышащий; 2) не слышимый, плохо слышимый (*глухой ропот*); *учить*: 1) сообщать знания; 2) осваивать знания; *печальный*: 1) опечаленный (*печальный юноша*); 2) печалящий (*на печальные поляны льет печальный свет она.* — А. С. Пушкин).

Соотнесение значений, в частности, лексических значений слов, выявляет общее и различное в их содержании, т. е. обнаруживает представленные в них семы. Семы — компоненты значений, не имеющие собственного десигнатора в структуре данного знака. Их наличие/отсутствие выявляется реляционно, при соотнесении с другими значениями. Известно, что лексические значения обычно содержат некоторый набор сем, организованных внутренними зависимостями в структуру, ср. «женатый» — *married male*, «замужняя» — *married female*, «женатик» (жарг.) — *married male one*, «холостяк» — *unmarried male one*, «муж» — *male married one*, «жена» — *female married one*. По возможности/невозможности совмещения в связке семы делятся на совместимые и несовместимые. Совокупность сем, обязательно представленных в лексическом значении, и образуемая ими

структура (конфигурация) зависимостей составляют интенсионал данного значения. Интенсионал составляет содержательное ядро лексического значения и поддерживает его качественную определенность в речевом варьировании семантики слова (точнее — лексико-семантического варианта).

Лексические значения организованы в классификационные иерархические системы соответственно уровням обобщения. Поэтому в лексическом значении выделяются родовая часть — гиперсема и видовая, дифференциальная (спецификационная) часть — гипосема [8]. Так, *parent* — гиперсема значения «отец», а *male* — его гипосема. Семный состав значения организуется в структуру именно благодаря спецификационным (гипергипонимическим) отношениям между компонентными семами.

В силу необходимой или возможной совмещенности признаков в связке (т. е. их совместной встречаемости) семы, входящие в интенсионал понятия, имплицируют некоторые другие семы, прямо в нем не представленные. Совокупность таких имплицируемых сем составляет импликационал данного значения. При этом импликация колеблется от обязательной и сильновероятностной до маловероятностной и невозможной. К примеру, признак (сема) игривости, шустрости не входит в интенсионал англ. *filly* «молодая кобылка», но с большой долей вероятности имплицируется для этого класса и входит в импликационал значения этого слова. То же относится и к признакам хитрости для лисы, трусливости для зайца, царственного величия и благородства для льва и орла, которыми народная традиция справедливо или несправедливо наделяет этих животных. Равным образом семы, не совместимые с данным значением, составляют в совокупности его отрицательный импликационал [9].

Сказанное позволяет уточнить природу семантической деривации разных видов, наглядно и компактно представить соотношения значений слова при семантических сдвигах, в том числе и в наиболее сложном случае — метафоризации.

Условимся о следующих символах. Будем изображать отдельное лексическое значение слова в виде дроби, помещая его гиперсему в знаменатель, а гипосему — в числитель. Семы в составе лексического значения будем изображать строчными буквами, а целые значения (интенсионалы значений) — заглавными. Если семы и целые значения тождественны по содержанию (одно понятие), будем обозначать их одной буквой, строчной для семы и заглавной для значения. Символом $\leftrightarrow$ обозначим импликацию в указанном выше смысле, т. е. импликацию как отражение, мыслительный аналог связей (зависимостей, взаимодействий) сущностей в отражаемом мире. Буквы r резервируем для обозначения признака-отношения, p_+ и p_- — полярных конверсивных признаков. Наконец, m_1 и m_2 — символы исходного и производного значения слова. Теперь соотношения значений при семантической деривации можно символизировать следующим образом:

1) импликация общего типа и метонимия:

вечер m_1: известная часть суток (A)
m_2: вечернее (a) увеселительное мероприятие (b)

$$\left\{\begin{array}{c} m_1 = A \\ m_2 = \dfrac{a}{b} \\ a \leftrightarrow b \end{array}\right\}$$

[8] Ср. с понятием архисемы и дифференциальной семы у В. Г. Гака (В. Г. Гак, Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания, сб. «Семантическая структура слова», М., 1971).

[9] Развернутое изложение этой концепции структуры лексического значения слова см.: М. В. Никитин, Лексическое значение в слове и словосочетании, Владимир, 1974.

2) импликация конверсивная:

любопытный m_1: проявляющий (p_+) любопытство (r)
m_2: возбуждающий (p_-) любопытство (r)

$$\left\{\begin{array}{l} m_1 = \dfrac{p_+}{r} \\ m_2 = \dfrac{p_-}{r} \\ p_+ \leftrightarrow p_- \end{array}\right\}$$

3) гипер-гипонимия:

медведь m_1: известный вид животного (A)
m_2: самец (b) этого вида (a)

$$\left\{\begin{array}{l} m_1 = A \\ m_2 = \dfrac{b}{a} \end{array}\right\}$$

гипо-гиперонимия:

здоровье m_1: хорошее (b) самочувствие (a)
m_2: самочувствие (A)

$$\left\{\begin{array}{l} m_1 = \dfrac{b}{a} \\ m_2 = A \end{array}\right\}$$

4) симиляция и метафора:

медведь m_1: известный вид животного (A) $\leftrightarrow$ неуклюжий (b)
m_2: неуклюжий (b) человек (c)

$$\left\{\begin{array}{l} m_1 - A \overset{\supset}{\leftrightarrow} b \\ m_2 = \dfrac{b}{c} \end{array}\right\}$$

Полисемия, в отличие от омонимии, предполагает известную общность содержания значений. Различие между видами семантической деривации состоит в том, как соотносятся структуры исходного и производного значений, какова структурная роль общей семы в них и какая структурная часть значения слова затрагивается семантическим сдвигом.

При импликации общего вида, включая метонимию, общая сема равна содержанию исходного прямого значения. Производное вторичное значение имеет более сложную структуру: общая сема здесь оказывается гипосемой, а остальная часть имплицируемого понятия составляет гиперсему производного значения[10]. Существенна импликационная связь между исходным понятием и понятием гиперсемы производного. Гипосема производного значения связывает его с исходным. Ее дифференцирующая роль в качестве спецификатора гиперсемы может сводиться на нет, и в таком случае вторичное значение обобщается, приравниваясь к содержанию гиперсемы. Но вместе с тем утрачивается и связь первичного и вторичного значений (распад полисемии), ср. *стол*: 1) известный вид мебели; 2) отдел учреждения (*паспортный стол*).

При конверсивной импликации общая сема равна понятию о несимметричном отношении r, обуславливающем в аргументах этого отношения конверсивные признаки p_+ и p_-. Первая входит в гиперсему двух значений, вторые составляют дифференциальные признаки двух значений. Конверсивные признаки, относясь к разным вещам, взаимно имплицируют друг друга.

При гипер-гипонимии или гипо-гиперонимии общая семантическая часть равна интенсионалу одного из значений. Интенсионал одного из значений включен в другой на правах гиперсемы, а содержательный остаток составляет гипосему этого последнего, т. е. его различительный признак.

Сложнее соотносятся значения при симилятивной связи, включая явную метафору. При симиляции общая семантическая часть двух значений часто не входит в интенсионал исходного прямого значения, а связана с ним импликацией (обычно сильной), т. е. общая сема входит не в интенсионал, а в импликационал исходного значения. Упомянутое выше англ. *filly* помимо первичного прямого значения «молодая кобылка», имеет еще вторичное переносное «веселая, шустрая девчонка». Признак веселости, шустрости, имплицируемый из интенсионала прямого значения и относящийся тем самым к импликационалу этого значения, составляет

[10] Сходную трактовку метонимии см. у В. Г. Гака (указ. соч., стр. 85).

гипосему производного значения, конституируя подкласс в классе девчонок. Семантическая деривация носит симилятивный метафорический характер. Как и в случае импликации-метонимии, два значения (исходное и производное) не соотносятся как эквонимические понятия при общем гипериониме [11].

Метафору, как и сравнение, нельзя без оговорок относить к явлениям моделирования. Отношение «быть моделью» предполагает, очевидно, некоторую достаточную меру сходства, подобия, изоморфизма — достаточную для того, чтобы ожидать и прогнозировать бóльшую общность признаков и структур образа и прообраза, чем постулировано первоначально при их уподоблении. Для метафоры (и сравнения вообще) мера подобия несущественна. Аналогия может быть частной, поверхностной и неглубокой. Если концепт-прообраз не имеет адекватного обозначения, можно воспользоваться готовым именем его образа, даже если сходство частично и случайно.

С другой стороны, чем более емок и содержателен образ, чем ближе он стоит к «моделированию» прообраза, тем выше информационная ценность метафоры, тем более мотивирован ее выбор как имени прообраза. Развертывание метафоры выявляет ее «моделирующий потенциал».

В целом, если не поддаваться гипнотизму престижной терминологии и сохранять за «моделью» сколько-то строгий (не метафорический) смысл, то, по-видимому, надо признать, что простое объявление метафоры моделью не продвигает заметно понимание сущности ни метафоры, ни самой модели. Быть может, в какой-то мере и допустимо утверждать, что заяц служит моделью трусливого человека, лиса — хитреца, молодая кобылка — шустрой девчонки и что потемки и омут моделируют загадочную душу, но нельзя отделаться от мысли, что тут слова «модель, моделировать» сами использованы как метафоры, в смысле расширительном и нечетком — и тогда неизвестное толкуется через неизвестное. Не предполагает ли моделирование в собственном, терминологическом смысле сознательное, волевое, намеренное создание самим человеком изоморфизмов, подобий, материальных образов в целях познания и сотворения интересующих его прообразов, а не простой поиск аналогий в вещах и явлениях, существующих независимо от познавательных и созидательных устремлений человека?

Если это так, то понятно, почему для модели существенна достаточная мера подобия, а для метафоры это условие не необходимо. Модель — результат создания аналогов с заданными свойствами, определяемыми мерой подобия прообразу. Метафора — результат поиска аналогов без ограничений на меру подобия (с неспецифицированной мерой подобия).

Очевидно, что ни признание метафоры иконическим знаком, ни объявление ее моделью не проясняют особенностей семантики метафоры, не раскрывают специфики ее содержания.

Вместе с тем несомненно, что метафорические обозначения сравнительно с прямыми семантически своеобразны. Уже в первом приближении ясно, что на уровне языка, в словарном аспекте содержание словесных метафор менее четко и строго, более размыто и приблизительно, чем первичные прямые значения слов. Метафорическое значение подвижно, в нем силен прагматический компонент, семантические границы расплывчаты, многое не «выведено на поверхность», а содержится имплицитно. Семантика метафоры сильно зависит от контекста и ситуации речи, лишь войдя как

[11] Общая сема эквонимических понятий равна их родовому понятию, ср. «мать и отец» — «родители». Общая сема симилятивно (метафорически) или импликационно (метонимически) связанных понятий никак не равна их родовому понятию, ср. *заяц*: 1) известный вид животного → трусливого, 2) трусливый человек; *вечер*: 1) известная часть суток, 2) вечернее увеселительное мероприятие.

часть в сеть логических импликаций и пресуппозиций целого текста, вписавшись в изображаемую ситуацию и согласовавшись с ее связями и зависимостями, метафора уточняет свой смысл, теряет неопределенность и может быть однозначно семантизирована. И напротив, если слово выражает два (или более) концепта, объединяемые симилятивной связью, но оба эти значения привычно связываются со словом, так что при осмыслении слова, взятого само по себе, есть лишь неопределенность в выборе одного из значений, но нет неопределенности в содержании ни того, ни другого значений, то первичная метаформа, если она была, утрачивает качество и оба значения ономасиологически уравниваются.

Таким образом, дело не просто в производности метафорических и иных переносных обозначений сравнительно с прямыми первичными обозначениями, но в существенно отличной их семантической природе: в словарном аспекте вторичные переносные обозначения обладают лишь потенциальной семантикой, т. е. не фиксируют определенное содержание, а лишь нечетко очерчивают некую семантическую область с вероятностной структурой. В речи совершается отбор из этой области, и переносное обозначение семантизируется по определенным правилам из взаимодействия прямого значения с контекстуально-ситуативными условиями речи. По сути дела, в словаре языка нет переносных метафорических и метонимических значений, а есть прямые значения и есть правила содержательного изменения их. Это утверждение, хотя и схематизирует реальное положение вещей, подчеркивает сущностные особенности словесных знаков и характерную черту строения ономасиологической системы естественных языков.

С учетом сказанного виртуальная семантика слова как единицы словаря языка получает следующее символическое представление. Лексическая семантика слова W с первичным прямым значением A, варьируясь в метонимическом поле, может приобретать в речи одно из значений $m = \frac{a}{x}$, где переменная гиперсема x — любое из понятий, импликационно связанных с интенсионалом A, т. е. понятие о любом классе, в котором возможен подкласс, конституируемый признаком a. Например, то же слово *вечер* может иметь вторичным значением не только «вечернее увеселительное мероприятие», но и «вечернее времяпровождение», т. е. то, что делают или планируют делать вечером (ср. *подари мне этот вечер*).

В другом, метафорическом поле лексическая семантика слова W с первичным прямым значением A варьируется в области $m = \frac{y}{x}$, где переменная гипосема y — любой из признаков-сем, входящих в импликационал или интенсионал первичного прямого значения слова, а переменная гиперсема x — понятие о любом классе, в котором возможен подкласс, конституируемый признаком y. К примеру, импликационал слова *медведь* содержит не только сему «неуклюжий», но и «сильный, толстый, большой, простоватый, тугодум» и т. п. Каждая из них может быть реализована в определенных контекстуальных условиях порознь или в связке как часть метафорического значения слова. Это иллюстрирует переменный характер гипосемы в метафорах. Менее очевиден переменный характер гиперсемы. Человек как будто приберегает тонкие разграничения и описания прежде всего для себя. Но в принципе эти метафоры описывают не только неуклюжих (сильных, кряжистых, простодушных, туго соображающих и пр.) людей, но приложимы к неуклюжим, громоздким и пр. машинам, механизмам, роботам, зверям (помимо медведей) и др.

Очевидна бóльшая сложность семантической структуры метафорического переноса сравнительно с метонимическим. Надо заметить, что в фор-

мулах потенциальной семантики не отражена вероятность реализации того или иного переносного значения. Между тем импликационал прямого значения, как и ассоциативные связи концептов вообще, суть вероятностные структуры, отчего одни значения проявляются с большей легкостью и без труда проникают в узус, а другие, чтобы проявиться, требуют особых условий и остаются окказионально-речевыми фактами.

Таким образом, ономасиологические (номинативные) системы естественных языков имеют двухуровневое строение: уровень прямых обозначений, являющихся непосредственной, первичной семиотической функцией десигнаторов, и уровень переносных, производных от прямых обозначений, выступающих как вторичная функция уже «занятых» десигнаторов и компенсирующих ономасиологическую недостаточность системы прямых обозначений. Вторичные переносные значения мотивированы разнообразными ассоциативными связями первичных значений. При этом первичное значение определяет ядро номинационного потенциала слова, а совокупность интенсиональных и связанных с ними импликациональных признаков первичного значения очерчивает общее поле этого потенциала, т. е. все множество хотя бы окказиональных возможных номинаций посредством данного слова. Значение слова способно варьироваться в широком диапазоне указанной совокупности признаков.

На втором уровне ономасиологической системы у слова как словарной единицы языка, строго говоря, нет определенных приписанных ему значений, а есть правила содержательного варьирования. Его значения на этом уровне — лишь вероятностные функции концептуальных связей.

Для того чтобы семантизировать слово в прямом значении, надо знать связи между десигнаторами и десигнатами (концептами). Чтобы осмыслить слово в переносном значении, это знание не обязательно (хотя и возможно). Требуется знание первичных прямых значений слов, а сверх того знание описываемого участка мира, его связей и закономерностей ассоциирования концептов. Слово в переносном значении семантизируется по следующему алгоритму. На первом шаге выявляется какой-то достаточный контекст, позволяющий определить предметно-референционную область сообщения. Это позволяет судить о том, какие слова в сообщении употреблены в прямых значениях, а какие своими первичными значениями «не вписываются» в предмет сообщения. На втором шаге эти последние переосмысляют: руководствуясь общими универсальными закономерностями ассоциирования концептов, знанием мира, его связей, отбирают из первичного значения и организуют в структуру семантические признаки, конгруэнтные денотату. При этом совокупное содержание прямого значения слова, т. е. относящиеся к нему интенсиональные и импликациональные признаки, очерчивает область семантического поиска, а предметно-логические связи вещей и понятий в сообщении указывают направление этого поиска и вынуждают отобрать из указанной области те семантические признаки, которые логически вписываются в общую картину. Они и составляют содержание вторичного значения слова в данном контексте.

Понятно, что между двумя уровнями нет резкой границы. Память закрепляет вторичные значения непосредственно за словом, минуя алгоритм и правила семантизации из контекста, и продвигает значения в узус, а употребление стабилизирует и фиксирует их содержание. Но эти процессы не устраняют потребности и различий в двух уровнях ономасиологической системы. Второй уровень необходим для того, чтобы естественные языки могли преодолевать неадекватность номинативной системы насущным задачам выражения. Это — способ выразить трудно выразимое

и обозначить то, для чего в норме нет прямого обозначения, причем выразить и обозначить, не увеличивая словарь единиц выражения и их синтаксическую сложность.

Транспозиция семантической стороны беспредельно расширяет возможности языкового выражения. Но очевидно и другое — достигается это за счет известной содержательной неопределенности, нестрогости выражения. Значение выражения самого по себе утрачивает четкие границы. Оно страдает референционной расплывчатостью и в значительной мере черпает свой смысл из целого, из речевой ситуации и контекста. Для его осмысления недостаточно усилия памяти и языковой компетенции. Оно приглашает к мобилизации знания, к игре ума и упорядоченному комбинированию смыслов, их отбору и увязке в целостную картину. Если тропы имеют для людей эстетическую ценность, то это потому, что они задают сознанию творческую задачу восполнить недосказанное. Они не просто языковое действие и языковая игра, а знание мира и творческое усилие ума.

В случае метафорического переноса для осмысления слова необходимо отобрать референционно конгруэнтные семантические признаки из импликационала его первичного значения. Импликациональные признаки непосредственно не входят в ядро первичного значения (= интенсионал значения), а окружают его подобно силовому полю, составляя часть информации, связывающейся со словом. Совокупно эти признаки образуют некоторую вероятностную структуру, в которой семантические признаки характеризуются той или иной вероятностью вхождения/невхождения в импликационал значения. Этим и объясняется неопределенность семантики словесных метафор (в словарно-языковом аспекте): в принципе любой импликациональной признак может составить содержание метафорического переноса.

Так, слово *собака* реализует в метафорическом употреблении различные импликации из своего прямого значения: верность, преданность; самоотверженность, самоотказ; самоуничижение; малоценность; скверные условия существования; агрессивность, сварливость, злобность; нечто, вызывающее пренебрежение, презрение и т. д. Иногда эти признаки реализуются порознь, иногда в той или иной связке, причем далеко не всегда состав этих связок, а следовательно, и семантика метафоры достаточно прояснены.

Естественно, что чем больше/меньше вероятность импликации признака, тем больше/меньше вероятность, что именно он составит содержание слова при переносе и тем менее/более такой перенос будет нуждаться в мотивировке ситуацией и/или контекстом речи. Иными словами, чем более вероятна, отработана и стереотипна та или иная ассоциативная связь концептов, тем с большим основанием конкретное метафорическое значение из речевой ономасиологической потенции слова становится частью его словарно-языковой семантики, как, например, в случае стереотипных ассоциаций на базе зоосемизмов. По существу же в словарно-языковом аспекте метафорическое значение слова существует лишь потенциально как вероятностная структура импликациональных признаков, и конкретное семантическое наполнение метафорического слова совершается в речи как мыслительное действие отбора семантических признаков из импликационала первичного значения слова, конгруэнтных описываемому факту.

Тропеическое употребление слов, их семантические транспозиции, двухуровневое строение системы номинативных средств языка свидетельствуют о специфической особо тесной связи естественного языка со знанием мира, поскольку речевой акт при этом не сводится к простому кодированию/декодированию смыслов, а требуется домыслить, примыслить

и переосмыслить содержание используемых знаков на первичной основе знания того, что неадекватно описывается их словарной семантикой.

По особенностям их речевой семантики словесные метафоры и метонимии надо отнести к знакам остенсивной семантики. Семантика знака остенсивна в случае непрямого обозначения денотата, когда при семантизации знака выходят за пределы его кодифицированного словарно-языкового значения и осмысляют его на основе показа, наблюдения, опыта и знания соответствующих денотатов. Денотаты при этом описываются (квалифицируются) не прямо, а опосредованно путем отбора конгруэнтных признаков. В силу этого остенсивная семантика носит размытый, нежесткий характер, уточняемый из ситуации, контекста и знания мира.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

ВСЕВОЛОДОВА М. В.

О СЕМАНТИЧЕСКОМ СОГЛАСОВАНИИ ГЛАГОЛОВ И ИМЕННЫХ ТЕМПОРАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

1. Именные темпоральные распространители (в дальнейшем — ИТР), т. е. обстоятельства времени, выраженные словесными формами имен существительных (*в прошлом году, зимой, две недели*), по установившейся после работ Е. Куриловича традиции относят к так называемым наречным падежам [1] и рассматривают их функционирование, не отделяя их от собственно наречий (*давно, теперь, вскоре, долго* и т. п.) [2]. Вместе с тем, ИТР и наречия в системе лингвистической категории времени [3] представляют разные подсистемы. Темпоральные наречия относятся к лексическим средствам выражения времени, значение каждого из которых представлено его лексемой. Для ИТР их значение заключено в словесной форме, т. е. является значением грамматическим, ср., например: *ночь* (*не спал*) — *ночью* (*приехал*) — *в течение ночи* (*позвоню*) — *за ночь* (*написал статью*) — *к ночи* (*похолодало*) — *с ночи* (*завьюжило*) — *с* (*самой*) *ночи* (*мучается*) — *по ночам — ночами — в зимние ночи* (*воют волки*) — *из ночи в ночь* (*вызывают неотложку*) и т. д. Большинство из этих значений не имеет эквивалентов среди наречий, которые гораздо теснее, чем система значений ИТР (в дальнейшем — именная темпоральность) связаны с категорией глагольного времени. ИТР с глагольным временем тоже, разумеется, связаны, но связаны в основном своей поверхностной, лексической стороной, а не семантикой грамматической формы, например: *в прошлом году приехал — в будущем году приедет* (ср.: *давно, недавно приехал — скоро приедет*) при общем для выражений *в прошлом году — в будущем году* семантическом значении времени, не полностью занятого действием [4]; *весь прошлый год занимался — весь этот год занимается — весь будущий год будет заниматься* (ср.: *раньше, давно занимался — теперь занимается — потом, скоро будет заниматься*) — при общем для выражений *весь прошлый год, весь этот год, весь будущий год* значении времени, полностью занятого дйствием; *за прошлый год построили два дома — за будущий год должны построить два дома* (ср.: *давно, недавно построили — скоро должны построить*) — при общем для обоих ИТР значении времени завершения действия.

---

[1] Е. Курилович, Проблема классификации падежей, в его кн.: «Очерки по лингвистике», М., 1962.

[2] См. например: А. В. Бондарко, Грамматическая категория и контекст, Л., 1971; Н. Ю. Шведова, Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения, ВЯ, 1964, 6; H. Kučera, K. Trnka, Time in language, Michigan, 1975; R. Steinitz, Adverbial-Syntax, Berlin, 1971; и мн. др.

[3] О лингвистической категории времени см.: Т. И. Дешериева, Лингвистический аспект категории времени в его отношении к физическому и философскому аспектам, ВЯ, 1975, 2.

[4] Подробный анализ системы значений и способов выражения временных отношений средствами словесных форм имен существительных см. в кн.: М. В. Всеволодова, Способы выражения временных отношений в современном русском языке, М., 1975.

Вероятно, системы наречной и именной темпоральности в некоторых фрагментах накладываются друг на друга (ср.: *давно, недавно, в марте приехал, работал*; *долго, два часа спал, работал*), но не совпадают полностью. Наречие может быть иногда лексическим синонимом одной (редко — двух) именных словоформ, обычно с определением, например: *давно — в давние времена, давно/издавна — с давних времен, с давних пор*. Но, во-первых, присущее словесным формам *с давних пор, с давних времен* значение последующего относительного времени, полностью занятого действием, имеют не только эти конкретные выражения, но и такие, как *с недавнего времени, с того времени, с прошлого года, с воскресенья, с лета, с этой минуты, со школы* (*помню*) и т. д., ибо это значение имеет словесная форма *с* + род. пад. многих лексико-семантических групп существительных как с лексическим значением времени, так и без него. И во-вторых, одно и то же существительное или словосочетание с ним способно выступать в разных словоформах, имеющих разные значения в системе именной темпоральности (см. выше примеры со словом *ночь*), в то время как наречие выступает только в одной единственной ипостаси и его темпоральная семантика полностью исчерпывается его лексическим значением. Все это заставляет нас в целях адекватного описания функционирования темпоральных конкретизаторов в предложении отделить — в процессе анализа — ИТР от наречий и рассматривать только функционирование ИТР [5]. Нас интересует в данном случае их синтаксическое поведение в структуре простого предложения.

2. В соответствии с концепцией о детерминирующих обстоятельствах ИТР в предложении принято рассматривать либо как именные компоненты простого двучленного словосочетания с необязательной связью (*болеть две недели*), либо как совпадающие с ними по форме распространители структурной схемы предложения в целом, т. е. как детерминанты. Такое разграничение основано на представлении о том, что члены структурной схемы предложения «распространяются» на уровне словосочетания еще «до предложения» и представляют собой структурное образование «слово + + словоформа» [6]. Образования, которые не подходят под это правило, относятся к детерминантам. Теория детерминантов позволяет объяснить некоторые случаи сосуществования в рамках предложения словоформ существительных и глаголов (или безглагольных структур), которые на уровне словосочетания (в указанном выше понимании) объяснению не поддаются, как, например: *Много веков человек был привязан к Земле*. «...очевидна невозможность — формальная или смысловая — конструирования словосочетания „*привязать* (*кого к чему*) *много веков*“», — пишет Н. Ю. Шведова (стр. 87). Но, с другой стороны, теория детерминантов не позволяет объяснить несочетаемость некоторых ИТР со структурной схемой предложения, например: **с каждым столетием человек был привязан к земле*, **два года передвижение становится все труднее* (ср.: *с возрастом, /с годами/, с каждым годом /уже два года, как передвижение становится все труднее*), **за два дня ребята пропадали в спортзале* (ср.: *целыми днями/ весь день ребята пропадали в спортзале*) — хотя при отсутствии семантической и синтаксической связей таких «запретов» быть не должно.

Анализ функционирования ИТР в структуре простого предложения в числе других позволил также сделать вывод о том, что все ИТР, независимо от их статуса, подчиняются в предложении или закону семантического согласования или закону сложения смыслов. Основным компонен-

[5] Ср. аналогичный подход в работе: H. J. Verkuyl, Temporal prepositions as quantifiers, в кн.: «Generative grammar in Europe», Dordrecht, 1973.

[6] См.: Н. Ю. Шведова, указ. соч. В дальнейшем при ссылках на эту работу страницы указываются в тексте статьи в скобках.

том, с которым семантически согласуется ИТР, является глагол в своей конкретной словоформе, но в случае присловной позиции ИТР при других частях речи это согласование осуществляется и с ними.

В предложении *Много веков человек был привязан к Земле* ИТР *много веков* распространяет не глагол *привязать*, а страдательное причастие *привязан*, которое — в силу своего грамматического статуса — обладает (кроме глагольных) и категориальными значениями прилагательного, т. е. называет признак, существующий, проявляющийся во времени (ср.: *сухое в течение трех месяцев русло*); поэтому некоторые страдательные причастия (например, от глаголов *привязать*, *забыть*, *закрыть*, *открыть*, *запретить* и др.) наряду с глагольным управлением, получают другое; например: *забыть на долгие годы — забытый на долгие годы — забытый в течение многих лет*, ср.: *Эта музыка в течение многих лет была забыта* (запись устной речи); *открыть на всю неделю — открытый на всю неделю — открытый всю неделю*, ср.: *Всю пасхальную неделю колокольни были открыты для всех желающих звонить в колокола* (Н. Кузьмин, Наши с Федей ночные полеты); *запретить на сто лет — запрещенный на сто лет — запрещенный сто лет*, ср.: *Книга была сожжена и оставалась запрещенной целое столетие* («Наука и жизнь», 1970, 2) и т. д. Употребление винительного темпорального в приведенных предложениях объясняется тем, что в них речь идет не о времени, с которым соотнесен результат предварительного действия (*привязать собаку на ночь — привязанная на ночь собака*, ср.: *Природа привязала человека к Земле на много веков*), а о времени, в течение которого признак, названный причастием, оставался или остается актуальным (*Собака всю ночь была привязана, а теперь ей нужно побегать*; ср.: *Грязь в доме, нестиранное месяцами белье*).

3. Сочетаемость/несочетаемость различных типов глаголов с различными типами ИТР замечена и частично описана на материале других языков [7]. Р. Штайнитц выделила семантические типы темпоральных распространителей, помогающих провести субкатегоризацию глаголов на основе их сочетаемости/несочетаемости с типами темпоральных обстоятельств. Х. Веркайл, напротив, постулировал некоторые семантические элементы, свойственные глаголам и проявляющиеся в конструкциях с ИТР. (Эта сочетаемость/несочетаемость глаголов и ИТР не связана с проблемой детерминации глаголов в том смысле, как ее решает, например, Е. Кржижкова [8], поскольку детерминатор предопределяется соответствующей семантической валентностью глагола и входит в число предикатных предметов. Соответственно детерминационный анализ проводится на уровне семантических предикатов. Мы не отождествляем эту проблему и с «интенцией глагольного действия», разрабатываемой вслед за Е. Паулини словацкими лингвистами, поскольку построенное на ее основе понятие «интенционной структуры» также рассматривает только те элементы структуры предложения и их взаимные отношения, которые связаны с семантическим содержанием глагола, представляющим собой отношения действия к окружающей действительности, и которые на основе этой интенции реализуются [9]. Мы рассматриваем закономерности сосуществ-

[7] См. в частности: Ch. J. Fillmore, Types of lexical information, в кн.: «Semantics. An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology», Cambridge, 1971 (англ. яз.); R. Steinitz, указ. соч. (нем. яз.), H. J. Verkuyl, указ. соч. (дат. яз.).

[8] Е. Кржижкова, Темпорально-квантитативная детерминация глагола (опыт трансформационного анализа), «Československá rusistika», XI, 1966, 2; ее же, Адвербиальная детерминация со значением места и направления, ВЯ, 1967, 2; ее же, Adverbialní determinace s významem časovým a příčinným, «Slavia», 36, 4, 1967.

[9] См.: J. Kačala, Doplnok v slovenčine, Bratislava, 1971, 75; его же, Intencia slovesného deja a stavba vety, «Jazykovedný časopis», 1968, XIX, 1—2.

вания глаголов и ИТР в рамках синтаксической структуры предложения независимо от наличия/отсутствия в глаголе семантической валентности на время и от принадлежности глагола и ИТР к одному или разным предикатам. Вопрос о семантической структуре предложения здесь не затрагивается.) ИТР не обладает свободной сочетаемостью с разными типами глаголов, вступая с ними в определенное семантическое согласование. Для именных темпоральных конструкций (т. е. структур, состоящих из распространяемого и распространяющегося компонентов) нами выделены дифференциальные семантические признаки, или семы, присущие, с одной стороны, распространяющим компонентам, т. е. ИТР, а с другой — распространяемым компонентам, т. е. в первую очередь глаголам и глагольным сочетаниям [10]. Эти семы занимают разные иерархические уровни (ранги) в общем значении компонента, которое таким образом представляет собой не просто набор, а конфигурацию дифференциальных семантических признаков [11]. Взаимное осложнение этих сем в рамках семантики ИТР, так же как и в рамках семантики распространяемого компонента, а также согласование сем и их сложение в рамках конструкции и дает все разнообразие значений в системе именной темпоральности.

4. Значения ИТР, релевантные для семантического согласования характеризуются следующими основными семами:

1) Дуративность ($Advb_{Dur}$ у Р. Штайнитц): *два часа*, *все лето*, *годами*, *с утра до вечера*, *до самого отъезда*, *с трех часов*, *с самой войны*; в дальнейшем — ДУРим.

2) Собственно темпоральность ($Advb_{Temp}$ у Р. Штайнитц): *в марте*, *летом*, *после обеда*, *во время отъезда*, *в дождь*, *перед уроком*, *через день после экзамена* и т. д. и т. п.; в дальнейшем — ТЕМП. Обе эти семы могут выступать, не будучи осложненными другими семами, хотя сами обязательно осложняют семы одновременности/разновременности, не выступающие без такого осложнения [12]. Следующие две семы выступают только в сочетании с ДУРим или ТЕМП.

3) Терминативность (срок): *за год*, *в одну минуту*, *к воскресенью* (*сделать что-либо*); *за прошлый год* (*приехал один раз*), в дальнейшем —ТЕРМ.

4) Постепенность: *с годами*, *со временем*, *с возрастом*, *по мере ослабления* и т. д., в дальнейшем — ПОСТ.

5) Наконец, последняя сема — разделительность, повторяемость ($Advb_{Iter}$ у Р. Штайнитц), занимающая самую нижнюю ступеньку иерархической лестницы, выступает только как осложняющий компонент названных выше четырех признаков и дает соответственно значения: а) повторяющихся отрезков времени: *часами*, *по целым неделям*, *по году* и т. п.; б) повторяющихся моментов времени: *каждый день*, *по воскресеньям*, *перед каждым уроком*, *после каждого концерта* и т. д.; в) повторяющихся отрезков — сроков: *в месяц*, *в год*, *за месяц*, *за год*; г) повторяющихся отрезков времени, характеризующихся определенным «квантом» постепенности: *с каждым годом*, *с каждой минутой*, *день ото дня*, *от года к году* и т. п.; в дальнейшем — ПОВТ.

---

[10] См.: М. В. Всеволодова, Способы выражений временных отношений..., стр. 11—12; ср. также разрабатываемое Х. Веркайлом (вслед за Д. Грабером) понятие Verb Phrases, в частности и по отношению к глаголам в темпоральных конструкциях (H. J. Verkuyl, указ. соч., стр. 587 и сл.).

[11] См.: С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 150.

[12] Семы одновременности/разновременности тоже могут вступать в семантическое согласование с глаголами, но в более частных случаях. Ср. *засидеться*, *заработаться*, *заговориться*, *загостеваться* — только: *до поздней ночи*, *до двенадцати*, *до утра*, но не **два часа*, **весь день*, **с утра* и т. д., т. е. только последующее относительное время, полностью занятое действием.

5. Релевантными для семантического согласования с ИТР в глаголах оказались следующие семы:

1) Дуративность (Durative у Х. Веркайла): *читать*, *спать*, *гулять*, *темнеть*, *поработать*, *проработать*, *отсидеть*, *отдохнуть*, *заработаться* и т. п.; в дальнейшем ДУРгл.

2) Одноактность (Momentaneous у Х. Веркайла): *прийти*, *крикнуть*, *запеть*, *почувствовать*, *ощутить*, *заметить* и т. п. в дальнейшем ОДН. Эти семы могут выступать как самостоятельно, так и будучи осложненными другими семами.

3) Результативность (Terminative у Х. Веркайла), но только в том смысле, как это понимается в концепции Н. С. Авиловой [13], т. е. значение I,II и III типов видовых пар, а именно: (I) *белеть — побелеть*, *ослабевать — ослабеть*; (II) *танцевать — станцевать*, *наедаться —наесться*; (III) *колоть — расколоть дрова*, *переписывать — переписать работу*. Эта сема — мы обозначим ее РЕЗУЛЬТ — свойственна обоим членам видовой пары, поэтому мы будем различать РЕЗУЛЬТсв и РЕЗУЛЬТнс. Оба варианта всегда выступают в сочетании с семой ДУРгл: РЕЗУЛЬТнс в случае обозначения единичного действия фактически сливается с ДУРгл; РЕЗУЛЬТсв имплицитно включает в себя идею ДУРГгл как пройденной длительности.

4) Становление, или увеличение/уменьшение интенсивности действия: *белеть*, *темнеть*, *ослабевать*, *приближаться*, *расти*, *увеличиваться*, *уменьшаться* и т. д. Эта сема как элемент предикативного характера была выделена А. Богуславским в качестве неопределяемого семантического элемента [14]. Она всегда выступает в сочетании с ДУРгл и РЕЗУЛЬТ. В дальнейшем — СТАН.

5) Сема итеративности, проявляющаяся в глаголах со значением многоактности: *щелкать*, *мигать*, *стучать* и т. п. и многократности: *приходить*, *встречать*, *вставать* и т. п. [15]; в дальнейшем — ИТЕР.

6) Наконец, нельзя не назвать еще одну весьма важную сему распространяемого компонента темпоральных конструкций, хотя она проявляется обычно не столько в глаголе, сколько в глагольных сочетаниях и других компонентах структуры предложения. Мы имеем в виду квантитатор, или так называемый количественный показатель действия [16] (в дальнейшем — КПД). В отличие от всех других сем, имплицитно входящих в семантику глагольного слова (что не мешает им в случае необходимости эксплицироваться), сема КПД всегда эксплицирована. Она может быть представлена: а) в лексике глагола, существительного, прилагательного и порядкового числительного: *удваиваться*, *утроиться*, *пятилетка*, *пятилетний* (*план*), *второй*, *пятый*; б) в лексике наречий: *много*, *мало*, *впервые*, *однажды*; в) но наиболее типичным для темпоральных конструкций КПД является количественно-именное сочетание типа *25 километров* (*пройти*), *100 оборотов* (*делать*), *40 деталей* (*выпустить*), *200 рублей* (*заработать*, *заработок*), *пять раз* (*позвонить*), *четыре человека* (*прошло*) и т. д. и т. п. Эту сему можно рассматривать как количественный вариант РЕЗУЛЬТ, но очень важный и самостоятельный вариант.

---

[13] См.: Н. С. Авилова, Вид глагола и семантика глагольного слова, М., 1976, стр. 16 и сл. Понятие результативности в других концепциях, в частности, в концепции Ленинградской аспектологической школы «не проходит» в темпоральных конструкциях.

[14] См.: A. Bogusławski, O wyrażeniach oznaczających zmianę, в кн.: «Semantyka i słownik», Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdansk, 1972.

[15] О различиях между многоактностью и многократностью см.: В. Н. Яковлев, Многоактность как способ глагольного действия, ФН, 1975, 3.

[16] Подробнее см.: М. В. Всеволодова, указ. соч., стр. 17. Там же показано, что квантитатор может быть любым компонентом синтаксической структуры предложения.

6. Как видим, и в глаголах, и в ИТР есть аналогичные, параллельные семы: ДУРгл — ДУРим, РЕЗУЛЬТ — ТЕРМ, СТАН — ПОСТ, ИТЕР — ПОВТ. Именно между этими семами и может осуществляться семантическое согласование.

1) Сочетание ДУРГгл с ДУРим дает значение единичного времени, полностью занятого действием: «*Весь день вокруг ловушки строили высокую ограду* (И. Акимушкин, Следы невиданных зверей); *в 1961 году в Сахаре шесть месяцев горело месторождение газа Гасси-Тупль* («За рубежом», 1977, 20); *Своего отца я никогда не видел и очень долго, до самого совершеннолетия, не подозревал о его существовании* (В. Голышкин, «Журавли» и «цапли»); *Я был готов поручиться, что с детства помню эти названия* (А. Крон, Бессонница); *Он еще минуточку постоял на пыльной дороге...* (В. Липатов, Деревенский детектив).

2) Сочетание РЕЗУЛЬТсв и ТЕРМ дает значение единичного времени завершения действия: *Расцвела за ночь черемуха в палисаднике* (В. Липатов, указ. соч.); *Работы завершили за восемь месяцев* («Известия», 22 IV 1971); *К вечеру добрались до озера* (пример Н. Ю. Шведовой, в дальнейшем — Швед.). Именно отсутствие семы РЕЗУЛЬТ не позволяет глаголам *поспать, проработать, заниматься, крикнуть* и мн. др. сочетаться с ИТР, имеющими сему ТЕРМ, ср.: **поспать за два часа*, **крикнуть за час*.

3) СТАН, согласуясь с ПОСТ, дает (в рамках значения времени, полностью занятого действием) значение времени развивающегося действия: *С возрастом скорость протекания физиологических процессов уменьшается* (Л. Аскин, Проблема времени. Ее философское истолкование); *Я* (...) *еще не мог согласиться, что я с годами глупею* (В. Колупаев, Билет в детство); *К сожалению, изменится со временем и маленький, похожий на пуговку носик малыша* («Наука и жизнь», 1967, 6), где глагол с семой РЕЗУЛЬТсв вносит в конструкцию значение времени завершения развивающегося действия.

4) Можно было бы ожидать такого же согласования для ИТЕР и ПОВТ. Однако в действительности этого не происходит. С одной стороны, ИТЕР чаще всего сочетается с ДУРим, давая — в результате сложения смыслов — то же значение времени, полностью занятого действием: *Фотоаппарат щелкал весь март, апрель и май, пока ветка не расцвела* (К. Паустовский, Северная повесть); *Так падал и вскакивал он до вечера* (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке). С другой стороны ИТР ПОВТ сочетаются с глаголами в зависимости от характера своей основной семы. Так, при наличии ДУРим — с ДУРгл, например: *По целым вечерам она писала письма в город* (Т. Щепкина-Куперник, Квартира № 15) — ср.: *целый вечер она писала письма....*; при наличии ТЕРМ — с РЕЗУЛЬТнс, например: *Теперь такая операция осуществляется за* 3—5 *минут* («Наука и жизнь», 1966, 3) — ср.: *Операцию осуществили за 3—5 минут*; ср. также: *Я обедаю дома за полчаса*; *Научился умываться, одеваться за пять минут*; при наличии ПОСТ — со СТАН, например: *Растет в нашей стране от десятилетия к десятилетию* (и: *с каждым десятилетием.— В. М.*) *средняя продолжительность жизни* («Лит. газ.», 20 IV 1977) — ср. *растет с течением времени.*

5) Мы не отметили в числе параллельных сем ОДН и ТЕМП. Действительно, такого очевидного согласования в этом случае нет. Но все-таки, ОДН, как правило, сочетается с ТЕМП. Причем в конструкциях с ИТР, обозначающими так называемое часовое время (частный случай ТЕМП), выявляется значение моментальности, аналогичное ОДН, например: *В двенадцать с четвертью из дверей фермы вышла доярка Прасковья Михайловна Панькова* (В. Липатов, указ. соч.); *В три часа утра — уже* 26 *октября — пришел Мещеряков* («Наука и жизнь», 1967, 10). Глаголы

с семой ОДН очень часто распространяются и другими ИТР со значением ТЕМП типа *в прошлом году, летом, после каникул, перед обедом, за два часа до отъезда, в среду* и т. д. В принципе сема ТЕМП наименее специфична, и ИТР с этой семой обладают наибольшей (но не абсолютной) сочетаемостью с глаголами. В конструкциях с ДУРгл ИТР с семой ТЕМП являются немаркированным членом в привативной оппозиции «время, не полностью занятое действием» — «время, полностью занятое действием», например: *в прошлом году жил в деревне — весь прошлый год жил в деревне*; *Мы в юности часто мечтали о полетах на другие планеты* (Швед.) — *Мы всю юность мечтали о полетах на другие планеты* и т. п. Как любой немаркированный член, конструкции этого типа допускают интерпретацию и в смысле маркированного члена [17]. Но в сочетании с ОДН такая интерпретация невозможна. Одноактный глагол как бы сам маркирует ИТР, например: *По окончании университета он уехал в Сибирь* (Швед.); *Все не может ей простить, что она в прошлом году опоздала на репетицию* (Е. Кржижановская, Человек решает сам) — ср.: *весь прошлый год опаздывала*; *Точно в яблочко попал он и прошедшим августом* («Неделя, 1976, 8). То же значение времени, не полностью занятого действием, дает сочетание РЕЗУЛЬТсв с ТЕМП, например: *Просто я почти окончил этой ночью свой рассказ* (К. Паустовский, Рождение рассказа) — ср.: *за эту ночь он окончил рассказ*; *Как наука в современном смысле слова, геронтология сформировалась только в последнее столетие* (Л. Бобров, В погоне за сенсацией) — ср.: *сформировалась за последнее столетие.* (Значения времени, не полностью занятого действием, и времени, соотнесенного с моментом действия во всей своей протяженности, находятся в привативной оппозиции с первым немаркированным членом.) Соответственно и в конструкциях с ИТР, имеющими значение повторяющейся темпоральности, так же свободно употребляются все типы глаголов, кроме, разумеется, ОДН, например: *Вечерами еще подмораживало* («Правда», 31 V 1968) — ср.: *Вечером еще подмораживало/подморозило, а утром растаяло*; *Минутами на него находила слабость* (Швед.) — ср.: *Вчера вечером на него находила/нашла слабость* и т. д. и т. п. Как видим, итеративное значение глагола предопределяется наличием соответствующей семы в ИТР.

6) И наконец, небезынтересно функционирование в темпоральных конструкциях семы-квантитатора. КПД выступает как обязательный компонент конструкции при повторяющемся времени завершения действия, давая значение усредненного времени действия, как, например: *Брала она по 12 рублей в месяц* (Т. Щепкина-Куперник, указ. соч.); *Мы спим по два часа в сутки и не знаем усталости* (К. Паустовский, Мещерская сторона); ср. также: *ехать со скоростью 100 км в час, работать пять дней в неделю, отдыхать один раз в год* и т. д. и т. п. Таким образом, и здесь можно говорить о своего рода специальной взаимной предназначенности сем распространяемого компонента и ИТР.

Наряду со случаями семантического согласования, в темпоральных конструкциях имеют место и случаи сложения смыслов [18]. Как правило, это бывает при соединении противоположных сем, причем в этом случае большую роль играют более конкретные характеристики глагола. Так, глаголы с семой ОДН, называющие действие, которое может мыслиться

---

[17] См.: С. М а р к у с, Логический аспект лингвистических оппозиций, сб. «Проблемы структурной лингвистики. 1963», М., 1963, стр. 50.

[18] См: Л. В. Щ е р б а, О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, «Изв. АН СССР», VII серия. Отделение общественных наук, 1, Л., 1931, стр. 113.

как имеющее некоторую, пусть очень короткую протяженность [19], соединяясь с ДУРим, дают значение краткого отрезка времени, полностью занятого действием. Как правило, это глаголы совершенного вида, у которых однокоренные глаголы несовершенного вида называют следствие действия, выраженного совершенным видом: *увидеть — видеть*, *ощутить — ощущать*, *показаться — казаться*, *пожалеть — жалеть*, а также глаголы совершенного вида типа *задуматься*, *замешкаться*, *запнуться* и некоторые другие способы глагольного действия (в концепции Н. С. Авиловой). Вместо винительного беспредложного при таких глаголах обычно выступает ИТР *на* + вин. пад. названий кратких отрезков времени, например: *Окошко кабины на минуту заслонил спрыгнувший сверху радист* (И. Акимушкин, указ. соч.), т. е. *минуту заслонял*; *Алексей на мгновение увидел в крестике пятнистое брюхо «лаптежника»* (Б. Полевой, указ. соч.), т. е. *видел в течение мгновения*; *Паша запнулся только на секунду — из-за непривычного ударения* (А. Крон, указ. соч.).

Описание случаев сложения смыслов и правил этого сложения в задачи настоящей статьи не входит.

7.0. Возвращаясь к проблеме семантического согласования, мы остановимся на двух принципиальных для нас вопросах. Во-первых, могут ли сочетаться с ИТР глаголы, не имеющие параллельных сем? Во-вторых, существует ли семантическое согласование в безглагольных конструкциях? Материал позволяет на оба вопроса ответить положительно.

7.1. Способы сочетаемости «несоответствующих» глаголов и ИТР мы рассмотрим на примере конструкций, где ИТР имеют семы ТЕРМ и ПОСТ, а глаголы параллельных сем РЕЗУЛЬТ и СТАН не имеют. В этих случаях «на помощь» глаголу приходят экспликаты, добавляющие в конструкцию недостающую у глагола сему. Так, при глаголах, не имеющих семы РЕЗУЛЬТ в сочетании с ИТР ТЕРМ, роль этой семы берет на себя КПД, добавляющий глаголу элемент значения «количественное завершение действия», т. е. РЕЗУЛЬТ, например: *Самец колибри за* 16 *часов пил 172 раза* («Наука и жизнь», 1969, 12) — ср. **...за* 16 *часов пил*; *Первый раз за все время Люба заплакала* («Комсомольская правда», 4 XII 1971) — ср.: **за все время Люба заплакала*; *За три года она много странствовала* («Наука и жизнь», 1971, 8) — ср.: **за три года она странствовала* и т. д. и т. п.

Важно отметить, что в случае, если конструкция имеет значение времени завершения действия (единичного, повторяющегося или усредненного) и в предложении есть КПД, то ИТР занимает позицию именно при КПД или при сочетании с ним, так как без этого компонента нарушается смысловая и/или структурная целостность предложения или происходит сдвиг в значении высказывания (ср. примеры выше). Все это позволяет предположить, что КПД является, как и СТАН, элементом предикативного характера [20].

В конструкциях с ИТР ПОСТ (единичной или повторяющейся) при глаголах, не имеющих семы СТАН, экспликатом этой семы чаще всего бывает компонент типа *все более*, *все меньше*, *все новые* (*товары*), реже —

[19] Ср. моментальные и мгновенные действия у Э. Германа (Э. Герман, Вид объективный и вид субъективный, в кн.: «Вопросы глагольного вида», М., 1962, стр. 46).

[20] Ср.: «... специфическое содержание числительных во всех употреблениях следует усматривать в конструкциях „есть *l*“ (где *l* числительное.— *В. М.*) особого типа предложений *x* есть *l*, например, яблок (есть) пять» (A. Bogusławski, Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyjskim, Wrocław, 1966, стр. 53). Интересен случай, когда КПД «вынесен» и развернут в субъектно-предикатную конструкцию, а ИТР и глагольный компонент (причастие) находятся в причастном обороте: *Общее число метеороидов различных размеров, вторгающихся за сутки в земную атмосферу, исчисляется сотнями миллиардов* («Наука и жизнь», 1977, 8).

просто сравнительная степень прилагательного или наречия, причем, как и в случае с КПД, безразлично, каким компонентом предложений является экспликат и к чему он относится, например: *По мере ослабления страха перед фашистским режимом все больше и больше испанцев начинало бастовать*» («За рубежом», 1977, 20); *С каждым днем его все больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны* (К. Паустовский, Повесть о лесах); *С каждой минутой их лица делались все серьезнее* (В. Катаев, Сын полка); *С годами каждая новая зима казалась Тихону Петровичу длиннее прошлогодней* (К. Паустовский, Маша); *С возрастом передвижение становится труднее* (Швед.). Легко проверить, что без экспликата разрушается грамматическая и смысловая целостность предложения, предложение не может состояться.

А. Богуславский в упомянутой выше работе пишет, что «элемент „становиться“ (польск. „stawać się“. — *В. М.*) следует охарактеризовать как такой, который сам по себе не является предикатом, но создает предикат в соединении с другими элементами (или их комбинациями)» [21]. Именно поэтому сочетание типа *становится труднее*, *делались все серьезнее* следует рассматривать как единые предикатные выражения, а экспликат типа *все более* — считать частью предиката.

При ИТР с семой ДУРим роль экспликата недостающей семы ДУРгл может играть форма числа существительного в функции объекта или субъекта, ср., например, замечание Ч. Филлмора о некорректности английского предложения **He broke the vase until* 5 *o'clock* (≈ *он разбил вазу вплоть до 5 часов*) и правильности предложения при неопределенном числе, множественности объектов: *He broke vases until* 5 *o'clock* (≈ *он разбивал вазы вплоть до 5 часов*) [22].

7.2. Безглагольные предложения *30-го ревизия* (Швед.) и *В тридцать семь лет он директор* (Швед.) относятся к различным типам синтаксических построений. Первое — к так называемым бытийным предложениям, а второе — к предложениям тождества [23]. Соответственно (при синтаксическом значении настоящего времени) в первом устанавливаются смысловые связи с именем в функции подлежащего, а во втором — с именем в функции сказуемого. В обоих случаях прослеживается согласование смыслов ИТР и имени. Так, ИТР с семой ДУРим возможен при словах и словосочетаниях с пропозитивным значением, имеющих в себе сему длительности, ср.: *Всю неделю ревизия*; *Тридцать лет он директор*; *С девяти утра до пяти вечера* (...) *этот домовладелец — как бы образ передового служащего* (Швед.). Слово *директор* и словосочетание *образ передового служащего* реализуют здесь не денотативное, а сигнификативное значение [24], показывая не предмет, а его функцию, которая, впрочем, может проявляться и в присловных связях, ср., например, подпись под письмом, статьей и т. п.: *В. П. Иванов, директор завода с 1963 по 1972 год*. Ср.: *директорствовать тридцать лет, с девяти утра до пяти вечера образцово служить*. В случае, если слово не имеет пропозитивного значения, сема длительности компенсируется формой множественного числа (по аналогии с многократными глаголами), ср.: *Всю неделю у него неприятности* при неотмеченном **Всю неделю у него неприятность*.

При ИТР с семой ТЕРМ в бытийных предложениях свободно функционируют имена предметной семантики, способные выступать в функции объекта при результативном глаголе. Они употребляются как в ед. числе, так

[21] A. B o g u s ł a w s k i, O wyrażeniach oznaczających zmianę..., стр. 148.
[22] См.: C h. J. F i l l m o r e, указ. соч., стр. 373.
[23] См.: Н. Д. А р у т ю н о в а, Предложение и его смысл, М., 1976, стр. 205 и сл.; 300 и сл.
[24] См.: Н. Д. А р у т ю н о в а, указ. соч., стр. 10—11.

и с КПД: *Плотина за две секунды* («Техника молодежи», 1975, 4) — ср.: *построить плотину за две секунды*; *За вечер две-три пьесы* («Лит. газ.», 25 V 1977), ср.: *За вечер показать две-три пьесы. И днем тоже* (там же.) Слова пропозитивной семантики выступают с экспликатом — КПД: *За час три вызова* (разг.) Одушевленные существительные (типа *директор*), выступая в бытийных предложениях в функции подлежащего, реализуют в них свое денотативное, предметное значение и при ИТР ТЕРМ могут функционировать только вместе с экспликатом КПД: *За пять лет три директора.*

Предложения тождества со сказуемым типа *директор* для ИТР ТЕРМ требуют особого контекста, например: *Пять лет назад он пришел на завод простым инженером, быстро продвигался по служебной лестнице, и вот за пять лет он — директор*, где сема РЕЗУЛЬТ как бы составляется из компонентов: *инженер — начальник цеха — главный инженер — директор.*

При ИТР ПОСТ в безглагольном предложении возможны имена с семой СТАН, например: *От месяца к месяцу — рост производительности труда.* В противоположном случае эта сема должна быть выражена экспликатом, например: *С каждым годом все меньше ревизий.* То же и в предложениях тождества: *С каждым годом он все более опытный директор*; *С каждым годом он как бы все более идеальный образ передового служащего* и т. д. и т. п.

ИТР ТЕМП, как в глагольных предложениях, свободно допускают имена с любой темпоральной семой, ср.: *На другой день — удар* (ОДН); *На другой день — занятие* (ДУР); *На другой день — два письма* (РЕЗУЛЬТ); *На другой день — постепенное ослабление морозов* (ПОСТ), но во всех случаях, «предпочитают» имена пропозитивной семантики (если предметные, то в функции пропозитивных, ср.: *получил, написал два письма*).

Вероятно, что тот случай, когда — в терминах концепции В. Г. Гака — можно говорить о семантическом несогласовании. «Опущение синтагмемы и несогласование возможно лишь в случае устойчивых предметных отношений» [25]. В данном случае вместо пространственно-предметной сферы мы имеем дело с событийно-временной, где отношения общей временной локализованности для события тоже достаточно устойчивы. Но любая специфика в протекании события во времени требует соответствующего согласования. Интересно, что в зависимости от семы ИТР в парадигме и регулярных реализациях безглагольного предложения функционируют различные глаголы, например: *В 37 лет он стал (был) директором — 30 лет оставался (был) директором — За пять лет на заводе сменилось (было) четыре директора — С каждым годом он становится все более опытным директором.* «...при формировании высказывания достаточно определить синтаксическую функцию какого-либо одного слова (нередко — первого), — пишет В. Г. Гак, — чтобы весь остальной синтаксический рисунок предложения явился сразу» [26]. При этом, будучи семантически неполнозначными, эти глаголы все-таки «перетягивают» на себя функции семантического согласования с ИТР, что, на наш взгляд, характеризует выделенные семы как необходимую часть семантики глагольного слова.

Тот факт, что в семантике глагольного слова обычно присутствуют семы разных рангов, позволяет актуализировать — в зависимости от коммуникативных потребностей — ту или другую из них, ср.: *привязать/привязан-*

[25] В. Г. Гак, К проблеме семантической синтагматики, сб. «Проблемы структурной лингвистики. 1971», М., 1972, стр. 380.

[26] В. Г. Гак, Высказывание и ситуация, сб. «Проблемы структурной лингвистики. 1972», М., 1973, стр. 364.

ный на одну минуту (сложение РЕЗУЛЬТ + ДУРим), *привязать/привязанный за одну минуту* (согласование РЕЗУЛЬТ — ТЕРМ), *привязанный долгие века* (ДУР — ДУРим); *расти много лет* (ДУРгл — ДУРим), расти с годами (СТАН — ПОСТ); но: *расти во время войны* (СТАН — ТЕМП), *привязать в среду* (РЕЗУЛЬТ — ТЕМП) — семантическое несогласование.

Подводя итоги сказанному, отметим следующее:

1. ИТР подчиняется в предложении закону семантического согласования или закону сложения смыслов с распространяемым компонентом, в первую очередь, с глаголом или глагольным сочетанием, но также и с другими частями речи, позицию при которых он может занимать.

2. Глагольные семы, вступающие в семантическое согласование с семами ИТР, не зависят от конкретного лексического значения глагола или от его полнозначности/неполнозначности.

3. В случае отсутствия нужной семы в распространяемом компоненте она находит эксплицитное выражение в добавочном семантическом элементе предикативного характера, причем этот элемент может занимать место любого компонента синтаксической структуры предложения.

4. В безглагольных предложениях согласование осуществляется либо средствами имени существительного, с которым у ИТР устанавливается смысловая связь, либо экспликатами недостающих сем.

5. Поскольку семантика глагольного слова представляет собой обычно конфигурацию сем, в сочетании с ИТР могут актуализироваться разные семы — в зависимости от коммуникативных задач высказывания, что и объясняет возможность сочетаемости глагола с разными (но не любыми) ИТР.

6. ИТР не является независимым, самостоятельным добавлением к структурной схеме, а входит в живую ткань предложения в процессе речетворения и соединен с ним прочными, хотя может быть и не видимыми на первый взгляд связями.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

КОЖИНА М. Н.

О НЕКОТОРЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В ЧЕХОСЛОВАКИИ И ГДР

Подводя итоги развития советского языкознания за последние шестьдесят лет, в том числе и советской стилистики, нельзя не отметить взаимные усилия ученых социалистического содружества в разработке столь сложной и малоисследованной области, как стилистика. Тем более, что после известной дискуссии по стилистике 1954 г. лингвисты ряда стран сами отмечают плодотворное влияние советского языкознания на изучение проблем стилистики [1]. При этом все с большей очевидностью наметившийся в последние десятилетия поворот в языковедческих исследованиях от изучения структуры (системы) языка к его функционированию [2], что с полной очевидностью обнаружилось на последнем Международном съезде лингвистов, естественно, толкает к анализу стилистических публикаций, поскольку современная стилистика — это наука, если так можно выразиться, сугубо функциональная [3]. Кроме того, в последнее время наблюдается и активизация социолингвистических исследований, так как развитие стилистики идет в русле социолингвистики. Стилистика, в частности учение о функциональных стилях, все более заявляет о себе как о самостоятельной языковедческой дисциплине. И хотя это мнение с трудом завоевывает себе признание, однако закрывать глаза на факт очевидного существования этого направления исследований было бы по крайней мере несправедливо.

По вопросам функциональной стилистики публикуется много работ теоретического и практического характера, представляющих порой весьма противоречивые концепции авторов. Это побуждает соотнести различные концепции и выявить в них общее (единое) и индивидуальное, иначе говоря, вызывает необходимость работ обобщающего или хотя бы обзорного характера. Это тем более необходимо, что до сих пор у нас не написана «Академическая стилистика», готовить которую уже, кажется, пришла пора.

Естественно, что в кратком обзоре невозможно дать подробное изложение даже некоторых публикаций последнего времени, поэтому наше изложение неизбежно будет страдать неполнотой и схематизмом.

[1] W. Fleischer, G. Michel, Stilistik der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig, 1975, стр. 15, 26; K. Hausenblas, Práce Viléma Mathesia o stylu a česká stylistika v uplynulém čtvrtstoletí, SaS, 1970, 3, стр. 202; J. Kraus, Úvod do stylistiky pro informačni pracovniky, Praha, 1977, стр. 11.

[2] О. С. Ахманова и др., О принципах и методах лингвостилистического исследования, М., 1966.

[3] W. Fleischer, G. Michel, указ. соч., стр. 18, 41 и др.

*

Известно, что в связи с выдвижением и обсуждением проблематики литературного языка и нормы (В. В. Виноградов, В. Матезиус, Б. Гавранек и др.) с конца 20 — начала 30-х годов XX в. развивается и функциональная стилистика. Однако развитие ее идет далеко не планомерно (в смысле интенсивности) и не одинаково в разных странах. Если в нашей стране и в Чехословакии уже давно были достигнуты крупные успехи в этой области [4], то, например, о болгарском языкознании этого сказать нельзя, а в Германии тех лет царили индивидуалистические (идеалистические в своей основе) концепции стиля К. Фосслера, Л. Шпитцера, О. Вальцеля. Лишь много позднее в ГДР — в конце 50-х годов и в 60-е годы — появляются первые ростки учения о функциональных стилях [5]. В настоящее же время в этой отрасли стилистики почти во всех социалистических странах имеются весьма интересные исследования.

Начнем обзор с трудов чехословацких ученых. Здесь одной из наиболее заметных публикаций по стилистике нам представляется книга Г. Гаузенбласа «Структура языковых высказываний и стиль» [6]. Это теоретическое исследование в области науки о коммуникации, которая рассматривается в соотношении с языкознанием и стилистикой. Изучение соотношения этих наук и составляет содержание первого раздела книги; во втором дается определение некоторых основных понятий: стиль и метод; стилизация и композиция и др.; третий раздел посвящен классификации коммуникатов (словесных проявлений, или высказываний в широком смысле слова); четвертый — проблемам семантики контекста в художественном произведении; пятый — стилистическому и семантическому анализу различных прозаических и поэтических текстов.

Согласно мнению автора, в комплексной науке о коммуникации особое место должна занять наука о словесной коммуникации, а в последней — стилистика. При этом стиль (как и стилистику) Гаузенблас понимает широко, отнюдь не сводя его только к эмоционально-экспрессивным средствам языка (как это наблюдалось у Ш. Балли или у Г. Зейдлера), к стилистическому слою языка или к стилю индивидуальному. Стиль определяется автором в аспекте лингвистики текста (в том числе стилистики) как интеграционный принцип построения целого (коммуниката) на всех его уровнях. В систему же коммуникативных средств, участвующих в построении целого, включаются следующие: 1) главными оказываются средства собственно языковые (от фонологических до синтаксических); они несут основной вид значений, основную информацию коммуникатов; 2) средства паралингвистические (фонические, тембр голоса, графические и т. д.), имеющие второстепенное, вспомогательное значение, но иногда могущие находиться в противоречии с содержанием (ср. возможное при этом изменение смысла высказывания); 3) тематические, которые в свою очередь выражаются языковыми средствами, но не имеют стабильной к ним прикрепленности (эти средства не относятся к компетенции лингвистов); 4) текстовые средства, т. е. структурация тематическо-рематическая (актуальное членение); 5) композиционные средства, 6) в распоряжении коммуникатов имеются и целые схемы их построения — жанровые образования, различающиеся стилистическими признаками, а также — «схемы» интерперсональных стилей (фунциональных стилей), к которым в конечном счете относятся и на нормы которых ориентируются все словесные

[4] Как это справедливо отмечается в указ. книге В. Флейшера и Г. Михеля (стр. 24—26).

[5] См., например: D. Faulseit, G. Kühn, Stilistische Mittel und Möglichkeiten der deutschen Sprache, Halle, 1961.

[6] См.: K. Hausenblas, Výstavba jazykových projevů a styl, Praha, 1972.

высказывания; и, наконец, 7) готовые образцы текста (поздравления, крылатые слова, анекдоты и т. д.).

Плодотворным, на наш взгляд, и заслуживающим внимания в концепции К. Гаузенбласа является положение о целесообразности рассмотрения стиля на разных уровнях абстракции: от стиля конкретного высказывания, к стилю личностному, далее — к межличностному (функциональному стилю), затем стилю эпохи и т. д. Другим важным положением автора следует признать отнесение стиля не только к области формы, но и к области содержания, поскольку он имеет большое значение для выражения смысла коммуниката (принцип содержательности формы).

Наряду с рассмотрением строения целостности коммуниката в аспекте вообще науки о коммуникации, автор высказывает интересную мысль о необходимости разработки общей теории стиля как одного из явлений, связанных с человеческой деятельностью и поведением вообще, т. е. «интерперсонального соприкосновения». Нам представляется, что изучение и построение теории стиля на столь широком фоне может оказаться полезным и для решения более конкретных задач — определения понятий и категорий лингвистики (ср., например, понятие речевой системности функционального стиля).

Специальному анализу понятия стиля (в широком смысле) посвящен первый раздел книги. Согласно точке зрения К. Гаузенбласа, стилем следует называть один из принципов структуры коммуниката как целого. Такое определение требует уточнения в трех аспектах: 1) коммуникат можно понимать как результат человеческой деятельности, фиксированной или не фиксированной в языковых знаках; 2) структуру коммуниката автор понимает и как процесс, и как его результат; при этом отношения основных частей коммуниката к системе коммуникационных средств существенны для его структуры: только зная систему средств и правил их использования, можно правильно интерпретировать коммуникат. Составными частями структурации коммуниката являются: а) выбор средств; б) их модификация и новообразования; в) их организация (композиция); 3) способы построения коммуниката — отбор и упорядочение его составных черт чрезвычайно разнообразны. Среди них можно выделить главные, хотя это не просто.

По-видимому, существует общий принцип, общая схема построения коммуниката, характеризующая его как временну́ю или временно-пространственную структуру. Эта структура, по словам К. Гаузенбласа, имеет горизонтальный «срез», развивающийся в линеарной последовательности (начало — середина — конец) и вертикальный «разрез», проявляющийся в отношении между выражением и содержанием и реализующийся как языковыми средствами, так и текстовыми (тема — рема) и композиционными. Пока более или менее полно описаны средства низших уровней структуры коммуниката (прежде всего собственно языковые). Между тем на организацию структуры высказывания воздействуют самые различные факторы.

Весьма существенно у К. Гаузенбласа подчеркивание целенаправленности коммуникации при интеграции высказывания из отобранных, простых и сложных, элементов: необходимо та́к выбрать и та́к объединить средства, чтобы они отвечали цели коммуникации, при «сыгранности» всех остальных факторов. Необходимо создать такую структуру, чтобы она наилучшим образом выражала информационное содержание коммуниката. Этот интеграционный принцип высказывания Гаузенблас и называет стилем.

Широта осмысления таки́м образом понимаемого стиля заключается в том, что в его содержании могут участвовать разнородные эле-

менты, понимаемые в двух аспектах: 1) не только собственно языковые, вербальные, но и невербальные (тематические, композиционные и т. д.) элементы; 2) элементы различных функциональных стилей [7]. Но последнее допустимо лишь при одном условии — если они мотивированы и не нарушают единство целого, его коммуникативную целесообразность. Стиль, таким образом, по мысли К. Гаузенбласа, как бы связывает воедино формообразование целого с системой формообразующих средств (различных уровней структуры целого). Но он идет и за пределы данного коммуниката, связывая последний общими чертами с совокупностью коммуникатов одного направления, школы, эпохи,

Все эти положения и конкретные наблюдения, думается, позволяют более глубоко рассмотреть спорный до сих пор вопрос о месте «языка художественной литературы» среди функциональных стилей.

Анализируя вопрос соотношения стилей речи (стилей языковых высказываний) и стилей языка (внутренней дифференциации языка), К. Гаузенблас рассматривает первые как стили интерперсональные (например, функциональные стили), понимая при этом parole как процесс коммуникации, а langue как систему коммуникационных средств (стр. 22). При этом речевые и языковые явления, по мнению автора, присущи всем плоскостям структуры коммуниката (в том числе уровню текста). Речевые стили, как утверждает автор, нельзя идентифицировать со стилевыми модификациями языковой системы. Известно, что в чехословацкой традиции не различают двух понятий (и терминов) «языковой стиль» и «речевой стиль». Если же различать эти явления, то, согласно мнению К. Гаузенбласа, под стилями речи следует понимать различные виды построения высказывания (коммуниката). При этом в речевом стиле могут использоваться как стилистически однородные средства языковой системы (элементы одного стилевого слоя языка), так и средства различных модификаций этой системы.

Относя к числу функциональных стилей «разговорный язык», автор отмечает, что последний внутренне сам дифференцируется на: а) повседневный и б) более высокого социального значения (и сферы общения).

В книге рассматривается и соотношение между стилем и смыслом; автор утверждает, что, если смысл оказывается окончательно выраженным лишь в заключительных частях коммуниката, то стиль как интеграционный принцип обычно обнаруживается уже в первых фазах (частях) коммуниката.

Характеризуя структуру текста в двух измерениях: горизонтальном и вертикальном, К. Гаузенблас замечает, что первое — линеарное — не следует понимать упрощенно (в смысле простой линии), так как письменный текст — это упорядоченная плоскость (ср. титулы, заглавия, подзаголовки); кроме того, строевые единицы различны по сложности, функции и просто размеру (ср. единицы лексические, фразеологические, синтаксические и др.).

Заслуживает внимания стилистов характеристика способов построения (и выражения) подтекста (гл. VIII), поскольку это явление очень слабо разработано в литературе, особенно в отношении нехудожественных текстов. Таковы в общих чертах стилистические проблемы, рассматриваемые в книге К. Гаузенбласа.

Появилось за указанный период времени и систематическое изложение стилистики. Мы имеем в виду труд Й. Мистрика «Стилистика словац-

[7] Это хорошо продемонстрировано, кроме рецензируемой книги, в другой работе автора: K Hausenblas, Utváření styly v textu, «Ceskoslovenské přednášky pro VII mezinárodni sjezd slavistů», Varšava, 1973, стр. 225.

кого языка», вышедший вторым изданием (1-е изд.— 1970) [8]. Этот выросший из курса практической стилистики [9] труд является теоретическим рассмотрением проблем стилистики, представленным на большом фактическом материале и написанным в весьма доступной форме.

В предисловии ко второму изданию Й. Мистрик пишет, что в нем, по сравнению с первым, представлены новые результаты дальнейших исследований автора в области стилистики, а также достижения мировой науки. Здесь нашли подробное и глубокое освещение новые методы исследования стиля, в частности статистические. Более всего изменения (по сравнению с первым изданием) коснулись общей части работы, например, характеристики стилеобразующих факторов, микрокомпозиции, ораторского стиля, методов исследования. Корректировке подверглось изложение вопроса о классификации стилей и исторического очерка стилистики. Нужно сказать, что этот очерк, представляющий развитие учений о стиле с античности до современности, несомненно, представит интерес для нашего читателя. Кстати, в нем имеется и краткая характеристика развития русской и советской стилистики (стр. 14—15 и 22—23). Отметим, что давая высокую оценку заслуг М. В. Ломоносова, автор замечает, что теория трех стилей была построена на противопоставлении языка и речи еще за двести лет до Ф. де Соссюра. Автор подчеркивает также необходимость понимания диалектики стилистических явлений и изучения их в развитии, а также в контексте эпохи и ситуации общения.

При изложении истории развития стилистических учений Й. Мистрик относит первые попытки функциональной характеристики стиля к античности, но действительное осмысление стилей как функциональных разновидностей языка связывает с формированием национальных языков, т. е. с временем, когда у языков открываются богатые возможности для развития своих функций и начинают появляться первые произведения научного, журнального и других стилей. Первое обоснование понятия «функциональный стиль» Й. Мистрик связывает с именем В. Гумбольдта. В книге подчеркивается роль русских ученых в разработке функциональной теории стиля, освободивших ее от идеализма В. Гумбольдта. В связи с этим рассматривается деятельность А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, а также чехословацких ученых — В. Матезиуса, Б. Гавранка, Ф. Травничка и др.

Стилистику Й. Мистрик понимает как науку прежде всего о функциональных стилях и стилистических средствах языка. В связи с этим книга распадается на две части. Первая посвящена общим вопросам и проблеме классификации стилей, как и характеристике их основных стилевых черт и языковых средств выражения. Вторая дает описание стилистических средств в соответствии с языковыми уровнями: средства лексические, фразеологические, морфологические (по частям речи и грамматическим категориям), синтаксические. Характеризуя последние, автор останавливается на явлениях синтаксической синонимии, стилистической окраски предложения, соотношения структуры предложения и ритма, а также частотности синтаксических конструкций, использования предложения в тексте и др. Достаточно подробно показаны в книге звуковые средства стиля, мелодия, ритм, темп.

Особенный интерес для советского читателя представляют последние главы второй части, посвященные описанию композиционных средств,

---

[8] J. M i s t r í k, Stylistika slovenského jazyka, Bratislava, 1977.

[9] J. M i s t r í k, Praktická slovenská štylistika, Bratislava, 1961 (2-е изд.— 1963); е г о ж е, Slovenská štylistika, Bratislava, 1965.

поскольку они в отечественной стилистике изучены недостаточно. Эти средства представлены автором в двух планах: макрокомпозиционные, куда включена характеристика способов изложения (повествование, описание, рассуждение), и микрокомпозиционные, среди которых находим разные способы построения текста и разновидности последнего (авторская речь, прямая речь, несобственно прямая речь, полупрямая, непрямая, смешанная). Здесь же освещается вопрос о межтекстовых контактах (параллелизм, перифраза, контрапункт и др.). Книга завершается обширным списком литературы (более десяти страниц).

В первой части книги, помимо очерка по истории стилистики, даются определения основных понятий, характеризуются различные методы стилистического исследования (в том числе статистические) [10], излагаются проблемы стилевой дифференциации языка, классификация стилей, стилеобразующих факторов и др.

Согласно традиции, сложившейся в Чехословацкой школе стилистики, Й. Мистрик подразделяет все стилеобразующие факторы на субъективные и объективные (что, кстати, составляет одно из достижений чехословацких ученых). При этом в классификацию названных факторов автор вносит некоторые уточнения и представляет ее с достаточной полнотой и детализацией. Так, среди субъективных стилеобразующих факторов называются интеллектуальный уровень говорящего, его характер, темперамент, эмоциональный «заряд», состояние в момент речи; если речь идет о писателе, то — литературная школа; в состав этих факторов включается и тема. К объективным стилеобразующим факторам относятся: особенности адресата, контакт с адресатом (прямой и косвенный), продолжительность (размеры) высказывания: монолог — диалог, среда (обычное традиционно сложившееся стилистическое окружение того или иного языкового средства, а отсюда и его стилистическая характеристика), предмет высказывания, функция и цель высказывания, языковой материал (устная или письменная форма).

Опять-таки согласно чехословацкой традиции (в отечественной стилистике нет пока единства мнений по этому вопросу), Й. Мистрик р а з л и ч а е т понятия стилевого «слоя языка» (имеющихся в системе языка совокупностей стилистических средств одинаковой окраски) [11] и «речевых функциональных стилей» (стр. 91—96). Среди последних автор называет научный, публицистический, административный, к функциональным стилям он относит также художественный и разговорный. Отметим, что в системе стилей в качестве особого функционального стиля определяется и ораторский (при этом характеризуются и его жанры), в чем обнаруживается новизна этой классификации. Описание художественного стиля не ограничивается характеристикой его основных свойств и стилеобразующих факторов, наряду с другими вопросами сюда включен и вопрос о слое средств художественного стиля, а также — о соотношении эстетической нормы с нормой литературного языка.

Остановимся на том, как определяются в книге Й. Мистрика некоторые основные понятия стилистики (в частности, те, которые, к сожалению, не получили еще единого толкования), ее предмет и задачи исследования.

Прежде всего заметим, что стиль как лингвистическое понятие Й. Мистрик рассматривает как с п о с о б в ы р а ж е н и я информации в

[10] Кстати, в этом разделе автор останавливается на сложном вопросе интерпретации текста, в связи с применением разных методов, и предлагает различать понятия и термины «анализ» и «интерпретация».

[11] В нашей классификации этому соответствует понятие-термин «стиль языка» («языковой стиль»).

какой-либо области, связанной с человеческой деятельностью. При этом отмечается терминологическое и нетерминологическое употребление слова «стиль». К последнему относятся случаи применения этого слова в смысле: высокий, низкий, поэтический, официальный и т. п. «стиль». Терминологическим же оказывается использование этого слова применительно к тому явлению, которое обычно именуется функциональным стилем: научный, публицистический и т. д. В общем смысле, согласно точке зрения Й. Мистрика, с т и л ь — это способ выражения, который возникает благодаря целенаправленности выбора, закономерностям организации и использования языковых и тематических средств с точки зрения ситуации, функции, намерений автора (говорящего) и содержательных элементов высказывания (стр. 96). Конституционными компонентами стиля, по Мистрику, являются: выбор, организация и стилеобразующие факторы.

В отличие от определения функционального стиля, представленного в первом издании книги (стр. 84), приведенная дефиниция представляет более широкое понятие, поскольку (возможно, не без влияния трудов К. Гаузенбласа) в нее включено указание на тематические средства.

Проблемы стилистики нашли освещение и в трудах А. Едлички, в частности в монографии «Литературный язык в процессе современной коммуникации» [12], в докладе на Международном съезде славистов в Варшаве «Динамика современного литературного языка и его стилевая дифференциация» [13] и в других работах ученого.

В монографии вопросы стилистики рассматриваются в аспекте проблематики литературного языка как высшей интеллектуальной формы национального языка. Стилевая дифференциация языка анализируется в двух планах. Во-первых, в плане комплексно понимаемой динамики литературного языка в синхронии, в связи с чем рассматриваются различные стилевые пласты языка (прежде всего книжные и разговорные на фоне нейтральных); этот аспект смыкается с аспектом культуры речи (нормы и кодификации), а также — языковой коммуникации и, в частности, языковой ситуации. Здесь среди форм последней, характеризуемых на основе наличия оппозиционных пар (устная — письменная форма; прямой — непрямой контакт; монологический — диалогический вид высказывания и т. д.), отмечается и такая: стилистическая дифференцированность нормы — однофункциональность. Во-вторых, в аспекте проблематики стилевой дифференциации литературного языка (согласно традиции чехословацкой стилистики, но вместе с тем с известной модификацией), в связи с чем предлагается различение трех явлений: стилевой (коммуникативной) сферы, стилевого типа и стилевого слоя. С первым связываются стилеобразующие факторы (коммуникативные условия); со вторым — стилевым типом — совокупность стилистических норм, которыми руководствуются при построении высказываний в данной сфере; а под стилевым слоем — третье явление — понимается совокупность языковых средств, используемых в качестве специфических в данной стилистической области.

Большое значение в работе придается вопросу классификации функциональных стилей (иначе — стилевых типов). Отмечая частные различия у отдельных имеющихся классификаций функциональных стилей, А. Едличка справедливо отмечает почти полное сходство взглядов ученых при выделении основных функциональных стилей (т. е. стилевых

[12] A. J e d l i č k a, Spisovný jazyk v současné komunikaci, Praha, 1974.

[13] A. J e d l i č k a, Dynamika současného spisovného jazyka a jeho stylová diferenciace, «Československé přednášky pro VII mezinárodní sjezd slavistů», Varšava, 1973.

типов и одновременно стилевых слоев): специальный (научный), публицистический, разговорный, художественный, административный (деловой). Автор считает, что вполне закономерный особый интерес в последнее время к проблемам разговорной речи имеет, однако, и несколько негативную сторону, поскольку ведет к изолированному рассмотрению этой речевой разновидности. Очевидно, более плодотворным было бы изучение разговорных средств в оппозиции к книжным, т. е. в системе языка. В книгу включена глава и о стилях литературного произношения.

Привлекает к себе внимание совсем недавно появившаяся публикация И. Крауса «Введение в стилистику для работников научно-технической информации» [14]. Несмотря на небольшой объем этой книги и ее практическую направленность, она имеет несомненный теоретический интерес. Чисто практической части — описанию типичных языковых средств специального стиля (фонетических, лексических, грамматических), стилистических приемов, а также типичных жанров (с их образцами) — предпослана теоретическая, обзорного характера. В этой вводной части представлены основные направления в развитии стилистики как науки (I гл.) и дана характеристика функционального специального стиля с определением места его среди других функциональных стилей (II гл.).

Исходя из понимания предмета информатики как единства содержательной, языковой и стилистической сторон специального документа и из практической направленности издания, И. Краус понимает стиль не в статике, не как готовый результат стилистического процесса, но как процесс языкового общения, осуществляемый в единстве с сопровождающими его социальными условиями коммуникации. При этом предполагается возможность рассматривать языковое высказывание (текст) в различных аспектах: тематическом, жанровом, языковом и стилистическом.

Автор определяет с т и л ь — следуя чехословацкой традиции — как способ выбора и организации языковых и тематических средств языкового высказывания. При этом подчеркивается связь стиля с фактором общественной практики как объективным стилеобразующим, — по словам автора, всегда занимавшим важное место в стилистике (стр. 7), что представляется нам одним из весьма плодотворных положений книги. Структуру стилистики И. Краус, как и Й. Мистрик, представляет в двух аспектах: 1) изучение языковых высказываний, в том числе функциональных стилей и 2) состава языковых средств, из которых формируются эти высказывания.

Несомненный интерес для советского читателя представит и практическая часть пособия, в которой, кстати, представлена оригинальная классификация внутристилевого расслоения языка и отношения специального (научного) стиля к другим стилям. Кроме того, в книге дана довольно развернутая характеристика жанровой дифференциации того же функционального стиля (специального). Эти вопросы приобретают в наше время особенно большое значение в связи с развитием научно-технического прогресса.

Завершая обзор чехословацких публикаций по стилистике, укомянем труд А. Стиха, посвященный скрупулезному текстологическому анализу ряда произведений чехословацких авторов XIX в. (в том числе Б. Немцовой) [15], в котором из собственно стилистических аспектов следует отметить наблюдения над особенностями использования лекси-

[14] J. K r a u s, Úvod do stylistiky pro informační pracovniky, Praha, 1977.

[15] S a b i n a — N ě m c o v á — H a v l í č e k. Textologický a stylistický příspevek k sporům o Sabinových zásazích do cizího díla, «Stylistické studie», III, Praha, 1976.

ки, фразеологии и образных средств языка. Кроме того,— ряд публикаций в журнале «Slovo a slovesnost» [16].

*

Если в ГДР еще десятилетие назад проблемы функциональной стилистики не имели широкого распространения и их освещение ограничивалось чуть ли не единственным пособием, в известной степени представляющем этот аспект [17], то к настоящему времени появился ряд интересных теоретических исследований в этой области. Сначала это были статьи в журналах и непериодических изданиях. Нельзя не упомянуть, например, рассмотрение вопроса определения стиля и классификации стилей в аспекте функциональной стилистики в статье В. Флейшера [18] и изучение проблем, связанных с характеристикой ряда основных понятий стилистики, Ю. Шарнхорстом [19].

Надо сказать, что активизация разработки функциональной стилистики в ГДР, несомненно, происходила под воздействием советской стилистики, в частности работ Э. Г. Ризель. Среди публикаций самых последних лет по стилистике выделяется монография В. Флейшера и Г. Михеля «Стилистика современного немецкого языка» [20], представляющая собой оригинальное и ценное исследование многих теоретических проблем стилистики, богатое фактическим материалом.

Одной из примечательных особенностей этого труда является четкость методологических позиций его авторов. Кстати, во вводной части книги с марксистско-ленинских позиций дается критика идеалистических в своей основе психолого-индивидуалистских концепций стилистики художественной литературы. В кратком очерке развития стилистики как научной дисциплины это развитие прослеживается от античности до наших дней. Ставится вопрос о соотношении стилистики и риторики, среди современных направлений стилистики называется дескриптивная, структуральная и другие разновидности стилистики. Однако главным направлением современной стилистики авторы считают функциональную стилистику. Во вводной же части рассматриваются вопросы соотношения стилистики с лингвистикой текста, а также с психолингвистикой, социолингвистикой и литературоведческой стилистикой, определяются предмет и задачи стилистики.

Во второй — также, собственно, теоретической части — дано определение речевого стиля, анализируются вопросы соотношения языка, речи и речевого стиля; стиля и семантики; стиля и экспрессивности; стилистической нормы; представлена дефиниция стилистического типа, иначе — функционального стиля; освещаются и другие вопросы.

Третий, четвертый и пятый разделы посвящены характеристике стилистических средств языка в соответствии с уровнями языковой системы. Особо выделяются стилистические фигуры и тропы (четвертый раздел) и конструкции надфразового характера, здесь, среди прочих, представлены: абзац, прямая речь, непрямая речь, внутренний монолог и другие

[16] См., например: J. Kraus, Rétorika — disciplína moderní, SaS, 1974, 2; его же, Jazyk a styl ve společenské interakci, SaS, 1975, 4; K. Hausenblas, Vysoký — střední — nízký styl a diferenciace stylů dnes, SaS, 1973, 1.

[17] См.: D. Faulseit, G. Kühn, указ. соч.

[18] W. Fleischer, Grundfragen der Stilklassifikation unter funktionalem Aspekt, «Wissenschaftliche Zeitschrift der pädagogischen Hochschule „Dr. Teodor Neubauer"», 2, Erfurt/Mühlhausen, 1970.

[19] J. Scharnhorst, Zum Problem der stilistischen Kategorien, там же,

[20] W. Fleischer, G. Michel, Stilistik der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig, 1975.

образования этого уровня. Заметим, что при характеристике стилистических средств различных языковых уровней авторы значительное место уделяют вопросам синонимии (лексической, морфологической, синтаксической).

Следующий — шестой — раздел посвящен проблеме классификации стилей. Последние рассматриваются в нескольких аспектах, в частности, выделяются актуальные для эволюции немецкого языка номинальный (субстантивный) и вербальный стили, особо рассматриваются экспрессивный стиль, а также — территориальные и социальные стилевые образования. Центральную проблему стилевой классификации авторы усматривают в проблеме дифференциации функциональных стилей. Среди последних называются — согласно чехословацкой и, в общем, советской традиции — научный, художественный, административный (директивный), публицистический (прессы и публицистики), повседневный (разговорный). В последних двух разделах монографии рассматриваются функциональные и стилистические вопросы текста, в особенности художественного. Обращает на себя внимание тот факт, что структура стилистики представляется авторам из ГДР во многом близкой стилистическим построениям ученых из Чехословакии. Думается, что это не случайно и весьма симптоматично. Нужно сказать, что не только структура стилистики как научной дисциплины, но и, в общих чертах, основные ее проблемы — и сам список этих проблем — также в достаточной степени близки у тех и других ученых (при наличии, конечно, расхождений в трактовке ряда — в основном, частных — вопросов).

Остановимся несколько более подробно на некоторых теоретических положениях монографии В. Флейшера и Г. Михеля.

Если в традиционном немецком языкознании (до сравнительно недавнего времени — см., например, труды Г. Зейдлера) объект и даже предмет стилистики ограничивался художественными текстами, то сейчас — в частности, и в названной выше монографии — предметом стилистики называется функционально обусловленное использование выразительных возможностей языка в различных сферах общения: в беллетристике, повседневном общении, публицистике, науке, официальной сфере (см. стр. 13). Кроме того, согласно точке зрения авторов книги, стилистика не ограничивается описанием стилистических средств в системе языка, так как она изучает дифференцированное применение этой системы в общественной практике. Кстати, вспомним, что еще в 20-е годы Г. О. Винокур называл стилистику наукой об употреблении языка [21].

Анализируя причины сужения предмета стилистики в концепциях ученых Запада, ограничивающихся эстетико-индивидуалистическими и психологическими в своей основе антиисторическими исследованиями художественных текстов, В. Флейшер и Г. Михель подчеркивают, что марксистско-ленинская философия, в отличие от буржуазной, представляет собой прочный теоретический фундамент для развития стилистики как науки об употреблении языка в различных сферах социальной деятельности и общения (стр. 14). Нет стилистики, свободной от идеологии, пишут авторы, так как разные общественные классы и социальные группы людей смотрят неодинаково на критерии использования языка; поэтому в соцстранах стилистика оказывается более единообразной по своей структуре и единой по идеологическим основам (стр. 14). Итак, главнейший предмет стилистики авторы видят в законо-

[21] См.: Г. Винокур, Культура языка, М., 1925; его же, О задачах истории языка, в кн.: «Избранные работы по русскому языку», М., 1959, стр. 221.

мерностях функционирования языковых средств в тексте, т. е. в особенностях употребления этих средств, обусловленных выбором, в зависимости от задач общения в той или иной его сфере (стр. 15). Причем этот выбор обусловлен не индивидуальными, а социальными факторами, так как индивидуальный фактор — это проявление социальной обусловленности. Соотнося предмет стилистики с уровнями языковой системы, авторы отмечают, что стилистика исследует не сами по себе фонетические, лексические, грамматические элементы языка, а их комбинации, их отношение к специфике коммуникативной ситуации, задачам общения и другим экстралингвистическим факторам. Сведение сущности стиля лишь к отдельным стилистически окрашенным элементам, разрушающее целостное его понимание, В. Флейшер и Г. Михель называют механистичным (стр. 52).

Функциональный стиль в монографии определяется весьма близко к чехословацкой традиции (ср. К. Гаузенблас, Й. Мистрик, И. Краус), но еще ближе — к советской, под ним понимаются способы применения языка, характерные для определенных сфер деятельности общества (политико-идеологической, научной, эстетической, бытового общения и др.). Весьма положительным моментом является то, что при определении функционального стиля и в вопросе классификации стилей настойчиво проводится аспект историзма стиля, который, как известно, особенно последовательно эксплицируется в советской науке (ср. труды В. В. Виноградова). Подчеркивается изменчивость как самого явления и понятия «стиль» в процессе развития языка и общества, так и системы стилей в разные периоды. В связи с этим в качестве весьма актуальных называется проблема воздействия научно-технической революции на функционально-стилевую дифференциацию языка и систему его стилистических средств.

Стиль как лингвистическое понятие (называемое авторами речевым стилем) [22] определяется В. Флейшером и Г. Михелем следующим образом: стиль — это характерным образом структурированное единство языковых явлений текста, которые выбираются говорящими как варианты выражения из ряда синонимических возможностей для реализации коммуникативной функции в определенной сфере деятельности (стр. 41).

В очерке развития стилистики, как и в современных чехословацких работах, отмечается, что корни стилистики восходят к античной риторике, так как и та и другая науки исследуют вопрос соответствия языкового выражения содержанию, намерениям говорящего и условиям коммуникативной ситуации. Таким образом, стилистику и риторику связывает прагматический аспект (стр. 18). Актуальность и практическая ценность обеих наук в настоящее время определяется тем, что язык — это орудие в обостренной идеологической борьбе.

При рассмотрении современных концепций стиля авторы особо выделяют плодотворность, перспективность и практическую значимость функциональной стилистики, отмечая, что теория функциональных стилей является фундаментом марксистско-ленинской лингвостилистики, так как в ее основе лежит глубокое общественное содержание (стр. 23—24). Причем, характеризуя советскую стилистику, авторы считают, что, несмотря на различие взглядов советских ученых по тем или иным вопросам, все же можно говорить об известном единстве советской стилистической науки, в которой теория функциональных стилей состав-

[22] Кстати, В. Флейшер и Г. Михель считают, что, понимая стиль как явление речевое, они следуют за советской лингвистикой (стр. 43); при этом *речь* определяется как речевой текст, а не речевой акт.

ляет «истинную марксистско-ленинскую стилистическую концепцию» (стр. 26) [23].

Дав глубокий критический анализ психолого-индивидуалистической концепции стиля Фосслера — Шпитцера, авторы переходят к характеристике современной дескриптивной лингвостилистики и отмечают ее односторонне-психологический аспект, подчеркивают некоторые негативные стороны этого направления стилистики. Последние им видятся, в частности, в том, что, в отличие от функциональной стилистики, дескриптивная стилистика (стремясь определить выразительную силу слова в художественном тексте) пытается описать языковую форму текстов в понятиях языковой системы (вскрывая при этом внутреннюю структуру текста). Явления же языкового применения описываются сами по себе, без отношения к их функции в тексте и коммуникативной ситуации. Не учитываются при этом и причинные связи между языковой системой и ее функционированием в определенном общественном окружении (стр. 31). Здесь игнорируется вопрос оценки текста с точки зрения соответствия языково-стилистических средств текста выражаемому ими содержанию. Этот анализ, при известных положительных моментах и достижениях, имеет, по мнению авторов, ограниченную ценность в теоретическом отношении, поскольку он недооценивает значения общественной обусловленности языкового употребления. В целом для дескриптивной стилистики — если отвлечься от многообразия оттенков ее отдельных направлений — характерно подчеркнуто внутриязыковая точка зрения на стиль: принятие стилистических ценностей в самой языковой системе и только в ней (при игнорировании коммуникативного аспекта в анализе стилистических явлений). Авторы отмечают, что некоторые исследователи этого направления исходят из тезиса, что стиль вообще присущ языковой системе и что его сущность заключается в использовании языковых средств различных уровней в целях выразительности, т. е. что язык держит наготове систему стилистических средств (стр. 32). Такая концепция представлена, в частности, в трудах Э. Винклера, В. Шпитцера, Г. Зейдлера. Итак, понимание дескриптивистами стилистического факта ограничивается лишь внутриязыковым аспектом. Положительное как будто бы стремление описать понятие стиля в терминах языковой системы (а не в субъективно воспринимаемых и интерпретируемых психологических понятиях, как у представителей индивидуалистски-эстетической концепции Фосслера — Шпитцера), по справедливому заключению В. Флейшера и Г. Михеля, оказывается недостаточным для определения сущности стиля. Понимание последнего невозможно без учета коммуникативной ситуации и обусловленности общения социальной деятельностью человека (стр. 33).

Стилистические концепции структурализма оцениваются авторами монографии с позиций принципа: «как только переоценивается формализация языковых явлений, мы имеем дело со структурализмом как буржуазной идеологией, который теоретически связан с неопозитивизмом» (стр. 34). Авторы говорят о том, что попытки анализировать стиль с точки зрения идей Хомского и генеративной грамматики не увенчались успехом, так как стиль рассматривался при этом очень узко: как отступление от нормативных явлений языка. Поэтичность в формально-структурном смысле понимается как сознательно образованные аграмматические предложения, с позиций которых может быть объяснено воздействие на читателя художественных текстов — принцип остранения. Между

[23] О развитии советской стилистики см. еще: J. Scharnhorst, Zur Entwicklung der sowjetischen Stilistik, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 2, Berlin, 1975.

тем это явление (о котором, как известно, говорили еще «русские формалисты») оказывается лишь одним из признаков художественного текста и, по-видимому, не главнейшим. Флейшер и Михель отмечают, что генеративная грамматика не предложила существенных работ по стилистике нехудожественных текстов (публицистических, деловых, научных), поскольку к ним теория аграмматичности почти неприменима (стр. 34). Структуральное понимание стиля несостоятельно, по мнению авторов, еще и потому, что простейшие ядерные предложения (отступления от которых рассматриваются как стилистическая маркировка) не могут считаться вообще стилистически немаркированными, так как, например, в художественных текстах они способны стать доминирующим стилистическим признаком (стр. 35). Неконструктивность стилистической концепции генеративной грамматики вытекает, как и в случае с дескриптивной стилистикой, из игнорирования последней значимости для стиля проблем социальной обусловленности языка и коммуникативных задач общения (стр. 35).

Рассматривая соотношения между стилистикой и некоторыми другими гуманитарными, в том числе лингвистическими, дисциплинами, В. Флейшер и Г. Михель отмечают тесную связь стилистики с социолингвистикой, но указывают, что эти дисциплины различаются предметом исследования. В поле зрения социолингвистики находится прежде всего общественное расслоение самой системы языка (в форме литературного, территориального и социального диалектов, групповых и специальных языков и т. д.), стилистика же занимается речевым актом и его фиксацией (текстом), проблемами выбора и организации языковых высказываний (стр. 39). Заметим, что представленное здесь решение этого вопроса нетождественно решению его чехословацкими учеными (например, И. Краусом) [24], которые социолингвистику понимают шире (как междисциплинарную область), не ограничивая ее интересы традиционно сложившимися вопросами. Согласно этой точке зрения, социолингвистика как бы переплетается с функциональной стилистикой; причем последняя «питает» социолингвистику как один из ее источников.

Также несколько иначе, чем в чехословацкой школе (в частности, у Й. Мистрика), рассматривается немецкими учеными вопрос о взаимодействии лингвостилистики и литературоведческой стилистики. Например, лингвистическое толкование текста не мыслится авторам монографии возможным вне связи с идейно-художественной сущностью произведения и вообще — с эстетической функцией искусства. При этом делается ценное замечание, что при лингвостилистическом анализе и нехудожественных текстов (научных, агитационных и др.) необходим учет специфики предмета соответствующих этим сферам общения видов деятельности, без чего конкретные исследования и выводы не являются научно состоятельными (стр. 40). Заключая рассмотрение вопроса о соотношении понятий стиль в лингвистике и стиль в литературоведении, авторы считают, что в настоящее время нет такой самостоятельной дисциплины, как литературоведческая стилистика, хотя и в эстетике, и в литературоведении понятие литературоведческого стиля занимает важное место. Авторы полагают, что понятие «литературоведческий стиль» шире лингвистического понятия «стиль», однако последнее в известном смысле и шире первого: оно относится не только к художественным текстам, но и нехудожественным (стр. 40). Таким образом, стилистика не должна ограничиваться «кооперацией» лишь с эстетикой и литературоведением, она дол-

[24] См., например: И. К р а у с, К пониманию социолингвистики в Чехословакии, в кн.: «Социально-лингвистические исследования», М., 1976.

жна вносить свой практический вклад не только в изучение эстетической сферы общения, но и других сфер.

Не совсем идентично ученые ГДР и Чехословакии относятся к оценке математических методов в стилистике. Если В. Флейшер и Г. Михель, признавая целесообразность использования этих методов в стилистических исследованиях, отводят им вспомогательную роль (стр. 35), то чехословацкие ученые — Й. Мистрик, И. Краус и др.,— напротив, придают им большое значение. Так, в названной книге Й. Мистрика утверждается, что в стилистике — даже и при изучении художественных текстов — эффективны методы математической статистики; причем применение точных методов квалифицирует то или иное конкретное исследование именно как лингвостилистическое (а не литературоведческо-стилистическое; см., например, стр. 34—35).

Можно было бы назвать еще ряд немецких (ГДР) работ по стилистике, в частности, исследования по научному стилю и другим специальным языкам, в которых наряду с традиционными находят применение и квантитативные методы [25], но мы остановились на труде более общего характера и теоретической направленности.

*

Иногда говорят о том, что стилистика — еще далеко не сложившаяся наука, в которой до сих пор нет единства мнений, общепринятых определений даже основных понятий и категорий, не ясна ее структура, что она представляет собой чуть ли не конгломерат противоположных, порой схоластических суждений. В этом, конечно, много преувеличений. Думается, что даже беглый анализ приведенных в этом обзоре трудов по стилистике наших зарубежных коллег из социалистических стран опровергает это мнение. Нетрудно заметить, что в представленных здесь работах ученых из разных стран, хотя и отличающихся трактовкой отдельных понятий и вопросов (преимущественно частного характера), гораздо больше общего. Общим и близким в своей основе (несмотря на различия в терминологии) оказывается понимание функционального стиля как главного объекта стилистики, связываемого с особенностями функционирования языка, обусловленными ситуацией общения в различных сферах деятельности, а также — трактовка таких вопросов, как структура стилистики, предмет и задачи этой дисциплины, классификация стилей, объективные стилеобразующие факторы, отношение стилистики к другим лингвистическим дисциплинам и ряд других.

[25] См., например: L. H o f f m a n n, Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung, Berlin, 1976.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

РЕЦЕНЗИИ

С. М. Хайдаков. **Система глагола в дагестанских языках** (на материале аварского, арчинского и цахурского языков). — М., «Наука», 1975. 276 стр.

С полным основанием можно отметить усиление интереса за последние годы к сравнительно-историческому и сравнительно-типологическому изучению дагестанских языков. Свидетельством этого является выход в свет рецензируемой книги С. М. Хайдакова, представляющей собой первую попытку сравнительно-типологического исследования системы глагола ряда дагестанских языков, соотнесенных с разными генетическими подгруппами. Во «Введении» (стр. 3—10) автор, опираясь на предшествующую в области сравнительно-типологических исследований традицию, определяет методику и задачи исследования. Он справедливо полагает, что сочетание в работе по группе родственных языков, какими являются дагестанские, генетического и типологического аспектов исследования будет способствовать более полному выделению набора основных дифференциальных признаков, характерных для их глагольной системы в целом.

В первой главе (стр. 11—36) подробно рассматриваются вопросы дагестанского глагольного словообразования в их соотношении с именами. Такой подход оправдан тем, что ряд способов как глагольной, так и именной деривации имеет генетически единый источник и позволяет более отчетливо выявить многообразные словообразовательные процессы в дагестанских языках. Автор приходит к мысли, что основными способами словообразования здесь являются основосложение и аффиксация, а частными — транспонирование и конверсия. Выделены наиболее характерные модели производства сложных слов. Заслуживает внимания тезис автора о том, что «в тех дагестанских языках, в глаголе которых не получил развития префиксальный способ словообразования, главным является способ словосложения» (стр. 14). Уделено внимание и редупликации, довольно редко затрагиваемой в дагестановедческих исследованиях.

Выделены две модели аффиксации — префиксальная (превербальная) и суффиксальная. На значительном материале ряда дагестанских языков С. М. Хайдакову удалось отобразить все наиболее характерное в образовании местных падежей и превербов. Прочно обосновывается утверждение, что «образование синтетических форм местных падежей в именной парадигматике произошло раньше, чем образование специальных форм с локальными и направительными превербами в глагольной парадигматике» (стр. 20). Далее прослежены процессы образования превербов. Служебные морфемы, выражающие локальные и направительные отношения, в парадигматическом ряду глагола являются словообразовательными, тогда как в парадигматическом ряду имени они остаются словоизменительными. Развивается известная в кавказоведении мысль о вторичности синтетических форм как глагольного, так и именного словообразования. В то же время автор справедливо замечает, что происхождение глагольных и именных форм с локальными аффиксами нельзя целиком объяснить процессом грамматикализации аналитических форм. Отмеченные процессы с выявлением общих и частных сторон генетического и типологического плана прослежены на обширном материале ряда дагестанских языков. В частности, устанавливается, что в языках их «западного» ареала отсутствуют глаголы с локальной и направительной семантикой: здесь отношение вспомогательных глаголов осталось на уровне свободного словосочетания.

В целом раздел «Словообразование» разработан на богатом материале, и ряд выдвинутых в нем положений представляет собой свежее слово в сравнительно-типологическом исследовании дагестанских языков.

Вторая глава (стр. 37—78) посвящена категориям способа действия и вида. Автор, строго отграничив категорию способа действия от вида (стр. 37), обратил специальное внимание на выявление элементов морфологической структуры глагола дагестанских языков, связанных с отражением характера действия. Эта глагольная категория отражает частотность действия: однократное (однофазное) действие противопоставляется многократному (многофазному) действию.

В свою очередь однофазное действие имеет два способа: один связан с достижением цели, другой — не связан с ним. Морфологическая реализация глагольных разновидностей акционсарта в даргинском, арчинском, цахурском и табасаранском языках обнаруживает локальные отличия. Так, например, в арчинском инлаутная позиция показателя класса (ПКл) является признаком однофазного действия (*э-в-кIу* «выбрал», *э-в-кIас* «выбрать»), а аналаутная позиция ПКл — признаком форм многофазного действия (*в-еркIур* «выбирает», *в-екIа* «выбирай»). В цахурском эти отношения осложнены преобразованием способа действия в вид, где примарная основа перфекта противопоставляется примарным основам презенса и императива. Итог этих наблюдений — вывод, что в дагестанских языках существуют только две соотносительные пары оппозиций. Одна из них непосредственно связана с противопоставлением однократного действия многократному, другая — с противопоставлением завершенного действия незавершенному. Первая пара оппозиций составляет категорию способа действия, а вторая пара — категорию вида.

Интересна мысль о том, что глаголы, не имеющие в морфологической структуре классных показателей, в арчинском стоят вне категории способа действия. Возможно, некоторые глаголы указанного разряда в плане диахронии являются в арчинском вербализованными, например, арчинскому глаголу *баьбус* «говорить» (*баьбу* «говорил», *баьбур* «говорит», *баьба* «говори») в цахурском соответствует аналитический глагол *гаьп-гьаъас* «говорить» (с оттеночным значением «говорить зло, недружелюбно»). Материальная и семантическая общность арч. *баьб-ус* и цах. *ваьп* очевидна.

Положение о том, что в арчинском «редупликация является исключительно способом образования форм несовершенного вида» (стр. 75), справедливо для структуры глагола многих дагестанских языков. Обращает на себя внимание и тот факт, что в арчинском редупликация более характерна для императива, менее — для презенса и совершенно не характерна для инфинитива и перфекта. Это явление имеет отличную реализацию даже в генетически близких языках (например, в цахурском, рутульском, крызском и будухском). Однако очевидным является то, что во всех языках презенс по семантике соотнесен с несовершенным видом, перфект — с совершенным. Осмысление остальных форм глагола обнаруживает расхождения. В частности, в арчинском императив явно тяготеет к несовершенному виду, а в цахурском, рутульском, крызском и будухском языках императив в глаголах с видовой парадигматикой, как правило, соотнесен с совершенным видом.

Третья глава (стр. 79—149) посвящена вопросам категории грамматического времени. С. М. Хайдаков справедливо отмечает, что более архаичное состояние в структуре глагола сохранилось в тех дагестанских языках, в которых не получило развития личное спряжение. В аварском, арчинском и цахурском языках подробно освещены как синтетические, так и аналитические формы времен глагола. Рассматриваются не только способы образования времен глагола, но и соотнесенность их с видовыми градациями в зависимости от наличия или отсутствия аффиксов акционсарта или редупликации корневой морфемы. Разграничены первичные и вторичные синтетические формы грамматических времен. В связи с этим высказано предположение, что в арчинском наиболее древними синтетическими формами времени являются презенс и перфект. Особый интерес представляет образование презенса в арчинском введением в корневую морфему большинства глаголов видового аффикса *-р*, а также размежевание перфекта и презенса в ряде глаголов посредством оппозиции $\emptyset \sim$ *-р* (аффикса), например, *бабцIу* «строгал», *бабцIу-р* «строгает». Это явление имеет аналогию в борчинско-хиновском диалекте рутульского языка, где в разграничении временных отношений наряду с другими (более поздними) средствами также участвует дифференцированное употребление детерминантов глагольной основы, ср.: *йихи-н* «ведя» (*йи-хин-аь* «ведет»), *йихи-р* «ведши» (*йи-хир инай* «вел»). В связи с этим целесообразно обратить внимание на существенные изменения глагольной основы в плане детерминации в ряде дагестанских языков.

Обстоятельно освещены вопросы образования синтетических форм времен глагола в цахурском. Прослежены точки соприкосновения в этом плане цахурского глагола с арчинским (к сожалению, в квалификации отдельных формантов в цахурском встречаются неточности). В изложении аналитических форм времен глагола в опорных для исследования языках значительное место отведено функционированию вспомогательных глаголов. В этом же разделе рассмотрены вопросы взаимосвязи подсистем времени и аспектуальности. Убедителен вывод автора о том, что времена опорной лексемы выражают как однофазное (футурум и перфект), так и многофазное (презенс и имперфект) действия, тогда как времена так называемой «синтагматической» лексемы выражают только одно действие — многофазное длительное (стр. 134).

Четвертая глава (стр. 150—174) посвящена категории класса, лица и числа. Категория класса в этом разделе не рассматривается (она в какой-то мере освещена в разных разделах книги). Здесь на материале табасаранского, лакского и

даргинского языков освещен генезис личного спряжения. Бесспорен вывод С. М. Хайдакова о том, «что личное спряжение в каждом языке развивалось самостоятельно, без какого-либо влияния другого генетически родственного языка» (стр. 154). Содержится здесь и этимологическая характеристика личных аффиксов, засвидетельствованных в исследуемых языках. Интересно мнение автора о том, что категория грамматического времени в табасаранском, лакском и даргинском языках, за редким исключением, имеет вербидное происхождение. Однако процесс вовлечения вербидов в систему глагола носит не всеобщий, а локальный характер. В целом вопросы личного спряжения разработаны автором достаточно удовлетворительно. Приходится все же сожалеть об отсутствии в исследовании материала по удинскому языку, а также о том, что не отмечены зачатки личного спряжения в цахурском (ср.: *зы уIхъаI-на* «я иду», *гъу уIхъаI-вор* «ты идешь», *шена уIхъаI-вор* «он идет»).

В пятой главе (стр. 175—178) рассмотрено образование форм повелительного и запретительного наклонений в опорных языках. В целом раздел написан удачно, однако в изложении ряда вопросов налицо некоторые неточности. Подлежит уточнению тезис о том, что в «императиве говоров цахурского языка Дагестана грамматическое число остается не выраженным» (стр. 175). Следует подчеркнуть, что грамматическое число в цахурском языке (во всех диалектах и говорах без исключения) в императиве выражается классными показателями. Элемент *-йын//-йин* передает просьбу, пожелание, ср.: ед. ч.— *а-кIн-е* (I, IV кл.), *а-йе-кIн-е* (II), *а-ва-кIн-е* (III) «уходи», *а-кIн-е-йин* (I, IV), *а-йе-кIн-е-йин* (II), *а-ва-кIн-е-йин* (III) «уходи же» («уходи, пожалуйста»); мн. ч.— *а-ва-кIн-е* (I, II), *а-кIн-е* (III, IV) «уходите», *а-ва-кIн-е-йин* (I, II), *а-кIн-е-йин* (III, IV) «уходите же» и т. д. Автором ошибочно отнесены детерминанты глагольной основы *-н*, *-л* к аффиксам императива.

Вербиды в цахурском, арчинском и аварском языках проанализированы в шестой главе (стр. 179—190). Здесь автору также удалось сделать ряд интересных наблюдений. В частности, заслуживает внимания вывод о том, что в цахурском дистрибутивные формы причастий, выражающие футурум и перфект, отражают пережиток тех ранних эпох в развитии языка, когда господствовала большая лабильность частей речи (стр. 181). Здесь же устанавливается, что арчинское причастие, в отличие от цахурского и аварского, монофункционально, так как оно выполняет функцию атрибута и не является компонентом временной аналитической формы (стр. 183). К сожалению, и в этом разделе встречаются отдельные неточности [в частности, цах. *-хъ* (ед. ч.) и *-кI* (мн. ч.) отнесены к обычным формантам числа, не разграничены глаголы детерминативных и недетерминативных основ].

Седьмая глава (стр. 191—250) посвящена узловым вопросам морфологической структуры глагольных основ. Здесь впервые основательно проанализированы способы образования глагольных форм в опорных языках. Большой методической удачей является выделение общего и локального альтернанта основы. В аварском языке все словоизменительные аффиксы следуют за альтернантом, что подтверждает и обобщенная схема образования глагольных форм в аварском языке. В образовании глагольных форм в арчинском и цахурском языках обнаружено много общего как в типологическом, так и генетическом плане. Эта общность была бы еще более очевидной, если бы автор в образовании глагольных форм дифференцировал функциональную нагрузку детерминантов, восходящую к более древнему состоянию языка. В целом вопросы образования глагольных форм в арчинском и цахурском также разработаны достаточно подробно.

Корневой морфеме в аварском и арчинском языках посвящена восьмая глава (стр. 251—258). В синхронном плане выявлены основные типы фонологической структуры корневой морфемы. Удачным представляется введение автором в дагестановедение понятия «тяжелого корня». Прослежены несовпадающие модели тяжелого корня в аварском и арчинском языках. Потенциально термин может быть использован и в диахроническом аспекте.

В «Заключении» (стр. 259—271) обобщены результаты исследования. Многие выводы и положения оказываются не локальными, т. е. вытекающими лишь из анализа системы глагола аварского, арчинского и цахурского языков, а затрагивающими систему глагола в дагестанских языках в целом. Обоснованными являются положения о том, что фундаментальные черты в системе глагола дагестанских языков являются общими, хотя сумма расхождений частного порядка довольно велика. Установлено, что локализация аффикса в основе служит весьма продуктивным способом словоизменения дагестанского глагола и является основным в образовании категории способа действия. Выявлены различные альтернанты глагольных основ в дагестанских языках. Показано, что в корневые морфемы глагольных лексем в качестве дистинктивных элементов входят не все фонемы и т. д.

Недостатком работы нам представляется некоторая нечеткость в систематизации исследования, так или иначе проявляющаяся в неравномерном охвате проблематики (это особенно касается рассмотрения морфологической категории класса). Возможно, она выиграла бы,

если бы роль одного из опорных языков исследования была отведена не арчинскому, а даргинскому. На наш взгляд, вывод автора о том, что «степень генетического родства дагестанских языков выражена значительно слабее, чем степень их структурного сходства» (стр. 259), может оказаться неокончательным. Эти, равно как и уже перечисленные частные недостатки рецензируемого труда, не способны изменить общего положительного о нем впечатления.

Книга С. М. Хайдакова «Система глагола в дагестанских языках», богатая содержанием, насыщенная фактическим материалом не только опорных для исследования, но и ряда других дагестанских (особенно лакского, даргинского, табасаранского) языков, вносит заметный вклад в изучение дагестанских языков. Кавказоведение получило серьезную работу, многие выводы и положения которой с большой пользой могут быть использованы в сравнительно-типологических исследованиях и более широкого плана.

Ибрагимов Г. Х.

«Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение». Под редакцией академика В. И. Борковского. — М., «Наука», 1978. 447 стр.

Публикация нового труда по историческому синтаксису — значительное событие в области изучения исторической грамматики русского языка. Рецензируемая книга представляет собой монографию, подготовленную коллективом авторов под руководством В. И. Борковского и опубликованную под его редакцией. Это продолжение ряда исследований по сравнительно-историческому синтаксису восточнославянских языков, выполненных сотрудниками сектора сравнительно-исторического изучения восточнославянских языков Института русского языка Академии наук СССР.

Монография посвящена более детальному изучению одного из славянских языков — русского — и представляет собой первый том исторического синтаксиса русского языка, содержащий характеристику простого предложения.

Авторами разделов книги являются В. И. Борковский («Определенно-личные предложения», «Неопределенно-личные предложения», «Отрицательные предложения»), В. Л. Георгиева («Безличные предложения»), Л. А. Глинкина («Подлежащее»), Л. Е. Лопатина («Именное сказуемое», «Второстепенное сказуемое»), З. Д. Попова («Употребление падежей»), Г. Н. Прокопович («Глагольное сказуемое»), А. М. Сабенина («Неполные предложения», «Номинативные предложения», «Конструкция с именительным падежом прямого объекта». «Дательный самостоятельный»), В. З. Санников («Согласованное определение»), В. И. Чагишева («Вторые косвенные падежи»). Закрепление разделов за данными авторами не случайно и связано с направлением их исследований.

Монография охватывает развитие русского синтаксиса с XI по XVII в., т. е. древнерусский и старорусский периоды. К развитию синтаксиса дописьменной эпохи авторы не обращаются, считая характеристику его особой задачей. В качестве источника монографии использована картотека текстов, извлеченных из памятников письменности XI—XVII вв. Большим достоинством книги является привлечение материала из не использованных ранее памятников. Особенно важно обращение к памятникам, изданным Институтом русского языка АН СССР за последние годы, так как эти издания удовлетворяют требованиям лингвистических исследований: «Синайский патерик» (М., 1967), «Изборник 1076 г.» (М., 1965), «Успенский сборник XII—XIII вв.» (М., 1971) и др. В число источников входят памятники письменности различных жанров.

Монография богато иллюстрирована примерами, что делает ее особенно ценной.

В работе, по возможности, определяется хронология явлений языка, устанавливаются синонимические конструкции, степень их употребительности, возможность вытеснения одних другими. Авторы стремятся разграничить русские и старославянские синтаксические черты, определить влияние старославянского синтаксиса на русский. Не обращаясь к праславянскому периоду, авторы монографии все же пытаются установить исходный синтаксический строй для XI в. и определяют, что осталось в нем от прошлого. Попутно с изложением истории русского языка в отдельных моментах привлекаются сведения из других славянских языков.

Чрезвычайно ценной стороной монографии, отличающей ее от различных грамматических курсов и пособий, является возможно полное освещение истории

вопроса, привлечение богатой библиографии. Это свидетельствует об уважении авторов к научному наследию, что следует считать принципом развития науки, и дает возможность проследить становление той или другой теории.

Особенно выделяются в этом отношении разделы, написанные В. И. Борковским, Е. Н. Прокопович и Л. А. Глинкиной. Так, систематически привлекаются широко известные труды крупных исследователей исторического синтаксиса: Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, А. А. Шахматова, С. П. Обнорского, Л. П. Якубинского, Е. Ф. Карского, Л. А. Булаховского, С. Д. Никифорова, Т. П. Ломтева и др., а также редактора данного исследования В. И. Борковского.

Только в отдельных случаях библиография является недостаточно полной. Мы высказываем сожаление о том, что при характеристике связочных и бессвязочных конструкций не были привлечены труды С. П. Обнорского, Т. П. Ломтева, А. А. Шахматова, Л. А. Булаховского, которые обойти при изложении данного вопроса невозможно. Вместе с тем в работе использованы новейшие труды по историческому синтаксису в виде диссертаций, статей, монографий по тем или другим вопросам и рассматриваются спорные и противоречивые точки зрения.

Принципиально важной стороной книги, с нашей точки зрения, является разграничение периодов развития исторического синтаксиса на древнерусский и старорусский.

Во всех разделах монографии выявляются архаические черты, намечается хронология развития синтаксических явлений, а также определяется степень употребительности конструкций по отношению к синонимическим (см., например, раздел «Безличные предложения», подготовленный В. Л. Георгиевой). Также целесообразно и обращение к материалам старославянского языка (в этом отношении особенно выделяются разделы, подготовленные З. Д. Поповой «Употребление падежей», Л. М. Сабениной «Дательный самостоятельный»). Сопоставление со старославянским языком помогает выявить не только степень воздействия старославянской традиции на русский литературный язык, но и установить общие для славянских языков конструкции, отразившиеся в более раннюю пору в старославянских памятниках. Четкое разграничение старославянских (древнеболгарских), русских и общеславянских явлений было бы специальной задачей.

В работе привлекается, если позволяют опубликованные источники, диалектный материал Так, в этом отношении можно отметить разделы· глагольное сказуемое, согласование сказуемого с собирательными существительными в функции подлежащего, определенно-личные предложения отрицательные предложения и др.

Обращение к диалектному материалу имеет существенное значение для разграничения книжных и живых разговорных явлений языка, с одной стороны, и как к источнику исторического синтаксиса, с другой, так как в диалектах сохраняются архаические явления Авторы, однако, указывают, что «нельзя считать исчерпывающими и наши сведения по синтаксису русских диалектов, темпы накопления материалов не обеспечивали и пока не обеспечивают разработку вопросов истории синтаксического строя русских говоров как целостной системы, не позволяют создать обобщающий труд по синтаксису русских говоров хотя бы только в синхронном плане» (стр. 5).

Привлечение многообразных памятников письменности позволило авторам определить и жанрово-стилистические особенности употребления конструкции. Так, в разделе «Определенно-личные предложения» В. И. Борковский отмечает: «Постановка личного местоимения при формах повелительного наклонения всегда вызвана стилистическими причинами» (стр. 195). В разделе «Безличные предложения» относительно безличных конструкций с винительным падежом объекта В. Л. Георгиева пишет: «Обращает на себя внимание та особенность, что подобные конструкции чрезвычайно редки в деловой письменности. Это, по-видимому, объясняется двумя причинами: во-первых, нехарактерностью для самой тематики таких памятников отражания явлений, которые в речевой практике могли представляться в качестве непроизвольных, и, во-вторых, большей категоричностью и определенностью выражения в языке документов источника действия» (стр. 238). Таким образом, в данной монографии мы найдем материал и для истории стилистического синтаксиса.

Рецензируемая книга характеризуется относительным единством в связи с общей установкой на широкий круг источников, использованных всеми авторами, благодаря богатым иллюстрациям из них, достаточно полной библиографии во всех разделах, детальной классификации материала. Последнее следует подчеркнуть в связи с тем, что именно в результате выявления в ряде случаев новых особенностей конструкций, которые ранее не отмечались в лингвистической литературе, книга приобретает новое значение, дает новые обобщения. Собственно, более детальной разработке подверглись многие разделы: способы выражения подлежащего, выражение именного и глагольного сказуемого, второстепенное сказуемое и др.

Заслуживает одобрения включение в обобщающий труд по историческому синтаксису раздела «Согласованное определение», так как согласованному определению в исторических учебных курсах уделялось мало внимания К сожалению, несогласованное определение не получи-

ло специального освещения в книге, и характеристика его затрагивается при сопоставлении с согласованным определением и в разделе «Употребления падежей». Таким образом неполно дается характеристика системного развития всех конструкций с определительным значением и процесса дифференциации при их развитии. Конечно, эта характеристика может быть восполнена привлечением других трудов, но в обобщающей работе по историческому синтаксису этот раздел был бы уместен.

Как это видно из предыдущего изложения, «лицо» каждого автора в книге все же чувствуется. Оно сказывается в различном использовании источников и сопоставлений (со старославянским языком, диалектами), в принципе классификации материала. Что касается последнего, то для одних авторов исходным принципом служил семантический (раздел «Употребление падежей», подготовленный З. Д. Поповой), для других — формально-грамматический (характеристика безличных предложений В. Л. Георгиевой и др.).

Однако от большой монографии, подготовленной различными авторами с их сложившейся системой научного анализа, требовать полного единства частей, видимо, и невозможно. Тщательная продуманность и научная обоснованность выводов позволяют не придавать существенного значения отсутствию полной идентичности изложения разделов.

Благодаря привлечению большого фактического материала авторам удалось иначе осветить уже известные из предшествующих исследований факты, например:

1. Более полно и обобщенно излагается раздел о способах выражения подлежащего: субстантивация местоимений, прилагательных, причастий функционирование инфинитива в роли подлежащего (позднее употребление его в функции подлежащего объясняется происхождением из дательного падежа при номинативном строе), местоименно-выделительных сочетаний и др.

2. В разделе «Именное сказуемое» интересны наблюдения над стилистическим разграничением связочных и бессвязочных конструкций, раздел «Второстепенное сказуемое» изложен полно и всесторонне.

3. Отметим характеристику конструкций, включающих определение к притяжательному согласованному местоимению (*на мое Царево и Великого князя имя*), которые возместились в современном русском языке другими конструкциями.

4. Приведены очень интересные материалы относительно неопределенно-личных предложений с главным членом, выраженным глаголом 3 л. ед. ч.

5. Впервые так подробно и тщательно описаны неполные, номинативные, отрицательные предложения.

6. Интересна характеристика ряда предложно-падежных форм (творительный одушевленного орудия, второстепенного участника действия).

7. Очень полно и разносторонне описаны конструкции с именительным объекта, дательным самостоятельным. При этом определены причины утраты данных конструкций и т. д.

В полезной и содержательной коллективной монографии наблюдаются некоторые спорные толкования отдельных проблем и вопросов, а также недочеты, не имеющие существенного значения.

1. При характеристике связи сказуемого с подлежащим, выраженным собирательным существительным, автор раздела допускает противоречивые формулировки, считая возможным говорить о согласовании сказуемого с подлежащим и о согласовании подлежащего со сказуемым (и даже с определением, стр. 33, 34, 35). Например, на стр. 34 читаем: «Составное именное сказуемое при собирательных именах в подлежащем несколько отличалось от глагольного по характеру согласования. Если оно было выражено кратким действительным причастием без связки, то обычно согласовалось с собирательным существительным в м. р. мн. ч. и. п.». С другой стороны, находим: «Разрушению старой нормы способствовала также ее непоследовательность, проявлявшаяся: 1) в разных структурных и тематических группах собирательных существительных (со значением совокупности лиц или нелиц; с исконно собирательным или контекстуально собирательным значением); 2) в неодинаковых формах их согласования со сказуемым, с одной стороны, и с определением — с другой. . .» (стр. 35).

Очевидно, в этом сказалась боязнь преувеличить роль подлежащего в предикативном сочетании главных членов предложения.

2. Трудно согласиться с тем, что форма именительного падежа подлежащего определяется характером сказуемого и типом предложения (стр. 30). Там, где подлежащее существует, оно соответствует номинативному строю предложения. Там, где оно отсутствует, именительный падеж подлежащего не может определяться типом предложения.

3. В разделе «Второстепенное сказуемое» не совсем точной нам представляется следующая формулировка: «З н а ч е н и е аппозитивного причастия в предложении на протяжении рассматриваемого периода русской письменности постепенно изменялось от обособленного определения к обстоятельству» (стр. 107).

Аппозитивное причастие, видимо, не имело чисто атрибутивной функции и тяготело к подлежащему и сказуемому, представляя собой совмещенную категорию.

4. Полагаем, что повторение предлога при определяемом слове и определении не является выражением только согласования. В этом случае имеет место и параллельное (паратаксическое) управление, что связано с большей самостоятельностью согласованного определения.

5. К сожалению, в рецензируемой монографии не затрагивается вопрос о паратаксисе как одном из этапов развития синтаксических конструкций в сфере простого предложения, при котором возникновение смысловых связей еще не завершилось их формальной организацией (в этом случае развитие содержания предшествует развитию формы).

6. Полагаем, что предикативность вторых косвенных падежей сказывается не только в восполнении сочетаемости глаголов речи (стр. 119—120), но и в отношении к первому падежу, т. е. предикативность наблюдается и в сфере второстепенных членов предложения (косвенная предикативность).

7. В числе замен вторых косвенных падежей отсутствует характеристика конструкции «*за* + винительный падеж» (см. Т. П. Ломтев, «Очерки по историческому синтаксису русского языка», М., 1956, стр. 219), которая имела место в русском языке («*за* + существительное» на месте второго винительного, кстати, широко употребляется, например, в болгарском языке).

8. В отдельных случаях (очень редких) наблюдаются неудачные примеры (например, стр. 237).

Указанные нами недочеты не снимают ценности рецензируемой монографии, которая представляет собой оригинальное исследование, хорошо документированное и оформленное.

В заключение следует сказать, что монография значительно продвигает вперед изучение исторического синтаксиса русского языка. В ней дается обобщенная характеристика развития синтаксического строя русского языка с начала письменного периода до XVII в., на протяжении которого была подготовлена синтаксическая система современного русского языка. Авторам монографии удалось показать становление этой системы.

Во всех разделах книги можно найти почти исчерпывающую характеристику основных проблем исторического синтаксиса, полное освещение истории вопроса, богатый иллюстративный материал.

Книга принесет большую пользу лингвистам, читающим синтаксические курсы в вузах, студентам-филологам, другим специалистам по историческому синтаксису.

Собинникова В. И.

В. И. Максимов. **Структура и членение слова.** — Л., изд-во ЛГУ, 1977. 147 стр.

Как известно, словообразовательная теория и описание словообразовательных моделей и словообразовательной системы интенсивно исследуются советскими языковедами, особенно специалистами в области русского языка. Показательно, что почти одновременно, в 1977 г., были опубликованы три монографии: «Структура и членение слова» В. И. Максимова, «Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания» В. В. Лопатина, «Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания» И. С. Улуханова.

Выход этих книг еще раз показывает успехи советской русистики. Вместе с тем литература по словообразованию обнаруживает, что многое остается спорным в лексико-грамматической интерпретации производной лексики, изучении механизма разрушения былых и появления новых лексико-грамматических связей в процессе словопроизводства, объяснения соотнесенности (синхронной и диахронной) производной и производящей основ. Отсутствует единый подход к задачам и объекту словообразовательного анализа. Расхождения в оценке средств деривации и словосложения с какой-либо стороны, семантической, формальной или дистрибутивной, смещение словообразовательного анализа с морфемным и этимологическим, предпочтение синхронного подхода диахронному (с ориентацией на синхронное осмысление фактов и процессов) — все это в какой-то мере усложняет разработку проблем русского словопроизводства.

Монография В. И. Максимова выделяется в словообразовательной литературе постановкой и определенным решением принципа историзма: в ней ставятся и решаются актуальные вопросы, связанные с историческим изучением структуры и состава слова, намечается новое направление диахронического словообразования; интересно интерпретируется отношение между словообразовательным анализом и морфемным. Во многом рецензируемый труд развивает идеи ранее вышедшей его монографии — «Суффиксальное словообразование имен существительных в русском языке» (Л., изд-во ЛГУ, 1975). И все же перед нами оригинальное исследование с особыми авторскими задачами: а) раскрыть понятия словообразова-

тельной структуры, показать исторические изменения в ее компонентах, выработать их типологию, описать разновидности структуры с синхронной точки зрения; б) выяснить сходство (различие) и причинно-обусловленные связи между словообразовательным и морфемным анализом; в) разъяснить принципы словообразовательного анализа, квалифицировать доказательную силу принципа историзма в словообразовательных исследованиях.

В соответствии с задачами книга членится на главы: «Структура слова» (стр. 5—40), «Методы словообразовательного анализа» (стр. 41—78), «Принципы словообразовательного анализа» (стр. 79—144), имеет небольшое «Предисловие» (стр. 3—4) и вполне самостоятельную, но неоформленную в главу часть «Принципы анализа иносистемных слов», состоящую из «Анализа иноязычных слов» и «Анализа диалектных по происхождению слов».

Первую главу В. И. Максимов начинает с критического рассмотрения взглядов на структуру слова. Критикуя морфологическое понимание структуры, автор отличает структуру и состав слова. Под первой, как полагает В. И. Максимов, следует понимать «с и с т е м у производящих основ и словообразовательных, а также формообразующих аффиксов в их хронологической и смысловой последовательности» (стр. 11), под второй— «. . . с и с т е м у морфем в их отношении друг к другу в хронологическом и смысловом планах» (стр. 10). Только при таком различении, согласимся с автором, можно научно объяснить механизм словопроизводства. Слова образуются не простым сложением морфем, а от имеющихся уже в языке слов, выступающих здесь в виде производящих основ, посредством присоединения к ним словообразовательных и формообразующих элементов. Структура производного при этом нередко не совпадет с его основой. Со стороны морфологического членения, например, состав слов *раз-дел-Ø* (Ø — здесь нулевая флексия), *раз-вод-Ø*, с одной стороны, и *пра-дед-Ø*, *пра-внук-Ø*, с другой, одинаков. Что же касается структуры слов, то этого сказать нельзя. Первые два слова соотносятся с глаголами (*развод* < *разводиться*, *раздел* < < *разделить*), вторые — с существительными (*пра-дед* < *дед*, *правнук* < *внук*). Состав слова синхронен, структура слова диахронна.

Углубляя эту мысль, автор выделяет два рода диахронных перемен в производящей основе, словообразовательных и морфообразующих аффиксах — изменения внешние и внутренние, разрабатывает их типологию. Внешние изменения могут выражаться в трансформации — компонент исторически изменился параллельно аналогичным его изменениям в других образованиях (*дира*, *дыра* из **dora*, **dira*); деформации — компонент изменился только в этом производном (*калач* < *коло*, *голавль* < *голова*); транскацентации — компонент изменил свою акцентную характеристику (*крутизна́* < < *крути́зна*); трансаффиксации — на базе имеющихся аффиксов возникают звуковые комплексы, которые совпадают с функционирующими в языке аффиксами: если с суффиксами — имеем дело с трансуффиксацией (структуры *мужчина* и *женщина* часто сближают с *муж* и *жена*, что неверно, так как в действительности они восходят к прилагательным на *-ск*), если с флексиями — с трансфлектацией; декомпонизации — компонент перестает осознаваться как самостоятельная языковая единица (*гижина*, *о комина*, *верь*); замещении — компонент структуры оказывается замещенным другим. Не беремся утверждать, что каждое из этих явлений выделено впервые. Если подойти к ним с морфологической точки зрения, то в декомпонизации, очевидно, угадываются результаты процессов опрощения, в замещении — народной этимологии, в трансформации — аналогии. Автор, однако, прослеживает не морфологическую, а словообразовательную историю, и это дает ему право вводить новые понятия и термины в обиход.

Подобное прослеживание позволяет ему установить, действительно ли данный компонент участвовал в образовании слова или это остаточный смысловой комплекс, который хотя и вычленяется сейчас в слове, но не участвовал в словопроизводстве, не имеет обобщенного значения, не свойствен группе однородных слов (таковы сегментемы типа *стеклярус*). В отличие от внешних, внутренние изменения в словной структуре могут заключаться в «трансстиляции» — компонент становится носителем экспрессивно-стилистических свойств (*купчиха* разг <нейтр. *купчиха*); трансмоделяции — компонент структуры получает новые словообразовательные связи (*поросята*: *поросенок*); демоделяции — компонент утрачивает некоторые словообразовательные связи (*животина* — *животное*: *живот*); транссемантизации — компонент осмысливается как имеющий иное значение (*хоромина*: *хоромы*: *хоромина*); дессемантизации — компонент утрачивает былое значение (*лисина*: *лиса*).

Разработав типологию изменений компонентов словной структуры, автор пытается увязать ее с синхронной классификацией структур. Однако последняя, как кажется, не может быть названа оригинальной: подразделение структур на целостные (система компонентов представлена в четком виде), дефектные (система с дефектными компонентами), декоррелятивные (характер и расположение компонентов оказываются измененными) опрощенные является в основном традиционным, хотя в общем и актуальным, так как увязывается с известными

историческими типами изменений морфологической структуры слова. Вместе с тем хотелось бы, чтобы при переиздании автор коснулся вопроса о причинах структурных изменений слова, о том, как они соотносятся с морфологическими процессами (типа опрощение, переразложение, усложнение и под.), какую роль в каждом типе изменений играет «внутренняя форма», способ осмысления референтных свойств класса объектов.

Во второй главе рассматриваются вопросы, связанные с отграничением словообразовательного анализа от морфемного. Автор подчеркивает, что они близки друг к другу; близки, когда в слове вычленяют словообразовательные и формообразовательные аффиксы, и не совпадают там, где исследователь выходит за рамки вычленения морфем в сторону обнаружения производящих основ. Отсюда различие: объект словообразовательного анализа — структура производного, задача — членение на непосредственно-составляющие; объект морфемного анализа — состав слова, задача — членение на морфемы.

Применение словообразовательного анализа придает убедительность морфемному членению слова, морфемное членение есть побочный продукт словообразовательного анализа. Диахронные наблюдения нередко вносят существенные коррективы в вопрос о членимости слова, что, кстати, подтверждается материалом первой и второй глав. Автор продвигает вперед так называемые традиционные методы словообразовательного анализа в сторону внедрения трехаспектного сопоставления по грамматическим формам, производящим словам и одномодельным словам.

Касаясь этапов формирования методов словообразовательного анализа, автор правомерно признает некоторый положительный вклад дескриптивистов в русскую теорию и практику словообразовательного анализа. Вместе с тем обоснованно критикует их за злоупотребление принципом учета дистрибуции морфем, отказ от определения значения морфем, сведение изучения морфем только к исследованию их звукового состава. Развитие современного словообразовательного анализа, по мнению автора, должно проходить в сторону совершенствования так называемого традиционного анализа, который «имеет определенные преимущества перед дескриптивистским подходом к морфологическому анализу». Эту главную мысль нельзя не поддержать, хотя в отдельных местах В. И. Максимов остановился на полдороге. В самом деле, почему, отграничив словообразовательный анализ от морфемного, он не обратился к методам этимологического анализа (уж не «растворяется» ли последний в словообразовательном анализе)? С такой фигурой умолчания вряд ли можно согласиться. Далее, почему мельком говорится о так называемом морфологическом анализе, без установления его отношения к словообразовательному, морфемному?

В третьей главе последовательно излагается мысль о том, что теория и практика русского словообразования не могут развиваться без сочетания синхронного изучения с диахронным. Членимость структуры в тот или иной момент ее истории нельзя обосновать без учета того, как слово образовалось в действительности, какова была его структура при образовании и какие за это время произошли в ней перемены. Такое изучение, неоднократно подчеркивает автор, позволяет выявить реально существовавшие и существующие словообразовательные средства. Не приписывать словообразовательным фактам и процессам того, чего в них нет и никогда не было, а выяснить то, что уже есть, но с учетом и того, что было — такова основа авторского понимания принципов словообразовательного анализа.

Автор, конечно же, не против синхронного изучения, но при условии, если: а) ему предшествует диахронное исследование; б) оно не отождествляется с формализованным описанием; в) по исполнению и результатам не является противоречивым. Эти требования автор развернуто излагает уже в упомянутом труде «Суффиксальное словообразование имен существительных в русском языке», где рассматриваются вопросы, связанные с выяснением роли производящих слов, аффиксов и флексий в создании суффиксальных субстантивных производных. И тем не менее представляется, что трактовка этих требований в рецензируемом труде особо значительна. Автор не декларирует их, а применяет последовательно в материале (см. разделы «Принцип историзма при уточнении границ непосредственно-составляющих», «Принцип историзма при выявлении словообразовательных моделей в отдельных производных», «Принцип историзма при определении направления в развитии языковых явлений», «Принцип историзма при установлении действующей системы словообразования»), тем самым утверждает принцип историзма как методологический, употребляемый во всех случаях изучения всех сторон языка. Благодаря этому монография выходит за рамки специального исследования. Она приобретает характер научного пособия, обстоятельно квалифицирующего доказательную силу принципа историзма в изучении языковых фактов и явлений. Из всего сказанного вытекает, что труд В. И. Максимова вносит научный вклад в развитие русского словообразования как науки.

Кодухов В. И., Туркин В. Н.

В. В. Лопатин. **Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания.** — М., «Наука», 1977. 316 стр.

Книга В. В. Лопатина значительна по объему, богата материалом и мыслями. В краткой рецензии можно рассмотреть лишь некоторые ее стороны.

Прежде всего должно быть отмечено то, что это первая монография по морфемике русского языка, что, несомненно, увеличивает ее вес и значимость. Морфемика находится еще в периоде становления, не ясны пока ее состав и задачи; термин (и понятие) «морфемика» только еще входят в научный обиход.

Морфемика определяется в книге как «раздел грамматики», изучающий морфемы «в их отношении друг к другу и к слову в целом» (стр. 4). По-видимому, в определение морфемики придется еще внести уточнения. Тем же термином, видимо, будет называться и сам объект морфемики-науки — морфемы в их совокупности и формально семантических соотношениях.

Проблематика морфемики автором понимается широко и определяется следующим образом: «а) типология значащих сегментов, меньших чем слово: морфема, виды морфем...; б) типы значений, выражаемых морфемами...; в) соотношение линейных... и нелинейных... языковых единиц морфемного уровня...; г) морфонологические явления, связанные с сочетаемостью значащих единиц...; д) типология фонематической структуры морфов...» (стр. 4—5). Все это представлено достаточно убедительно. Здесь можно сделать лишь следующее замечание: включение в морфемику морфонологии («морфонология мыслится..., как часть морфемики языка», стр. 5) вызывает сомнения: морфонология проявляется в морфемике, равно как в словообразовании и словоизменении, но не входит в их состав; промежуточность между фонологией и морфологией, на которую ориентирован и сам термин «морфонология», сохраняется за морфонологией и при выделении морфемики.

Отношение содержания книги к общей проблематике морфемики определено частично уже в ее названии (словообразовательная морфемика) и в подзаголовке (проблемы и принципы описания). Дополнительные ограничения даны в тексте: морфемика отглагольного словообразования. Такой организации материала придается принципиальное значение: в основу кладется так называемое перспективное, а не ретроспективное словообразование, от производящих (мотивирующих) слов к производным (мотивированным), а не наоборот.

Было бы, конечно, очень хорошо, если бы специализированной морфемике (морфемике словообразования в пределах отглагольного словообразования) был предпослан общий очерк русской морфемики в целом, особенно применительно к пп. а), б) и д), но содержательно возражать против принятых ограничений нет оснований. Можно к тому же отметить, что специализированная часть морфемики в книге В. В. Лопатина дополнена (в композиционном отношении — обрамлена) очерками общего характера: Введение, 1 и 2 главы I части (стр. 3—63) и заключительная глава «Спорные вопросы интерпретации морфонологических явлений словообразования» (стр. 287—309). Понятно также, что и непосредственно в морфемике отглагольного словообразования так или иначе отражена морфемика в целом.

Описанию морфонологии отглагольного словообразования предшествует характеристика морфемной структуры глагольных основ (стр. 63—87) и закономерностей выбора мотивирующего слова (стр. 88—106), а основную часть главы «Морфонологические преобразования глагольной основы в отглагольном слове» составляет раздел «Опыт описания морфонологических преобразований глагольной основы по классам мотивирующих глаголов» (стр. 127—208). Раздел чрезвычайно богат материалом, упорядоченным по классам и подклассам производящих глаголов, по словообразовательным средствам и морфонологическим явлениям. Замечание здесь лишь одно, технического порядка: раздел труден и для чтения (нельзя просто читать многие десятки страниц, сплошь заполненных перечнями слов, суффиксов, чередующихся звуков, условных сокращений и пр.), и для справок (в справочных целях структуру раздела следовало бы полнее отразить в оглавлении).

Собственно морфонологические явления представлены в трех разделах: «Линейные преобразования глагольной основы в ее финальной части», «Нелинейные преобразования словообразующих основ глаголов (чередования)», «Линейные преобразования глагольной основы в ее постфиксальной и префиксальной частях». Остановимся несколько подробнее на «нелинейных преобразованиях» — чередованиях, особенно «предсуффиксальных» (стр. 225), чередованиях конечных согласных в производящих глагольных основах.

Выделено восемь типов явлений: 1) отсутствие чередования, 2) чередование твердых и мягких согласных, 3) мягких и твердых, 4) задне-язычных с шипящими, 5) шипящих с заднеязычными, 6) переднеязычных с шипящими и губных с сочетаниями губной + *л*, 7) шипящих с переднеязычными и губной + *л* с губными, 8) чередование *ц* ~ *к* (стр. 225—226). Материал приведен в виде сводной таблицы (стр. 228—236, учтено около 180 суффиксов) и перечня «Примеров к таблице»

(стр. 227, 237—244). Это весьма ценные страницы книги. Но формы упорядочения материала представляются неэкономными и недостаточно выразительными: 1) чередование № 8 (*ц* ~ *к*) можно было изъять из таблицы, так как оно чрезвычайно редкое (отмечено перед 5 суффиксами из 180); нулевому чередованию (отсутствие чередования) следовало бы придать нулевой номер, а прямые и обратные чередования (твердые — мягкие и мягкие — твердые; заднеязычные — шипящие и наоборот) можно было бы объединить под одним номером, снабдив номер для обратных чередований штрихом,— тогда типов чередований было бы не 8, а только 3; впрочем, чередования переднеязычных с шипящими и губных с губными + *л* (и соответствующие обратные), объединенные в один тип, более целесообразно было бы разделить, в итоге было бы 4 типа,— гораздо более компактная система, нежели 8 типов; 2) в таблице вместо 19 рубрик — столбцов, по группам чередующихся звуков, можно было бы дать только 8 столбцов — по числу прямых и обратных чередований,— таблица была бы более обозримой; 3) в сводке «Примеры к таблице» примеры должны иллюстрировать соответствующие чередования, а не только намекать на них, как это оказалось на деле, например, *-б(а)*: (2) *резьба*, (3) *ходьба*; и цифры перед примерами должны бы указывать не на номер столбца, а на номер чередования; 4) перечень аффиксов здесь, как и в других местах, дается в обратном алфавите (по алфавиту конца), но в данном случае это не имеет, кажется, никакого смысла и только затрудняет работу с таблицей, не внося ничего ценного, тем более что чередования «вызываются» не конечными, а начальными звуками суффиксов.

Чередования, о которых шла речь выше, относятся к типу исторических, или «традиционных», как они определяются в книге. Описание их или, так сказать, обращение с ними также вызывает определенные замечания.

1. Чередования нигде не собраны воедино и не охарактеризованы как определенное целостное явление. Таблица чередований и примеры к ней не дают такой характеристики, так как это только то, что обнаружено в исследованном материале, а исторические чередования известны и вне этого материала. Кроме того, типичные исторические чередования, например, заднеязычных с шипящими, обычно ставятся в один ряд с «чередованиями» типа *з* ~ *т*: *анализ* — *аналитический*, и т. п.

2. Не признав исторических чередований как особого явления, автор не имеет каких-либо прочных оснований для определения так называемых прямых и обратных чередований (*г* ~ *ж* и *ж* ~ *г* и т. п.). Исторически здесь, конечно, всякий раз одно и то же чередование, только «прямое»: заднеязычные чередуются с шипящими и т. п. Расщепление единого чередования на два чередования — прямое и обратное — исключительно синхронно и зависит от того, какой звук, исторически первичный или вторичный, находится в производящем слове: если первичный, то прямое чередование (*г* ~ *ж* и под.), если вторичный — обратное чередование (*ж* ~ *г* и под.). Но определить первичность и вторичность чередующихся звуков синхронно нельзя, поэтому нельзя определить, какое чередование прямое, какое обратное: чередования *г* — *ж* и *ж* — *г* синхронно равноправны и только взаимно обратны. Различать прямые и обратные чередования без обращения к истории явления можно лишь условно, по договоренности, но такой договоренности автор не провел. Отказ от исторических чередований (обращение к ним автор расценивает как не нужный ему «исторический комментарий» к синхронной морфонологической репрезентации, стр. 308), конечно, не упущение, а одно из проявлений принципиальной установки автора на чистую синхронность описания явлений. А это вызывает новое замечание.

3. Разграничение синхронии и диахронии в языке — важный принцип языкознания. Но разграничивать синхронию и диахронию не значит изолировать их друг от друга; современное и прошлое состояние языка — разные его состояния, но не оторванные одно от другого. Автор же ведет исследование и описание материала так, как будто не было его истории или история русского языка совершенно не известна. Автор как бы говорит: представим себе, что мы не знаем истории русского языка,— как можно понять и описать наблюдаемые явления современного русского языка? Так можно представить и можно попробовать так сделать, но для чего, если история русского языка, можно сказать, достаточно хорошо известна? Если же современное состояние языка описывать при полном отвлечении от его истории, то изучение истории языка теряет почти всякий смысл, так как между диахронией и синхронией нет преемственности (остаются лишь типологические отношения «разных» языков). Понятно, что само синхронное описание языка при этом теряет своих естественных помощников.

Много трудностей возникает при сведении морфов в морфемы, при определении оснований и пределов варьирования морфем.

Основной критерий, вытекающий из двусторонности морфем, вполне ясен: необходимо учитывать и значение, и форму. Этот же критерий лежит и в основе общей характеристики мотивированности слов: «Как и всякая мотивированность, словообразовательная мотивированность — всегда явление двустороннее,

формально-семантическое» (стр. 6). Отсюда делается важный вывод: «не существует отдельно мотивированности (производности) формальной и семантической (смысловой)» (стр. 7). Этот вывод особенно важен потому, что довольно широкое распространение получило утверждение, что формальная и семантическая производность не связаны в единство и действуют порознь.

При реализации этого критерия применительно к единству морфемы встречаются, однако, трудности, причем не в семантической, как можно было бы ожидать, а в формальной части: как именно проявляется формальное единство морфем? В «Гр.—70» это определено как «формальная (фонетическая) близость морфов» (рецензируемая книга, стр. 261). Конкретизируя это положение, В. В. Лопатин ставит вопрос о пределе или «пороге» фонетического варьирования, за которым наступает распад морфемы (стр. 261). Определяется даже точное выражение этого предела: «допустимый порог формальных различий морфов не может превышать 50% их фонемного состава» (стр. 264). «За пределами этого порога частично тождественные по составу фонем суффиксальные морфы уже не воспринимаются как представители одной и той же морфемы...» (там же), ср. *-ант*, *-ент* и *-ист(ый)* и *-чат(ый)*. Поиск точно выраженного количественного порога варьирования морфем обусловлен абсолютизированной синхронностью описания, так как не признаются никакие закономерности, идущие от истории языка, в частности исторические чередования, о которых в другой связи уже шла речь и которые позволяют объединять в морфемы морфы, различающиеся и более чем на 50% фонемного состава (*мя-ть — с-мин-ать*, *г-нуть — с-гиб-ать* и т. п.) и даже полностью формально различные морфы: *ход-ить — ш-ла*. Автор допускает такие случаи (суфф. *-к-* — *-оч-* в словах *свар-к-а*, *свар-оч-ный* и т. п.), но без непосредственного обращения к историческим закономерностям языка. С учетом же исторических чередований единство морфем можно определить так: фонетическое тождество + различия, сводимые к единству через исторические чередования; все, что при семантическом тождестве сводится к фонетическому единству через исторические чередования есть единая морфема. За пределами таких отождествлений останутся производные аффиксы, возникающие в результате переразложений (*-тель — -итель*, *-ик — -ник* и т. п.), и, видимо, что-то другое; трудности, следовательно, останутся, но исторические чередования при этом игнорировать, кажется, никак нельзя.

Обстоятельно рассмотрены принципы морфемной сегментации слов. За исходное принято положение, что слова (словоформы) членятся на морфемы (морфы) нацело, без остатка, поэтому в словах нет неморфемных частей. На этой основе отрицаются интерфиксы. То, что определялось как интерфиксы, присоединяется к соседним морфемам, предшествующим или последующим, что ведет к признанию усложненных вариантов морфем или производных морфем: *-ск(ий)*, *-овск(ий)*, *-инск(ий)*, *-анск(ий)*, *-ейск(ий)* и т. п. (*иранский*, *африканский*, *кубинский*, *европейский* и т. д.). Интерфиксы как пустые прокладки между морфемами встретили, кажется, больше протестов, чем признания, но то, что привело к их «открытию», сохраняется: перевод всей массы интерфиксов в усложненные варианты аффиксов (и тем более — в варианты корней) не дает еще оптимального разрешения неожиданно возникших трудностей: неимоверно расширяется фонд синонимических аффиксов и их разновидностей, так как многие аффиксы усложняются одним и тем же наращением, а один и тот же исходный аффикс усложняется многими наращениями. Выделение интерфиксов как вспомогательных, соединительных морфем (именно морфем, а не пустых прокладок), кажется, смягчает дело. Формант (а вместе с тем и способ словообразования) будет в этих случаях сложным, двухкомпонентным — интерсуффиксально-суффиксальным.

В книге широко и основательно аргументируется понятие субморфа (стр. 41—63). Субморфы — это морфонологически значимые неморфемные звуковые комплексы. Морфонологическая значимость субморфов проявляется в том, что они или сами подвергаются морфонологическим преобразованиям (усечениям, чередованиям) или вызывают такие преобразования в других компонентах слова, например, *-к-* в слове *вагранка*: *вагранщик* (выпадение *-к-*), *вагранoчный* (чередование). Субморф всегда часть какого-либо морфа (а формально может и совпадать с морфом), отсюда и сам термин. Но в другом отношении этот термин ложноориентированный: субморф — не морф, но назван почти как морф (аналогичная терминологическая ситуация уже встречалась: интерфиксы и унификсы не аффиксы, а названы подобно им). Термин «субморф» ложно ориентирован и еще в одном отношении: он может дать основание считать, что морфонологические воздействия идут от морфов, на самом же деле они идут главным образом от фонем (см. стр. 269, 279 и др.).

Несколько настораживает и количество субморфов (они размножаются, как в свое время размножались интерфиксы), а также неопределенность многих из них, например, *-от*, вызывающий ударение на первом слоге в отглагольных существительных: *хохот*, *ропот* (а какой субморф в словах с начальным ударением *вызов*, *подпись*?).

В. В. Лопатин продолжает пользо-

ваться термином «мотивированность» и под., вместо и в значении «производность» и под. Но мотивированность прежде всего семантическое соотношение производного и производящего (так и у автора: «...словообразовательная мотивированность..., при которой значение одного слова... обусловлено значением другого...», стр. 6), а производность непременно включает и материальный компонент. Поэтому мотивированность может быть непосредственной и опосредованной, прямой и косвенной, а производность только прямая и непосредственная. В этом направлении можно, кажется, разрешить и другую, беспокоющую рецензента ситуацию: мотивированность может быть неединственной (полимотивированность), а производность — только единственной: одно и то же производное слово в одном и том же значении не может быть образованным от двух или более производящих. Но полимотивированность автор понимает все-таки и как полипроизводность, и считает ее «бесспорной» и «неизбежной» (стр. 93). При этом он, правда, говорит, в частности, следующее: «Естественно, что двумотивированные и полимотивированные слова должны рассматриваться как объект словообразовательного описания... два раза и более, в соответствии с каждым из одновременно мотивирующих слов» (стр. 106), например, *пересадка* — от *пересесть*, *пересадить* и т. п. Если при этом признается также различие в значении производного слова, то против такой полипроизводности возражать, конечно, нет оснований, так как при этом всякий раз проявляется лишь какая-либо единственная производность.

Рассмотрим еще один вопрос: входит ли в словообразовательный формант система флексий производного слова? Традиционно флексии в словообразовательное средство не включались. Были выработаны даже соответствующие условные записи: *-к(а)*, *-н(ый)*, *-и(ть)* и т. п. С некоторых пор, однако, положение стало меняться, систему флексий стали включать в соответствующие словообразовательные форманты. Кому принадлежит здесь приоритет, пока не установлено, а круг последователей, кажется, постепенно расширяется. В. В. Лопатин придерживается новой точки зрения: «...система флексий мотивированного слова относится при суффиксации к форманту...» (стр. 10). Рецензент стоит здесь на традиционных позициях и находит у данного новшества много слабых мест: 1) включение флексий в словообразовательное средство ведет за собой включение словоизменения в словообразование, 2) если единство формата понимать так же, как единство морфемы (материальная близость не менее 50%), то все слова одной части речи будут иметь один и тот же словообразовательный формант, так как система флексий материально многократно превосходит все другие части форманта; 3) один из доводов против рассматриваемого новшества можно сформулировать словами В. В. Лопатина: «С точки зрения морфемики словообразование занимается лишь такими морфемами, которые являются конститутивными признаками слова в целом, а не отдельных его форм» (стр. 6). Этим же должно заниматься словообразование и применительно к формантам: к форманту относится только то, что характеризует производное слово в целом, а не отдельные его формы.

В книге В. В. Лопатина поставлены и обсуждены многие другие вопросы (единицы словообразовательного анализа, понятие позиции в словообразовании, метафорическая мотивация, сущность морфонемы, соотношение словообразовательного и морфемного анализа и другие), но все это придется оставить уже без рассмотрения. Можно отметить в заключение, что изложение автора всюду четкое, содержательное, деловое. Труд В. В. Лопатина — значительный вклад в теорию русского словообразования. Рецензент не считает, что в своих критических замечаниях прав всюду он, а не автор рецензируемой книги. Но даже там, где прав рецензент, за автором остается заслуга постановки вопросов и поиска их решений.

Моисеев А. И.

Р. М. Цейтлин. **Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X—XI вв.** — М., «Наука», 1977. 336 стр.

Рецензируемая монография является событием в области исследования старославянской лексики. Перед нами, по существу, первое фундаментальное лексикологическое исследование старославянского языка. До сих пор исследователи старославянской лексики сосредотачивали преимущественное внимание на текстологических, а не на собственно лексикологических проблемах — в связи с задачей реконструкции первоначального кирилло-мефодиевского текста (в этом смысле представляется, между прочим, методологи-

чески очень важным разграничение текстологических и лексических дублетов, систематически проводимое Р. М. Цейтлин, см. стр. 45—46 и др.). Кажется несомненным, что необходимой предпосылкой текстологических исследований такого рода в сколько-нибудь широком масштабе, так же как и всех других исследований, так или иначе обращающихся в своих выводах к лексике старославянских памятников, является именно последовательное и независимое собственно лексикологическое исследование языка этих памятников.

Представляется, далее, всецело оправданным обращение именно к деривационной лексике — к тому, что автор, вместе с некоторыми другими исследователями, предлагает называть «мотивированными словами». Уже a priori можно думать, что именно словообразование имело особое значение в таком специфическом языке, как старославянский. Уместно напомнить в этой связи вывод авторов пражских «Тезисов», которые писали, что «нельзя... по соображениям методическим, допустить идентификацию этого (старославянского.— *Б. У.*) языка с каким-либо историческим славянским языком и толкования его с точки зрения исторической диалектологии. В языке, который с самого своего начала не был предназначен для местных нужд, который опирался на традиции греческого литературного языка и который принял затем роль славянского койне, следует a priori предположить существование искусственных, смешанных и условных элементов» [1]. Совершенно ясно, что в таком языке, если говорить о лексике, принципиально важную роль должны играть не конкретные лексемы, которые по необходимости должны были ассоциироваться в языковом сознании носителя языка с соответствующими единицами живых славянских говоров, а именно м о д е л и,— в частности, словообразовательные модели, ср. в этой связи дублеты типа *вдова* ~ *вдовица*, *любодѣи* ~ *любодѣиць* и т. п., которые, видимо, противопоставляются прежде всего не семантически, а стилистически: производное слово является как бы специфически книжным. Приводимый в исследовании Р. М. Цейтлин материал убедительно демонстрирует вообще процесс вытеснения непроизводных слов производными (см. стр. 286—289).

[1] Thèses, TCLP, 1, 1929, стр. 21. Ср.: Н. И. Т о л с т о й, Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI — XVII вв.), «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. София, сентябрь 1963», М., 1963, стр. 231; «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 32.

Необходимо подчеркнуть, что конкретное исследование старославянской лексики в этом направлении позволяет оценить дальнейшее развитие церковнославянского языка в его локальных редакциях. О старославянской лексике часто судили в перспективе именно церковнославянского языка позднейших редакций. Р. М. Цейтлин убедительно показывает, что такой подход по крайней мере не всегда правомерен. Церковнославянский язык развивался, эволюционировал, в нем могли появляться формы, которых не было в старославянском. Для историка русского литературного языка представляет непосредственный интерес, например, вывод Р. М. Цейтлин о том, что слово *младость* в значении «юность, молодость» есть именно результат эволюции такого рода (стр. 22—23).

Соответственно, очень важны наблюдения Р. М. Цейтлин над семантическим различием тождественных лексем в старославянском и в различных изводах церковнославянского языка — таких, как *глоумъ*, *олово*, *простыни*, *работа*, *младъ*, *истина*, *брѣгъ* (стр. 24 и сл.). Автор с полным основанием протестует против «модернизации или ареального смещения значения слов». Этот тезис тем более актуален, что исследователи старославянского языка нередко описывают потенциально в о з м о ж н ы е (с их точки зрения) в этом языке слова, а не реальные лексемы старославянских памятников (ср. критику с этих позиций работы А. Лескина на стр. 69). Невозможно не согласиться с Р. М. Цейтлин, когда она пишет: «чтобы считать старославянскими слова́, значения слов, аффиксы, не зафиксированные в СП (старославянских памятниках.— *Б. У.*), необходимо в каждом отдельном случае доказать возможность их существования в СЯ (старославянском языке.— *Б. У.*) или, во всяком случае, оговорить их отсутствие в языке СП» (стр. 25). Думаем, что это положение будет прочно усвоено в палеославистике и станет одним из методологических оснований при исследовании старославянской лексики.

Таково общее направление исследования Р. М. Цейтлин. Перейдем теперь к конкретному рассмотрению структуры монографии и содержания отдельных ее частей.

Монография Р. М. Цейтлин состоит из трех частей. Первая часть под названием «Общая характеристика словарного состава» является обоснованием двух последующих и одновременно имеет самостоятельное теоретическое и информативное значение. Здесь решается вопрос об объеме и непосредственных источниках исследования, выделяются прямые и косвенные (вспомогательные) источники, определяются основные понятия. Автор демонстрирует создавшуюся многозначность в определении самого понятия.

«старославянский язык» в славянской филологии и зависимых от него понятий «старославянский памятник» и «старославянское слово» («старославянизм»); он анализирует причины разнообразных толкований основного и производных от него терминов и связывает их с различными аспектами — и, следовательно, объектами — исследования древнеславянских рукописей.

Р. М. Цейтлин — сторонница предельно узкого понимания термина «старославянский язык». Под старославянским языком в монографии понимается именно «письменно-литературный язык, которым владели книжники культурных центров Юго-Западной (Македонской) и Восточной Болгарии конца X—XI вв.» (стр. 12). При этом автор пишет: «В предлагаемом предельно ограниченном понимании содержания термина „СЯ", на наш взгляд, заложены возможности наиболее точного и исчерпывающего анализа тех экстралингвистически ограниченных языковых фактов, которые содержатся в доступных современному исследователю письменных источниках. Первый этап исследования древних славянских рукописей, когда они изучались синкретично, можно считать завершенным. Выявленный в этот период материал и его интерпретация позволяют ставить в настоящее время более определенные и глубокие задачи исследования. Они должны решаться на данной стадии изучения в границах изводов. Только на основе такого анализа целесообразно вновь обратиться к исследованию более крупных систем в определенных ареальных и хронологических пределах» (стр. 14). Принятое определение понятия «старославянский язык» позволяет, таким образом, установить четкие критерии отбора непосредственных источников, определить источники косвенные, анализировать сопоставимые по времени и языковому ареалу факты лексики (ср. выделенные автором многочисленные «ложные старославянизмы», которые в ряде работ проецируются без комментариев на некую «плоскость» — «старославянский язык»). Весьма показательно в этой связи совмещение в истории отдельных славянских языков под одним наименованием «старославянизм» таких разновременных фактов, как *младъ* и его производные (см. также другие материалы этого рода, приводимые в работе на стр. 20—23). Вообще, если характеризовать подход Р. М. Цейтлин в целом, то можно сказать, что он отличается предельной реалистичностью и четкостью исходных позиций. Р. М. Цейтлин изучает именно р е а л ь н о и м е ю щ и е с я тексты старославянского языка — а не предполагаемые более ранние (гипотетически восстанавливаемые кирилло-мефодиевские тексты) или более поздние (церковнославянские тексты, по которым можно догадываться о первоначальном состоянии старославянского языка). Такой подход нельзя не приветствовать, он выгодно отличает исследование Р. М. Цейтлин от большей части работ в данной области (в том числе и работ самого последнего времени).

В первой части работы, кроме теоретических вопросов, дается общая характеристика словарного состава 17 старославянских памятников, т. е. всех известных нам в настоящее время южнославянских рукописей X—XI вв. Отметим, что в числе анализируемых текстов и только что прочитанные и опубликованные (в 1971 и в 1972 гг. в Болгарии) пергамены XI в.— так называемые Зографский и Боянский палимпсесты, хранящиеся в Ленинграде и в Москве. Эти сравнительно небольшие отрывки евангельских текстов содержат ценный фактический материал, в том числе и лексический, который (в границах поставленной автором задачи) полностью учитывается в рецензируемом исследовании, не говоря уже о ценнейших данных недавно открытого и опубликованного в 1965 г. в Болгарии самого древнего из известных теперь апостольских текстов — так называемого Енинского апостола. Вместе с тем, в работе используется в качестве дополнительных источников ряд памятников других изводов, в том числе и более позднего времени. Постоянно приводятся лексические параллели из Остромирова евангелия, Вуканова, Добрейшева, Добромирова, Врачанского кодексов, из Киевских листков, из Успенского сборника и ряда других памятников. В качестве справок при анализируемых словах приводятся данные из всех известных словарей древних славянских языков, ряда диалектных источников, из этимологических словарей. В отдельных случаях используются неопубликованные материалы картотек двух словарей древнерусского языка Института русского языка АН СССР, а также картотеки многотомного «Словаря старославянского языка» Чехословацкой Академии наук.

Предлагаемая в первой части монографии характеристика лексического состава старославянских памятников вводит в научный оборот многочисленные новые данные. Большое место занимают различные количественные сведения (особенно на стр. 26—43). Надо сказать, что аналогичные данные сообщаются и в других частях работы при характеристике каждого анализируемого слова, каждой словарной группы и семантической категории. Вообще работу Р. М. Цейтлин, как правило, отличает предельная, можно сказать, скрупулезная точность и аккуратность в изложении сообщаемых ею фактов. Приводимые здесь количественные данные, относящиеся к словарному составу старославянских памятников, делают монографию Р. М. Цейтлин незаменимым справочни-

ком для исследователя старославянского языка. Думается, что эти данные в целом ряде случаев должны войти в будущие учебные пособия по этому языку.

Р. М. Цейтлин подчеркивает, что создание старославянской лексикологии — задача чрезвычайно сложная, трудоемкая и вместе с тем неотложная (стр. 54). С этим трудно не согласиться. Такая работа, действительно, необходима не только специалистам по старославянскому языку, но и специалистам по сравнительно-исторической славянской лексикологии и по отдельным славянским языкам. Автор выделяет ряд проблем, необходимых для создания старославянской лексикологии (стр. 54—58). Сама же Р. М. Цейтлин избирает для анализа одну из выделяемых ею важных областей лексикологии любого языка — анализ так называемых мотивированных слов. Мотивированные слова, как определенная словарная категория, совершенно не изучены палеославистами в лексикологическом плане (существительные не исследованы и в узкословообразовательном плане). Внимание лексикологов все еще сосредоточено на изучении вариантов, передающих одно и то же слово греческого протографа (работы И. В. Ягича, К. Горалка, Л. Мошинского, Й. Враны и многих других исследователей).

В работе Р. М. Цейтлин предлагается новая и очень плодотворная методика исследования словаря мертвого языка, когда объектом анализа становятся группы слов с общим семантическим компонентом (последний может быть выражен корнем, префиксом или суффиксом). Соответственно, образуются ряды слов, объединенных тем или иным формальным элементом и таким образом восполняется материал для определения значений отдельных слов, входящих в выделенный ряд. Принципиальное значение при этом получает подход к слову как к биному [2], поскольку само членение слова на два непосредственно составляющих элемента и определяет контуры его значения (ср. выразительный пример, приводимый Р. М. Цейтлин на стр. 67: слово *трьзѫбьць* может, вообще говоря, членяться как *трь-зѫбьць* и как *трьзѫб-ьць*, но в первом случае оно означает «вилы с тремя зубьями», а во втором — «маленькие вилы»).

Вторая часть монографии («Суффиксальные существительные») посвящена анализу 11 групп существительных со значением лица и 5 групп существительных отвлеченных значений. Избранный объект исследования представляется всецело оправданным. Он позволяет включить в сферу наблюдений не изолированные лексемы (что обычно имеет место в исследованиях по старославянской лексике), а определенным образом взаимосвязанные слова, соотносящиеся и по своей структуре, и по своей семантике, при этом такие группировки слов, на которых легче, чем на многих других, наблюдать характерные динамические процессы данного синхронного среза и ареала (поскольку слова этой семантики характеризуются обилием дублетных средств выражения).

Автор выявляет архаизмы и инновации, устойчивые группы слов, слова стилистически нейтральные и стилистически дифференцированные, определенные тенденции формирования словарного состава старославянского языка в целом (например, увеличение объема слова, стремление к регулярности в образовании, см. «Заключение», стр. 286—287, пункт 5). Эти наблюдения позволяют Р. М. Цейтлин по-новому дифференцировать памятники по особенностям словоупотребления и внести существенные изменения в традиционную и довольно нечеткую группировку старославянских рукописей (см., например, классификацию в учебнике А. М. Селищева [3], которая с незначительными изменениями повторяется во всех курсах старославянского языка).

Анализ обширного материала позволил автору сделать ряд наблюдений, показывающих, каким образом складываются новые соотношения в существующих рядах слов с тождественным значением, как побеждают слова продуктивных моделей. Как показывает Р. М. Цейтлин, многие из производных слов являются неологизмами старославянского языка при том, что совпадающие с ними по значению непроизводные слова переходят на положение архаизмов и книжных слов. Таковы, например, *сѫпьрьникъ* и *сѫпьрь*, *сѫдитель* и *сѫдии*, *вьдовица* и *вьдова*, *дѣвица* и *дѣва*.

В работе уделяется вообще значительное место сопоставлению идентичных средств выражения одного понятия — постоянно сопоставляются дублеты и варианты, отмечаются в тождественном значении субстантивированные прилагательные и словосочетания. Очень полезную информацию содержат перечни слов, представляющих случаи вторичной мотивации,— различные прилагательные, образованные от отыменных существительных на *-ьникъ* и *-тель*, глаголы на *-ьствовати* от существительных отвлеченных значений (стр. 90—92, 106, 158—159). Все эти слова сопровождаются сведениями о частотности в пределах каждого текста, в которых они представлены.

Необходимо подчеркнуть, что при каждом анализируемом слове во второй

[2] Ср.: Г. О. Винокур, Заметки по русскому словообразованию, в его кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1959, стр. 440.

[3] А. М. Селищев, Старославянский язык, ч. 1, М., 1951, стр. 32.

и в третьей частях монографии приводится его греческое соответствие или указывается на его отсутствие. При этом в выводах по второй и третьей частям выделяются особенности старославянского языка в передаче греческих слов-соответствий (стр. 94, 181—182, 187—190, 282—283).

Третья часть монографии («Сложные слова») посвящена двукорневым сложным словам, которые составляют одну из примечательных особенностей старославянского языка и при этом такую его черту, которая оказалась весьма существенной для формирования и истории развития ряда славянских литературных языков. Здесь анализируются все двукорневые сложения (кроме собственных имен), которые представлены в рассматриваемых 17 памятниках. В данной части работы особо подчеркивается значение греческого соответствия, так как для характеристики словарного состава старославянского языка является чрезвычайно важным отделение сложений-калек греческого от таких сложных слов, которые относятся к древнейшим славянским образованиям.

Обильный и исчерпывающе исследованный материал (611 двукорневых слов) позволил автору показать сходство и различия в употреблении сложных слов в памятниках различного содержания и времени создания. Здесь выделяются сложения-архаизмы, сложения, обусловленные исключительно задачами номинации, и сложения, обусловленные стилистически. Выделяются группы сложных слов с общими компонентами, которые образуют своего рода открытые классы слов (сложения на *благо-*, *мало-*, *мъного-*, *ново-*, *само-* и т. п.).

Хочется особенно отметить очень любопытное наблюдение Р. М. Цейтлин об отличии евангельских и неевангельских текстов в Супрасльской рукописи (стр. 279—280). В цитатах из Евангелия в этом памятнике очень немного сложений, между тем как сложения в изобилии появляются в житиях и проповедях — особенно показательны в этом отношении те отрывки текста в Супрасльской рукописи, в которых евангельские сюжеты не цитируются, а пересказываются, излагаясь «своими словами». Это наблюдение дает основание как для выводов, относящихся к стилистике старославянского языка, так и для характеристики дальнейшей эволюции старославянского (resp. церковнославянского) языка.

В «Заключении» книги суммируются результаты исследования и вместе с тем делаются некоторые обобщения, значение которых, как кажется, выходит за рамки собственно лексикологической проблематики. В частности, здесь обосновывается новая классификация старославянских памятников, базирующаяся на различиях в нормах словоупотребления. К одной группе памятников относятся Зографское, Мариинское, Ассеманиево евангелия и Саввина книга; к ней примыкают Охридские листки, листки Ундольского и Боянский палимпсест. Ко второй группе относятся Супрасльская рукопись и Синайский Евхологий, к которым примыкают Енинский апостол, Рыльские, Хиландарские и Зографские листки, а также, вероятно, Зографский палимпсест и Синайский служебник. Что касается Клоцова сборника и Синайской псалтыри, то они занимают промежуточное место. Вместе с тем, в результате тщательного лексикологического анализа противопоставление охридско-преславской лексики переосмысляется как противопоставление общестославянской и специфически восточноболгарской лексики. Этот вывод Р. М. Цейтлин представляется особенно значительным. Очень интересны, кстати, замечания Р. М. Цейтлин о том, что в тексте Супрасльской рукописи отражается вторая, по классификации Г. А. Воскресенского, редакция евангельского текста, рукописи которой датировались более поздним временем, чем старославянские памятники [4]. Предположение о существовании уже в старославянском языке такой редакции подтверждается и недавним прочтением Зографского палимпсеста (стр. 64).

Таково содержание монографии Р. М. Цейтлин. Если говорить о критических замечаниях, то их очень немного.

Прежде всего кажется неоправданным исключение из числа старославянских памятников Киевских листков (стр. 15). Предварительное сообщение Й. Хамма (который, как известно, считает эту рукопись подделкой), доступное лишь в тезисном изложении и не содержащее сколько-нибудь развернутой аргументации [5], вряд ли дает для этого достаточные основания. До опубликования подробного исследования по данному вопросу следовало бы придерживаться традиционной точки зрения. Нельзя не отметить при этом, что при современных технических возможностях фотографическая экспертиза рукописи позволила бы решить этот вопрос совершенно однозначно.

В некоторых случаях кажутся не достаточно очевидными некоторые конкретные утверждения, относящиеся к интер-

[4] Ср.: Г. Воскресенский, Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по сто двенадцати рукописям Евангелия XI — XVI вв., М., 1896, стр. 214 и сл.

[5] J. Hamm, Das Rätsel der Kiewer Blätter (Auszug aus dem Vortrag in der Sitzung der phil.-hist. Klasse vom 21. Oktober 1970), «Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 107, nr. 20, 1970, стр. 175—176.

претации того или иного слова. Первое из замечаний такого рода относится к рассуждению о слове *драгоцѣньнъ* (стр. 22)[6]. Р. М. Цейтлин, считает, что этого слова не было в старославянском языке и что оно появляется в русском литературном языке (или в русской редакции церковнославянского языка) не ранее XVI в. С одной стороны, уже гапакс XIV в. *драгоцѣник*, который цитирует Р. М. Цейтлин, заставляет предположить, что это слово могло появиться в России в эпоху второго южнославянского влияния. Далее, говоря о том, что этого слова не могло быть, скорее всего, в старославянском языке, Р. М. Цейтлин исходит из того, что соответствующее значение передается в старославянских памятниках четырьмя синонимами: *драгъ*, *бесцѣньнъ*, *мъногоцѣньнъ* и *чьстьнъ*. Вполне возможно, что слово *драгоцѣньнъ*, действительно, представляет собою инновацию, но сама аргументация такого рода не кажется убедительной. Ведь следует помнить, что старославянский язык был специфически книжным (прежде всего, культовым) языком, в большой степени искусственным и вовсе не ориентирующимся на задачи реальной коммуникации; стало быть, здесь неприменимы чисто прагматические критерии (приложимые к живым языкам!), основывающиеся на эмпирических представлениях об оптимальности (экономности) языкового кода и ставящие количество синонимов в зависимость от частоты употребления. Синонимическая насыщенность в данном случае могла в принципе просто отражать синонимическое богатство греческого языка. Кажется, что для окончательного решения вопроса необходимо было бы исследовать и сочетаемость прилагательного *драгъ*.

Наконец, я не мог усмотреть различия между первым и третьим значениями слова *благодѣть*, различаемыми на стр. 47—48. Кажется, что в приводимых примерах (в частности: *излиѣ с ~ благодѣть* в Синайской псалтыри, XLIV, 3) слово *благодѣть* значит не «прелесть, очарование» (эти слова вообще неудачно выбраны, так как относятся к иному — противоположному семантическому ряду, генетически связанному с злым, колдовским началом), а «милость», «благосклонность», т. е. совершенно соответствует первому значению этого слова по классификации Р. М. Цейтлин. В греческой Септуагинте этому слову во всех случаях соответствует χάρις, а в латинской Вульгате — *gratia* (ср. Пс, XLIV, 3 и Лк, I, 30).

Само собой разумеется, что сделанные замечания (если признавать их справедливость) не идут ни в какое сравнение с отмеченными достоинствами рецензируемой книги. В целом работа Р. М. Цейтлин заслуживает самой высокой оценки. Можно смело сказать, что эта книга открывает новую страницу в исследовании лексики старославянского языка.

Успенский Б. А.

[6] Ср.: Р. М. Цейтлин, К истории слова «драгоценный» в русском литературном языке, в кн.: «Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию члена-корреспондента АН СССР С. Г. Бархударова», М., 1974.

Д. Н. Шмелев. **Русский язык в его функциональных разновидностях (к постановке проблемы).**
— М., «Наука», 1977. 168 стр.

Издательство «Наука» сделало прекрасный подарок всем языковедам и любителям русского слова, интересующимся реальным устройством и функционированием современного русского литературного языка. Читатель получил новую книгу Д. Н. Шмелева — книгу чрезвычайно актуальную, злободневную, острую и увлекательную. Эта книга относится и к русистике, и к общему языкознанию одновременно.

Интерес книги определяется прежде всего постановкой ее задачи. Автор не стремится полностью ориентировать свое исследование во всей совокупности идей, представленных в огромной литературе по функциональному расслоению русского литературного языка: не стремится он и к разработке и обоснованию собственной целостной детализированной концепции. Основная цель книги — рассмотрение и комментирование наиболее спорных и острых моментов в понимании структуры современного русского литературного языка, определяемой его функционированием.

Такая постановка задачи оправдана и очень своевременна. В настоящее время в науке о функциональной дифференциации русского литературного языка, пожалуй, больше дискуссионных, нежели общепризнанных положений. Исследователи не могут прийти к полному согласию ни по вопросу о характере расслоения литературного языка и факторах, обусловливающих такое расслоение, а в связи

с этим — по вопросу о категориальных свойствах явления «стиль», ни по вопросу номенклатуры функциональных «стилей» и других разновидностей литературного языка (в связи с неясностью категориально-понятийного содержания термина «стиль» квалификация той или иной разновидности посредством этого термина оказывается затруднительной, а поэтому неясно и самое число «стилей»), ни по вопросу о варьировании семантико-функциональных и даже категориальных свойств языковых средств при их употреблении в разных функциональных разновидностях. Особую проблему представляет собой характер различий в организации текста, принадлежащего той или иной функциональной сфере в отличие от текстов других функциональных сфер. Первостепенное значение этого вопроса в том, что он касается материального воплощения «стилей», которые всегда предстают только в тексте. Рассмотрение названных вопросов и составило основное содержание книги.

Для решения поставленной задачи автор, исходя из своих многолетних наблюдений над синтаксической и лексической семантикой, начинает с рассмотрения наиболее авторитетных и стабильных определений «стиля» (прежде всего в трудах акад. В. В. Виноградова), вопроса об основных функциях развитого литературного языка, а также вопроса о манифестации дихотомии «язык — речь» применительно к категории «стиль». Остро диалектический характер научного мышления автора, принципиальное неприятие формального педантизма в рассуждении ведет к одновременному признанию, казалось бы, несогласуемых положений.

Дав интересный обзор основных и сопутствующих функций языка, автор приходит к мысли о принципиальной значимости для его функционального расслоения соотношения при организации текста категории 1, 2 и 3-го лица, которые «вовлечены в каждое высказывание». Тонко проанализировав и проиллюстрировав их представленность в разных типах литературной речи, Д. Н. Шмелев по этому и по другим признакам полагает существенным разграничение трех типов литературной речи: устно-разговорного, художественного и специального, которые различаются как основным способом организации языковых средств, так и — в какой-то мере — самим набором этих средств. Различные виды специальной речи автор, принимая в качестве исходного принципа изложения следование устоявшейся терминологии, именует функционально-речевыми стилями, хотя и справедливо полагает (на основании анализа дифференциации литературного языка по признаку отнесенности к дихотомии «язык — речь»), что это название неточно и скорее это языковые категории. Здесь же ставится вопрос об объективном характере «стиля». Автор всей своей книгой выявляет склонность к признанию объективной реальности функциональных разновидностей литературного языка (на стр. 55 и сл., например, он показывает, как некоторые концепции стиля ведут к признанию его конструктом и делают «неразрешимым вопрос о реальном существовании того или иного стиля»), однако в то же время полагает, что «функционально-речевой стиль» — это «не непосредственная данность, а научная абстракция» (стр. 29). Сама очень верная по сути триединая концепция литературного языка (устно-разговорный, художественный, специальный типы речи) терминологически приспосабливается автором к расхожей номенклатурной пестроте, в результате чего «стиль языка», «стиль речи», «функционально-речевой стиль», «тип речи», «функциональная разновидность языка» предстают как абсолютные синонимы (стр. 164 и др.), что, к сожалению, затушевывает триединую концепцию.

Вообще диалектический характер понимания предмета исследования, являющийся, несомненно, сильной и самобытной стороной таланта автора, иногда чрезмерно увлекает его, а беллетристический дар и изящный эссеизм слога подчас ведут к практическому постулированию противоречивости как принципа организации рассуждения и повествования. Так, на стр. 22 одновременно утверждается, что «определение границ» устно-разговорной разновидности в работах автора настоящей рецензии «вызывает серьезные сомнения» и в то же время — что при таком определении «не кажется только оправданной полемика». Здесь же говорится о спорности того, каким факторам при этом может быть приписана решающая роль (публичность — непубличность, неофициальность — официальность, тематика речи и т. д.), а во многих других местах книги четко постулируется справедливая мысль о первоочередной роли факторов темы и ситуации (см. стр. 70, 72, 150, 166 и др.). На стр. 53 говорится о том, что мысли В. В. Виноградова о стиле как частной системе языка были развиты в трудах А. К. Панфилова и что соответствующее определение «представляется наиболее близким к его адекватному пониманию», на стр. 55 этому автору делается упрек в неразрешимости вопроса о реальности стиля. Уже приведенному нами положению о научной абстрактности стиля (стр. 29) противоречит сказанное на стр. 56—57 о действительной реализации в языке заложенных в его устройстве возможностей. Об этих несоответствиях в формулировках можно было бы не упоминать, если бы они не препятствовали в ряде случаев пониманию авторской концепции.

Различные критерии выделения «стиля» проверяются автором — теоретически и отчасти на материале — на протяжении всей книги. Особенно интересна глава «Стилистическая дифференциация языковых средств», где, в отличие от имеющихся работ, направленных на рассмотрение «особых языковых средств стилей», автор характеризует языковые средства, употребляющиеся в разных типах литературной речи; таким образом, делается акцент на общелитературных средствах, которые в последнее время менее охотно привлекаются к анализу, чем специфические. Основной аспект рассмотрения таких средств в книге — анализ «заложенных в механизме самого языка возможностей его применения как средства общения в разных условиях и для разных целей» (стр. 165). Такой подход позволяет автору утверждать, что «каждая из... разновидностей общелитературного языка характеризуется прежде всего особой, специфической организацией общеязыковых средств, обусловленной ее функциональной направленностью, и уже затем некоторым специфическим набором языковых средств, причем обособленность, степень „специфичности“ этого набора совсем не одинакова для различных разновидностей» (стр. 81—82). Это глубоко верное положение со всей определенностью подчеркивает факт единства литературного языка. Тем менее понятно, какие же разновидности литературного языка представляют собою «стиль», т. е. «относительно замкнутую систему или „подсистему“, характеризуемую особыми средствами выражения» (стр. 82), и существуют ли такие разновидности. Автор всем своим изложением показывает, что таких разновидностей в чистом виде нет, а есть лишь разные степени приближения к этому состоянию, и в то же время употреблением термина «стиль» для внутренне различных случаев уводит читателя от такого понимания. По этому вопросу в книге имеется немало очень верных формулировок и соображений. Ср., например, высказывание на стр. 82: «Чем свободнее проявляется в какой-либо разновидности общелитературного языка все то, что присуще общелитературному языку в целом, а также чем свободнее там проявляется манера говорящего и стиль пищущего, тем меньше основании говорить о самой данной разновидности как о „стиле“».

Д. Н. Шмелев весьма убедительно и ярко, опираясь на свой богатый исследовательский опыт, дает целостный абрис картины дифференциации лексических и грамматических средств языка. В области лексики обращает на себя внимание несоответствие разнообразных и пестрых словарных помет реальной функциональной дифференциации литературного языка (ср. мысли, высказанные на стр. 85). Так, слова с пометой «книжное» распределяются «по речевым сферам,— как пишет автор (стр. 88),— весьма различно»: наряду со словами, характерными для научной и официально-деловой речи, в этой группе представлены и такие, которые встречаются в художественной и разговорной речи в отличие от других типов письменно-литературной речи.

В этом разделе книги представляется практически и теоретически важным положение о том, что «несмотря на совершенно очевидную стилистическую дифференциацию значительных пластов лексики современного русского литературного языка, говорить о сколько-нибудь существенной собственно функциональной разветвленности основной ее части, по-видимому, нет оснований» (стр. 89). В настоящее время в нашей практической русистике (например, в исследованиях лексики с целью преподавания ее иностранцам) широко бытует мнение, согласно которому лексика послушно следует в своей дифференциации за разграничением наук: есть якобы слова общелитературные, общенаучные, затем естественнонаучные, общехимические, принадлежащие химии высокомолекулярных соединений и т. д. вплоть до самой узкой области науки (причем речь идет не о терминологии). В книге Д. Н. Шмелева хорошо показано, что не сами лексемы, но «особенности семантической деривации... в наибольшей степени отличают функциональные разновидности языка друг от друга, так же как и применяемые в них способы номинации» (стр. 93). Особую роль приобретает и самый принцип функционирования лексики — так, публицистической речи присуща метафоризация слов разных тематических и стилистических разрядов «с явной направленностью на экспрессивность и оценочность» (стр. 92—93). Эта особенность использования лексики, равно как и грамматических средств языка, позволяет автору принципиально не различать термины «стилевой» («принадлежащий стилю») и «стилистический» («относящийся к области использования средства с целью выражения экспрессивности и оценочности»). Автор последовательно, и в этом уже не столько отражая традицию, сколько выражая принцип своей концепции, употребляет термин «стилистический», тем самым намеренно показывая сложность и перекрещенность расслоения языковых средств, одновременно выражающих и экспрессивные, и функциональные градации литературной речи. Эта идея, высказанная Т. Г. Винокур, представляется интересной и вполне справедливой. И, однако, наличие специфических средств, разъединяющих функциональные разновидности, побуждает в целях точности описания разграничивать эти термины и употреблять «стилевой» для обозначения принадлежности к функциональной раз-

новидности как таковой (хотя является ли она «стилем» — вопрос сложный и, кажется, принципиально не разрешимый).

Наличие в функциональной разновидности специфических и общелитературных языковых средств позволяет автору наметить следующую интересную их градацию: 1) единицы языка, не характерные для «стиля», но не нарушающие его норм; 2) единицы языка, свойственные данному «стилю» в отличие от иных «стилей»; 3) формально тождественные единицы языка, различающиеся по «стилям» экспрессивно-стилистической значимостью (стр. 97). Установление реального корпуса этих групп единиц, так же как и других возможных групп общелитературных и специфических единиц (например, общих для двух или трех «стилей» или таких общелитературных, которые в данном «стиле», в отличие от других, не употребляются), является насущной задачей русистики. Оно покажет реальную картину функционирования литературного языка, позволит построить его модель, максимально адекватную своему объекту. И здесь особенно важна идея Б. Н. Головина и Д. Н. Шмелева о роли степени вероятности употребления тех или иных языковых средств в различных типах речи (а не только прямой возможности или невозможности такого употребления). На стр. 164—165 автор пишет, что «при установлении основных функциональных разновидностей языка есть смысл идти не от отдельных „стилистических показателей“ и тех или иных их группировок, но от заложенных в механизме самого языка возможностей его применения как средства общения в разных условиях и для разных целей». Очевидно, одно не исключает другое, и здесь нет альтернативных отношений. Ведь и сам автор на стр. 56 пишет об «обнаружении в основных категориях языка возможности (или даже необходимости) его различного проявления в зависимости от различных условий речевого общения», что гораздо более однозначно, чем степень вероятности.

Говоря о принципах функциональной дифференциации грамматических средств языка, Д. Н. Шмелев касается весьма острого и дискуссионного вопроса о тех грамматических особенностях, которые позволяют судить о качественных различиях систем (или подсистем) литературного языка. Автор высказывает, на наш взгляд, верную идею о том, что отсутствие определенных словоформ (и, добавим, грамматических средств) в одной из функциональных разновидностей еще не есть свидетельство особности, отдельности системы этой функциональной разновидности. Здесь обретает силу аргумент одного и того же состава носителей литературного языка в его разных функциональных типах. Д. Н. Шмелев замечает, что отсутствие, например, глагольных форм времени и лица в переносном употреблении в научной речи не дает оснований говорить о ней как об особой системе (стр. 128). Непонятно только, как это сочетается с явственным признанием относительно замкнутых систем или подсистем (стр. 82). Термин «стиль» при верных наблюдениях такого рода все более утрачивает свою правомерность. Однако все же в чем именно может проявиться «системность» функциональной разновидности литературного языка? Ответа на этот вопрос, по сути заглавный вопрос книги, у автора нет. Казалось бы, этот вопрос должен был бы проясниться в результате рассмотрения отдельных групп средств в главе «Стилистическая дифференциация языковых средств», но этого не происходит. Аргументация автора верна, но носит частный характер. Например,— правильно замечает автор на стр. 128 — нет оснований противопоставлять разговорную речь кодифицированному литературному языку в целом, так как сам этот язык членим. Однако все же есть ли разновидности литературного языка с собственной системностью, является ли таковой научная или разговорная речь, остается неясным. Автор ограничивает свою задачу лишь высказыванием аргументации pro и contra, но не делает определенных выводов.

В связи с такой постановкой задачи некоторые уже известные науке факты остаются вне поля зрения автора. Так, например, большое сходство в составе грамматических и лексических средств деловой и научной речи (см. хотя бы работу Е. Ф. Петрищевой) не мешает автору говорить о «синтаксической „замкнутости“ специальных речевых стилей» (стр. 158), в которые включаются научный, официально-деловой и публицистический (стр. 75), о «наиболее „замкнутых“ функциональных стилях, таких, как научный, официально-деловой и газетно-информационный» (стр. 117), причем предлагается различать публицистический и газетно-информационный стили (стр. 75). Более того, автор говорит о «наибольшей синтаксической предопределенности официально-делового текста, значительно меньшей — научного, относительно свободной организации публицистического» (стр. 158; ср. также стр. 80, 143). Автор подчеркивает, что «функционально-речевые стили» — это разновидности именно языка, выделяющиеся под воздействием разнородных, иногда противоречивых факторов (стр. 166). С этим очень хочется согласиться, особенно принимая во внимание последние исследования разговорной и научной речи, однако высказанный постулат тем более обязывает к выявлению и оценке системных свойств конкретных языковых средств, различающих разновидности современного русского литературного языка.

Немало внимания уделяется в книге совсем новому для русистики вопросу — о месте в литературном языке и языковых характеристиках устной публичной речи. Не успев обрести собственно исследовательскую плоть (в науке о русском языке нет или почти нет конкретных разработок по этому типу литературной речи), этот вопрос уже стал остро дискуссионным. Наибольшую остроту дискуссии придают расхождения в понимании характера соотношений этого типа литературной речи с разговорной бытовой речью, с одной стороны, и с письменно-литературными «стилями» с другой (с первой ее роднит устный характер осуществления высказывания, со вторыми — общность освещаемых сюжетов). В рецензируемой книге высказывания на эту тему, правда, не всегда специально на нее ориентированные, а порой попутные (и потому лаконичные) можно найти на стр. 20—24, 70—73, 101, 104, 125, 131, 145, 156. 158, 161, 166. Здесь говорится или упоминается о выделении типов литературной речи в соответствии с устной или письменной формой их осуществления, о полном и неполном проявлении особенностей стиля в зависимости от этого, о роли факторов ситуации (условий общения) и темы при выборе «манеры речи» и языковых средств (а в случае двуязычия — даже и языка!), о наличии в языке «устных вариантов» специализированной речи и их профессионально-жаргонных ответвлений, о степени «концентрированного вторжения» разговорных особенностей в разные типы литературной речи, о стилистической неоднородности разговорной речи, о недостаточной структурной организованности устных высказываний, о транспозиции эстетической функции разговорных явлений в художественном тексте, о синтаксической замкнутости специальных речевых стилей, ведущей к принципиальной отгороженности их от фразеологизированных конструкций, о проницаемости разговорной речи для иностилевых элементов, о письменной основе ораторской и иной публичной речи, ориентированности этой речи на письменные образцы, наконец, о дифференциации устной речи, «четко определяемой темой и условиями общения» (вопросы обозначены здесь в соответствии с последовательностью перечисленных выше страниц, т. е. в том порядке, как они следуют в тексте книги). Уже самый перечень вопросов свидетельствует о том, сколь широк их диапазон и сколь они существенны для теории литературного языка. Если их несколько упорядочить и перегруппировать, то каждый из полученных комплексов вопросов должен составить основу специального исследования: создание таких исследований — дело будущего, его необходимой предпосылкой будет обследование материалов устной публичной речи.

Пока же можно отметить, что со многим из сказанного в книге Д. Н. Шмелева об устной публичной речи следует безоговорочно согласиться и выразить автору благодарность за то, что он первым сформулировал многие насущные вопросы изучения устной публичной речи. Если автор не разделяет тезиса о лингвистическом двуязычии в пределах современного русского литературного языка (выступая против системной изолированности КЛЯ и РР, стр. 126—128), если он признает первоочередную роль факторов темы и ситуации, а также формы речи при выборе языковых средств и пишет, что «было бы бессмысленно спорить о том, следует ли относить соответствующие высказывания к разговорной речи или же нужно рассматривать их как трансформированное проявление того или иного функционально-речевого стиля» (стр. 71),— то все споры о включении устной публичной речи в устно-разговорную разновидность современного русского литературного языка или в соответствующий «функционально-речевой стиль» необходимо признать терминологическим недоразумением. В самом деле, в языке нет безусловных границ, они подвижны, и сама дифференциация литературного языка должна пониматься как чередование центральных и периферических зон. Поэтому сейчас не следует увлекаться стремлением точно квалифицировать отдельные контаминированные предложения в высказываниях на отвлеченные темы с точки зрения их генетической принадлежности разговорной или письменно-специализированной речи. Вопрос, видимо, не в том, какая стихия сильнее: устности или принадлежности письменной речи при осуществлении публичного высказывания (их соотношение для разных случаев может быть различным),— а в том, как именно оба эти речевых пласта действуют на состав и характер устной публичной речи. Поэтому теряет смысл упрек в «абсолютизации» разграничения устной и письменной форм речи, сделанный автором книги в адрес автора данной рецензии (стр. 21). Здесь следует заметить, что терминологическое разграничение разных видов устной речи, принятое в книге «Русская разговорная речь» (М., 1973) и представляющееся автору рецензируемой книги «и необходимым, и оправданным» (стр. 23) (устная речь, городская устная речь, бытовая речь, литературная разговорная речь), при ближайшем рассмотрении оказывается разнородным и разноплановым. Ведь и сам автор справедливо считает одним из двух ведущих признаков, лежащих в основе его триады, форму речи.

Однако в книге Д. Н. Шмелева есть и такие положения по рассматриваемому вопросу, с которыми согласиться даже и предварительно, до проведения соответствующих исследований, трудно или не-

возможно. К ним прежде всего следует отнести тезис о письменной основе публичной речи, ее принципиальной ориентированности на письменные образцы. Именно этот тезис побуждает трактовать разговорные явления в ее составе как иностилевые вкрапления, инкрустации. Надо сказать, что сам этот тезис противоречит мысли автора о триаде, в основе которой лежит разграничение устной и письменной форм речи. Различия между ними весьма глубоки и принципиальны, и они прекрасно описаны автором на стр. 18 и сл. книги. Устное высказывание по самой своей природе отличается от письменного, и задача заключается в нахождении его реальных характеристик. В письменном тексте много такого, что в устном недопустимо в принципе,— и обратно. Тезис о полном или неполном проявлении стилевых характеристик в зависимости от формы речи (стр. 70) может быть принят, но с учетом сказанного Его можно было бы корректировать примерно так: в тексте, относящемся к данному «функционально-речевому стилю» и осуществленном в устной форме, представлены следующие языковые средства: общелитературные, свойственные и данному «стилю», и разговорной речи; специфические письменно-литературные, свойственные данному стилю, однако не все, а только те из них, в строении которых нет противоречия устному осуществлению; собственно устные, свойственные любому устному высказыванию; специфические разговорные, однако не все, а только те из них, которые не противоречат теме сообщения и условиям протекания речи. В таком понимании, видимо, нет повода для упрека в отрыве устной публичной речи от «книжных стилей» литературного языка, который сделан автором книги на стр. 22 автору данной рецензии.

Кстати, об особом положении устной публичной речи свидетельствует, например, если пользоваться приводимыми Д. Н. Шмелевым наблюдениями, то, что в отличие от невозможности «концентрированного вторжения» набора частотной научной лексики в разговорную или художественную речь (стр. 104), в устную публичную речь она «вторгнуться» может (из-за связи с соответствующим письменным текстом), но с известными ограничениями (из-за устной формы). Гораздо сложнее положение в устной публичной речи относительно высказанной в книге мысли о логической и интонационно-однозначной интерпретации фраз в письменно-научном и официально-деловом тексте (стр. 138) — здесь недостаточно тезиса об «устной форме письменного стиля». Точно так же этот тезис не в силах объяснить наличие большого пласта разговорных явлений и фразеологизированных конструкций в устной публичной речи в отличие от письменных «функциональных стилей» (стр. 156, 158).

Можно упрекнуть автора в усложненности композиционной структуры книги: читателю не всегда легко следить за ходом авторской мысли, логикой изложения. Можно отметить и отдельные неточности в формулировках — так, на стр. 56 автор пишет, что язык на современном этапе его развития реализует возможности, заложенные в его устройстве — но почему на современном, а не на каждом. На стр. 69 говорится об отсутствии в «газетно-информационном стиле» присоединительных конструкций и изолированного именительного со значением оценки, что нуждается в проверке. На стр. 79 не различаются два принципиально различных типа ситуации, скрывающихся под одним термином,— общая ситуация протекания речи и реальная предметная ситуация.

В настоящей рецензии были затронуты далеко не все вопросы, получившие отражение в яркой и содержательной книге Д. Н. Шмелева. По условиям места мы не говорили здесь о сверхфразовых единствах, о словообразовании, о распределении простого и сложного предложения, о роли актуального членения и порядка слов в разных типах литературной речи, об отражении разговорных особенностей в художественной литературе. По всем этим вопросам в книге высказаны тонкие соображения, представлены интересные наблюдения.

Хочется снова высказать большое удовлетворение в связи с выходом в свет этой небольшой по объему, но столь богатой мыслями и наблюдениями, столь проблемной книги, живо откликнувшейся на самые актуальные и дискуссионные вопросы современной теории состава русского литературного языка.

Лаптева О. А.

I. R. Galperin. Stylistics. Second edition, revised. — Moscow, «Higher school», 1977. 332 стр.

Стилистику как раздел общей науки о языке принято относить к «молодым» отраслям языкознания. Это отчасти правильно, если иметь в виду относительно позднее выделение лингвистической стилистики в отдельную науку. Межуровневый характер этой науки, имеющей дело с той областью языка, где перекрещиваются различные уровни языковой структуры, предстающие в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности, долгое время не позволял ученым обнаружить свойственный именно этой науке предмет исследования. Что же касается методики, то можно указать лишь на отдельные попытки выработки лингристических методов стилистического анализа (статистический, контекстуальный, супралинеарный, сопоставительный). Все это, однако, не означает, что стилистика как наука не имеет своей истории, своих достижений в прошлом и поэтому попытки создания теорий стилистики, не опирающихся на то положительное, что уже достигнуто в прошлом, обречены заранее на провал.

Последние три десятилетия знаменуют значительное возрастание интереса к лингвостилистике. Если в зарубежном языкознании она чаще всего рассматривалась в нормативном аспекте, то в советской науке о языке в центре внимания оказались теоретические основания данной науки. И это не случайно, так как стилистика тесно соприкасается с другой «молодой» наукой, с теорией литературного языка, заслуга оформления которой в отдельную отрасль знания целиком принадлежит советским языковедам. Методологически основываясь на марксистском тезисе об общественной природе языка и неразрывной связи языка и общества, советские лингвисты всегда уделяли большое внимание изучению языковых ситуаций и анализу любого явления языка как сложного комплекса, в котором взаимодействуют экстралингвистические и собственно языковые факторы. Такой подход неизбежно включает в себя и функционально-стилистический аспект, так как любое описание языка, претендующее на максимальную адекватность, невозможно без учета этого аспекта.

Среди книг советских языковедов по стилистике, появившихся за последнее десятилетие, рецензируемая работа занимает особое место. Прежде всего следует подчеркнуть, что книга И. Р. Гальперина написана в наиболее трудном жанре, в жанре учебника для студентов. Вместе с тем и структура ее, и отбор освещаемых в ней проблем, и новизна трактовки материала позволяют оценить ее как оригинальный труд, значение которого далеко выходит за пределы учебника.

Книга состоит из «Введения» и пяти частей. Во «Введении» дано обоснование предмета лингвостилистики как науки. И. Р. Гальперин выделяет две взаимозависимые задачи лингвостилистики: а) исследование природы языковых средств создания стилистического эффекта; б) изучение типовых текстов, сложившихся в результате обобщения целевой направленности коммуникации — функциональных стилей. Такое понимание лингвостилистики как науки ценно не только потому, что направляет внимание исследователя на внимательное рассмотрение онтологических характеристик языковых средств, создающих определенный стилистический эффект, но и указывает на роль текста как важнейшей структуры высказывания, изучение которой заставляет исследователя обратиться к таким проблемам, как устная и письменная речь (язык), характеристика литературного языка, общие проблемы семантики на всех уровнях, т. е. значительно расширяет рамки стилистического анализа, что нельзя не признать положительным. Кроме того, во «Введении» дана общая характеристика языковых средств создания стилистического эффекта. Отдельный параграф освещает общую проблематику теории функциональных стилей. Во «Введении» читатель найдет также краткий очерк истории английского литературного языка.

Следует отметить, что в советской англистике, наряду с известной работой В. Н. Ярцевой «Развитие национального литературного языка», опубликованной в 1969 г., это одно из немногих исследований процессов становления и развития английского литературного языка. Краткий очерк литературного языка дополнен освещением этапов развития отдельных функциональных стилей в главах, специально освещающих функциональные стили. Жесткий лимит отпущенных автору страниц не позволил развернуть очерк в систематическое изложение истории функциональных стилей. Это задача исторической стилистики и истории литературного языка. Между тем, хотелось бы и в настоящем издании видеть отражение результатов новейших исследований, в том числе и результатов исследований самого автора, много и плодотворно работающего в этой области. В частности, по-новому мог бы быть освещен процесс взаимодействия экстралингвистических и собственно языковых факторов, определяющий характерные особенности литературного языка XVI в. (например, влияние языка массовой поэзии, с одной стороны, и значительное оживление традиций античной риторики, с другой стороны; целенаправленные попытки пополнения словарного состава, объясняемые прагматическими аспектами коммуникации, с одной стороны, и, с другой сто-

роны, возрастание пуристических тенденций, связанных с ростом национального самосознания и т. п.). Для XVII—XVIII вв. современный уровень описания истории литературного английского языка требует обязательного освещения соотношения нормализации и кодификации, в связи с появлением толковых словарей и серии грамматик.

Много интересных замечаний, показывающих преемственность стилистических традиций, содержится в параграфе, где описан процесс становления стиля художественной литературы, формирующегося на основе прозаических средневековых хроник, жизнеописаний, прозаических трактатов, очерков, дневников, писем, рыцарских романов. Вероятно, надо было бы подчеркнуть, что не только прозаические по форме, но и многие жанры поэтических произведений послужили основой стиля прозы художественной литературы. Это относится к стихотворным хроникам, многим стихотворным рыцарским романам (как аллитерационным, так и рифмованным), фаблио. Завершает «Введение» параграф, раскрывающий специфику стилистической семантики.

Во второй главе рассматривается важная для всей книги проблема стилистической классификации словарного состава английского языка. В лексике английского языка с точки зрения стилистики различаются нейтральный слой, общеупотребительная лексика (common) и специальная лексика (special). Общеупотребительная лексика в свою очередь делится на литературную (common literary) и разговорную (common colloquial). Специальная лексика тоже разграничена как литературная специальная (special literary) и разговорная специальная (special colloquial), причем последний разряд снабжен дополнительной характеристикой «нелитературная» (non-literary). Эта классификация наглядно представлена на диаграмме (стр. 71). Глава насыщена свежим иллюстративным материалом, а каждый из выделенных выше разрядов подробно анализируется.

Бесспорной заслугой автора является рассмотрение устной и письменной манифестации как типов языка и исключение из перечня функциональных стилей «разговорного стиля». Приходится, однако, сожалеть, что новые, убедительные аргументы в пользу этой концепции, приведенные в опубликованных за последние пять лет статьях и специальных исследованиях, посвященных разговорному языку, не нашли отражения в параграфе «Введения», где рассматриваются разновидности языка. Не вполне ясно изложено и отношение понятия «разговорный язык» к понятию «норма». Различное содержание, вкладываемое учеными в термины «разговорный» (colloquial) и «литературный» (literary), создает особые трудности использования этих слов в качестве помет, маркирующих определенные разряды слов и конструкций. Полностью не преодолены эти трудности и в рецензируемой книге. Так, в целом удачная и оригинальная схема стилистической классификации лексики, наглядно показывающая не только расслоение лексики современного английского литературного языка, но и сложные взаимоотношения лексики как между собой, так и по отношению к норме, в результате неясности значения, вкладываемого в термины «literary» («книжный» или «литературный»?) и «colloquial» («разговорный» или «нелитературный»?), во многом теряет определенность, так как приводит к мысли об отождествлении понятия «colloquial» с «non-standard», что, конечно, неверно (стр. 57, 72, 73, 75, 138). Положение становится еще более неясным из-за употребления в схеме термина «standard». В любом случае место и иерархия терминов «literary», «standard», «colloquial» требуют однозначной интерпретации.

Третья, четвертая и пятая главы содержат, соответственно, подробное описание и анализ фонетических, лексических и синтаксических выразительных средств и стилистических приемов. Наряду с традиционно рассматриваемыми стилистическими средствами И. Р. Гальперин освещает и такие слабо разработанные проблемы, как роль и место единиц больше предложения (сверхфразовых единств). Плодотворна мысль об «интегрирующей потенции» текста, который не является механической суммой значений отдельных предложений и сверхфразовых единств: в этом свете иное содержание получают и стилистические приемы, принимающие участие в процессе интегрирования.

Глава шестая отведена освещению функциональных стилей. В книге рассмотрены такие функциональные стили, как: 1) стиль художественной речи, 2) публицистический стиль, 3) газетный стиль, 4) научный стиль, 5) стиль официальных документов. В каждом из них выделены еще подстили или варианты.

Не затрагивая вопроса о количестве и номенклатуре стилей английского литературного языка, отметим лишь некоторые принципиальные положения, важные для оценки материала данной главы. Прежде всего нам представляется положительным последовательно проводимое в книге различие между двумя типами языка (разговорным и письменным, а вернее — разговорным и книжным) и функциональными стилями. Далее, чрезвычайно существенно замечание автора о том, что критериями выделения того или иного функционального стиля не может служить набор отдельных языковых средств или отдельных стилистических приемов (даже статистически обоснованных и обработанных). Надежным критерием должно стать соотношение языковых средств и стилистических приемов. Именно такое

соотношение создает различительные черты стиля, который может быть опознан даже по одной, наиболее характерной для данного стиля, ведущей черте.

Бесспорной заслугой автора является также широкое освещение подстиля поэзии и обстоятельный анализ истории стиля художественной речи во всех трех ее подстилях (поэзия, проза, драма). Этот материал в нашей лингвистической литературе впервые детально представлен в рецензируемой книге.

Логическим следствием из всего рассмотренного материала является заключительный раздел книги, где показана возможность нового, более высокого уровня стилистического анализа текста. Автор предлагает расчленить стилистический анализ на пять процедур. Первая процедура (таксономическая ступень) предполагает атрибуцию функционального стиля. При этом важно, что идентификация стиля не ограничивается только общей характеристикой принадлежности анализируемого отрывка к одному из функциональных стилей, но уточняется и «жанр» (разновидность текста). На второй ступени определяется общее содержание текста (заметим, что необходимо подробнее объяснить направление анализа на данной ступени). Третья процедура — «декодирование» значений отдельных слов, словосочетаний, предложений и сверхфразовых единств. На этой ступени внимание должно быть обращено на «приращения» смысла, возникающие под влиянием «интегрирующей потенции» текста как единого целого. Четвертая ступень связана с анализом стилистических приемов, использованных автором анализируемого текста для достижения определенного стилистического эффекта. На пятой, заключительной стадии все полученные ранее данные обобщаются с целью получения детализированной концептуальной информации, содержащейся в тексте, т. е. на этой ступени происходит углубленное проникновение в содержание текста, общие контуры которого были намечены на второй стадии анализа. Хотя автор рецензируемой книги и не настаивает на строгой иерархии указанных ступеней анализа, нельзя не отметить, что перед нами четко и строго очерченный метод, дальнейшая разработка которого уже показывает его преимущество перед ранее применявшимися неупорядоченными процедурами.

Из более мелких замечаний позволим себе остановиться на следующих. На стр. 16 справедливо указано, что изучение языковой нормы обычно проводится на материале языка писателей. Следовало бы указать, что такое изучение дает лишь картину уже сложившихся норм. Для изучения процесса становления норм необходимо использование разнообразного материала, не только языка художественной литературы. На стр. 94 удачно обобщены случаи, когда новообразования являются объектом критического отношения. Однако не указана диалектная лексика, проникающая в общий словарный фонд, не учтены случаи ослабления нормы и связанные с этим сдвиги в структуре. На стр. 114 дан пример, когда процесс идентификации не может быть декодирован. Вероятно, нужно уточнить, что это невозможно в данном микроконтексте, но при супралинеарном анализе и этот случай объясним. На стр. 171 после положительной оценки употребления перифрастических оборотов у Диккенса приведено высказывание В. Г. Белинского, осуждающего избыточное употребление перифраза. Следовало бы пояснить эту цитату, указав, что она не относится к Диккенсу. На стр. 312 говорится, что «деловой стиль» называют иногда «officialese». Необходимо было подчеркнуть, что словом «officialese» определяется неумеренное, избыточное или неуместное использование элементов делового стиля (формул, клише), т. е. что слово окрашено негативно [1]. На стр. 53 допущена досадная неточность: словарь С. Джонсона был впервые опубликован не в 1753, а в 1755 г.

В заключение отметим, что книга Р. И. Гальперина уже широко используется в практике преподавания курса стилистики в языковых вузах и на факультетах иностранных языков. Этому способствуют всесторонний охват проблематики лингвистической стилистики, доступность изложения самых сложных теоретических вопросов, сочетание традиционно сложившихся воззрений на стилистику и ее категории с новыми веяниями в этой области, учет как традиционных моделей описания стилистических категорий, так и новых, оригинальных моделей, ориентированных на описание стилистической системы языка.

Книга будит мысль, развивает навыки самостоятельной исследовательской работы студентов. Она с большой пользой будет прочитана не только студентами, но и аспирантами и преподавателями.

Линский С. С.

[1] «*Officialese* is a pejorative term for a style of writing marked by peculiarities supposed to be characteristic of officials...» («A dictionary of modern English usage», ed. by H. W. Fowler, second edition revised by Sir E. Gowers, Oxford, 1965, стр. 411).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1979

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

14—16 декабря 1977 г. в Лейпциге (ГДР) проходили заседания Международного симпозиума по историческому и этимологическому исследованию славянской лексики. Это уже третий симпозиум по славянской этимологии. Первый был организован Сектором этимологии и ономастики Института русского языка АН СССР в Москве в 1967 г. Организатором следующих двух симпозиумов (Лейпциг, 1972 и 1977 гг.) выступил Институт сорабистики Университета им. Карла Маркса. В работе симпозиума приняли участие сорок семь славистов, представляющих ГДР, СССР, НРБ, ЧССР, ПНР, СФРЮ, Англию и Швецию. Было заслушано тридцать шесть докладов.

В центре внимания участников симпозиума стояли проблемы лингвистической географии в этимологическом исследовании и проблемы изучения заимствований в славянских языках. Вместе с тем обсуждались вопросы методики реконструкции праславянского лексического фонда, проблемы славянского словообразования, приемы этимологизации определенных слоев лексики (ономастики, звукоподражаний и т. д.).

Широкий круг проблем был освещен в докладе Г. Шустер-Шевца (ГДР) «О значении сербо-лужицкой лексики для историко-этимологического исследования славянского словарного фонда». На большом конкретном материале автор «Этимологического словаря сербо-лужицких языков» выявил специфику словообразовательного и морфонологического развития ряда славянских основ в сербо-лужицких языках; на базе уточнения круга славянских соответствий для сербо-лужицких лексем он склоняется к мысли о вторичности современного периферийного положения лужицких языков.

В докладе О. Н. Трубачева (СССР) «Подготовка этимологического словаря славянских языков» был обобщен опыт работы по реконструкции праславянского лексического фонда (см. «Этимологический словарь славянских языков», 1—4), который позволил по-новому осветить проблему соотношения индоевропейских архаизмов в славянском и славянских инноваций. Обращаясь к проблеме балто-славянских лексических отношений, автор акцентировал внимание на сложности проблемы словарных потерь, а также на случаях большей сохранности архаичных словообразовательных связей в славянском сравнительно с балтийским.

Общим проблемам реконструкции праславянской лексики были посвящены доклады Ф. Копечного, Е. Гавловой, В. Борыся и В. Шаура. В докладе В. Борыся (ПНР) «Из проблем праславянской синонимии» было показано значение исследования праславянских синонимов для реконструкции их семантики, первоначального ареала и хронологии. Ф. Копечный (ЧССР) в докладе «Об условиях праславянской реконструкции» акцентировал внимание на необходимости учета специфического развития лексики звукоподражательного происхождения. В. Шаур (ЧССР) остановился на актуальной для исследований праславянского словарного фонда проблеме мнимых архаизмов («О словах, принимаемых за более древние, чем они есть на самом деле»). Е. Гавлова (ЧССР) обратила внимание на перспективность анализа омонимов в славянской лексике («Проблемы омонимии в этимологическом исследовании»).

Доклад В. Георгиева (НРБ) «Контаминация как принцип этимологического анализа» был посвящен возможности применения этого метода на разных хронологических уровнях, от индоевропейского до современных славянских языков. В этом плане было рассмотрено происхождение группы славянских лексем (**kastьrъ-*/*kastrъ-*) В. Анастасовым (НРБ) в докладе «К проблеме контаминации в славянских языках».

В ряде докладов получили освещение разные аспекты метода лингвистической географии в славянских этимологических исследованиях. А. Е. Супрун (СССР)

в докладе «Белорусская этимология и межславянские лексические соответствия» показал решающую роль белорусско-инославянских связей для этимологизации как исконной, так и заимствованной лексики белорусского языка. Комплекс проблем этимологизации кашубской лексики (специфические связи с другими славянскими языками, особенности фонетического, семантического и морфологического развития) был освещен Г. Поповской-Таборской (ПНР) в докладе «Значение лексики периферийных языковых областей для этимологических исследований». Методика применения лингвогеографического анализа к изучению лексики одного славянского языка была рассмотрена в докладах М. Сл. Младенова (НРБ) «Один из аспектов лингвогеографического изучения древнеболгарской лексики» и Г. А. Цыхуна (СССР) «Белорусская народная лексика в ареальном аспекте». Перспективам использования лексических атласов в историко-этимологическом исследовании были посвящены доклады В. Ф. Коннновой (Англия) «Семантические карты в „Малом атласе польских говоров" и историческое изучение лексики» и Н. Перчинской (ПНР) «Об этимологической проблематике в „Общеславянском атласе"». Доклады К. Гутшмидта (ГДР) «Южнославянско-севернославянские лексические параллели» и Е. Русека (ПНР) «Из лексических связей северно- и южнославянских языков» содержали богатый материал, ценный для уточнения ареалов отдельных лексем и связей различных славянских языков. Доклад В. А. Меркуловой (СССР) «Некоторые проблемы лингвистической географии в связи с этимологией» касался вопроса исторической изменчивости ареала слова. В. Купишевский (ПНР) в докладе «Лингвистическая география на службе этимологии» остановился как на общих проблемах роли лингвистической географии в общественных науках, так и специально на использовании этого метода для решения проблемы лексических заимствований.

Проблемам этимологизации заимствований было посвящено десять докладов. В докладе «Критерии иноязычного происхождения слов в славянской этимологии» И. Немец (ЧССР) разработал методику всестороннего анализа лексем для решения проблемы исконности или заимствования. Ж. Ж. Варбот (СССР) остановилась на значении сопоставления восточнославянской лексики с лексикой других славянских языков для выявления инославянских и тюркских заимствований в русском языке («Индивидуальность заимствованного слова и системность этимологического изучения заимствований»). Особенности изучения заимствований в области междометий были исследованы в докладе Ф. Хинце (ГДР) «Звукоподражание и заимствование (на материале некоторых междометий, обозначающих толчок и удар)». Г. Г. Бильфельдт (ГДР) говорил о необходимости более детального изучения проблемы германских лексических заимствований в древнелужицком («Древнелужицкие периферийные связи с Франкско-каролингской империей»). Я. Доруля (ЧССР) в докладе «О некоторых заимствованиях в словацком языке периода феодализма» обратил внимание на сложность вопроса об истолковании отдельных словацких лексем как заимствований из венгерского. Интересные дополнения к вопросу славяно-иранских лексических связей содержал доклад У. Дуковой (НРБ) «О проблемах иранского влияния на славянскую мифологическую лексику». Пути проникновения арабских заимствований в лексику славянских языков были рассмотрены на большом конкретном материале М. Рачевой (НРБ) «К этимологической проблематике ранних заимствований семитского происхождения в славянских языках». Д. Стоун (Англия) в докладе «Лужицкая христианская терминология» предложил существенные уточнения в определении путей ее проникновения из чешского языка. Хр. Холиолчев (НРБ) на материале болгарского языка показал специфику освоения культурных заимствований («Южнославянские названия культурных растений и домашней птицы»). Ф. Михалк (ГДР) в докладе «Доля заимствований в терминологии и диалектное членение» разработал весьма существенную для изучения генетического состава лексики методику количественной оценки заимствований по данным лексических атласов.

Общие и частные проблемы славянского словообразования нашли отражение в четырех докладах. Р. Эккерт (ГДР) в докладе «Рефлексы индоевропейской гетероклизы на *-l-/-n-* в славянских и балтийских языках» объединил весьма значительный лексический материал, который может толковаться как продолжение этой архаичной индоевропейской модели. В связи с этим им были предложены некоторые оригинальные этимологические толкования. Древнейшие славянские словообразовательные модели и их параллели в латинском были рассмотрены в докладе К. Костова (НРБ) «Славяно-латинские соответствия в области словообразования». Древние, праславянские истоки словосложения в славянских языках и возможности параллельного независимого развития этого способа словообразования в соседних языках были исследованы К. Хандке (ПНР) в докладе «Праславянская модель западнославянских именных сложений». Для этимологизации славянской лексики полезны выводы доклада В. Фёрстер

(ГДР) «Наблюдения над семантикой приименного префикса *pod-* в славянских языках».

Интересное явление вторичного преобразования морфологической структуры слова как следствия влияния фонетических изменений рассмотрел Б. Крэя (ПНР) в докладе «О вторичном разобщении основ в польской лексике».

Роли ономастики в историко-этимологических исследованиях были посвящены доклады Й. Заимова и Э. Айхлера. Й. Заимов (НРБ) в докладе «Ономастика как источник исторического словаря» использовал обширные материалы болгарской антропонимии и топонимии для реконструкции праславянского фонда болгарского языка. Значение ономастики для изучения древнейшего периода истории языка и его контактов с другими языками было проиллюстрировано конкретными примерами в докладе Э. Айхлера (ГДР) «Ономастика и историческая лексикология западнославянских языков».

Большой интерес вызвал доклад Г. Якобссона (Швеция) «Новь, девять, девяносто (Девятичное исчисление в славянских и других языках)». Этимологизацию указанных числительных в связи со славянским *новь* автор обосновал реликтами девятичного исчисления, обнаруженными в различных индоевропейских языках.

Симпозиум отличался активным и деловым обсуждением заслушанных докладов. В частности, оживленную дискуссию вызвали материалы, приведенные в докладах Г. Шустер-Шевца, В. Георгиева, Г. Якобссона, В. Шаура, Р. Экерта и др. С большим интересом и одобрением были восприняты основные положения докладов О. Н. Трубачева и Г. Поповской-Таборской. Подводя итоги симпозиума, организаторы и участники отмечали высокий научный уровень представленных исследований и большое значение симпозиума для углубления контактов, необходимых при современной активизации этимологического изучения славянских языков. Доклады предполагается опубликовать в журнале «Zeitschrift für Slawistik» в 1979 г.

Варбот Ж. Ж., *Меркулова В. А.* (Москва)

*

В Институте русского языка АН СССР 12 января 1978 г. состоялись IX ежегодные чтения, посвященные памяти академика В. В. Виноградова. С вступительным словом к присутствующим обратился чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин. Чтения были посвящены проблемам лексикологии и лексикографии. В. В. Морковкин (Москва) выступил с докладом «Некоторые вопросы лексикографической интерпретации многозначных слов». Основываясь на понимании слова как живого образования, несущего в себе потенцию своего изменения, докладчик трактует многозначность не только как состояние, но и как процесс. Среди вопросов лексикографической интерпретации многозначных слов в докладе рассмотрены: 1) процедура опознания семантики различного в плане содержания слова, 2) оценка и классификация опознанных смыслов, 3) оформление содержания многозначного слова. Основными способами установления неоднозначности слова являются: а) анализ его сочетаемости, б) включение его в синонимические и антонимические ряды, в) отнесение слова к разным рубрикам идеографической классификации. В числе семантических единиц, объединяемых в рамках многозначного слова, предлагается выделять, наряду с значением и оттенком значения, подзначение, так как дихотомия «значение — оттенок значения», по мнению докладчика, не может отразить всех различий в семантической структуре многозначного слова. Оптимальным способом упорядочения плана содержания многозначных слов являются, по мнению В. В. Морковкина, ступенчатая нумерация значений, подзначений и оттенков (ср. 1.0 *хвост собаки*; 1.1. *хвост самолета*; 1.2. *хвост поезда*; 2.0. *сдать все хвосты* и т. д.). Впервые в отечественной лексикографии этот способ применен при лексикографической интерпретации словесного ядра современного русского языка, осуществленной в секторе учебной лексикографии Института русского языка им. А. С. Пушкина.

В докладе Ю. Н. Караулова (Москва) «Об одной тенденции в современной лексикографической практике» дана характеристика явления, названного докладчиком «лексикографической параметризацией языка», суть которого состоит в тенденции современного описательного языкознания фиксировать достигнутый в той или иной области уровень знаний в виде словарей. Словарь оказывается самой удобной формой обобщения, описания, поскольку отвечает условиям максимальной полноты, простоты и систематизированности представления материала. Эта тенденция проявляется в постоянном росте словарей в мировой практике, в их разнообразии, во все большей детализации включаемой в них информации. Появляются словоизменительный (грамматический) и словообразовательный словари, многочисленные словари по культуре речи, словари словосочетаний; возникают идеи создания синтаксического словаря

и «словаря словарей», т. е. словника всех словарей русского языка. Другая особенность рассматриваемой тенденции состоит в характере самой информации, представляемой в словарях: в словарной форме лингвистами фиксируются все параметры языковой структуры, начиная от графемного облика слова (орфографический) и ударения (словарь ударений, орфоэпический), до морфемного членения, категориальной, словоизменительной, синтаксической информации. Докладчик остановился также на характеристике общей, учебной, вычислительной и терминологической лексикографии и наметил пути построения содержательной типологии на основе извлечения и систематизации параметров, представленных в существующих словарях.

Н. Ю. Шведова (Москва) выступила с докладом «Однотомный толковый словарь: специфика жанра». Специфика жанра однотомного словаря определяется прежде всего его объемом, что находит отражение в составе словника (в состав толкуемых в нем лексических единиц не включаются архаизмы, диалектизмы и узкоспециальная лексика) и в его иллюстративной части, которая строится не на документированных цитатах, а на речениях, показывающих синтаксическую и семантическую сочетаемость слова. В разработке семантической структуры слова однотомный словарь стремится не к объединению значений, а к реально существующему в языке их разделению. Отметив, что в однотомном словаре наблюдается большое количество самых разнообразных расхождений в разработке совершенно однотипных слов, Н. Ю. Шведова указала, что избежать этих расхождений в словаре лексикограф сможет в том случае, если будет работать не с алфавитным списком, как это принято, а с тематическими и лексико-грамматическими группировками слов внутри отдельных частей речи. Только в этом случае словарь станет не просто квалифицированно составленной коллекцией слов, а опирающимся на определенную лексикологическую и лексикографическую теорию научным произведением, которое отразит понимание структуры не отдельных слов, а всей лексической системы и отношения всех ее участков друг к другу. Неотложной поэтому является задача классификации входящего в словарь лексического материала на основе его собственных внутренних свойств и качеств. Классификация лексики, ставящая перед собой задачу охватить все слова без остатка — дело очень трудное, так как между группами слов, с одной стороны, семантически близких, с другой — семантически противоположных друг другу, существуют целые области лексических единиц с неясными, неочерченными или размытыми границами, с такими сложными многокомпонентными значениями, которые не допускают расчленения и противятся каким-либо классификационным регламентациям. Предложенная в докладе классификация имен существительных, основанная на выделении тематических классов и подклассов, имеет ступенчатую инклюзивную структуру и на определенном шаге разбиения слов дает возможность выделения лексико-семантических групп слов как узких и определенных лексических микросистем. В заключение Н. Ю. Шведова отметила, что классификация слов, основанная на изложенных в докладе принципах, позволяет представить лексический материал однотомного словаря в таких обозримых группировках, которые необходимы для упорядочения и унификации описания лексики в однотомном толковом словаре.

Доклад Ю. С. Сорокина (Ленинград) «О принципах исторического описания лексики русского языка нового времени (XVIII—XX вв.)» был посвящен тем проблемам, которые должны быть решены для осуществления выдвинутой акад. В. В. Виноградовым программы создания исторических словарей русского языка нового времени. Отметив, что в настоящее время ведется подготовительная работа по созданию исторического словаря русского языка XVIII в., докладчик подчеркнул, что для лексикографического описания лексики XIX—XX вв. необходимо решить вопросы об общих очертаниях рабочей картотеки, о круге источников, о хронологических границах исторических словарей. Лексику XIX—XX вв., по мнению Ю. С. Сорокина, следует представить в трех словарях. Хронологические границы каждого из них должны учитывать более или менее отчетливо вычленяемые отрезки развития русского литературного языка: 1) последнее десятилетие XVIII в.— середина XIX в.; 2) середина XIX в.— начало 90-х годов XIX в.; 3) 90-е годы XIX в.— XX в. Необходимость создания не одного, а двух словарей, охватывающих период с середины XIX в. до наших дней, определяется тем, что включение в словарь лексики с 70-х годов XIX в. до наших дней сделало бы этот словарь неоднородным по составу: с 90-х годов XIX в. в русский литературный язык входит большое количество новых слов, внесенных революционным процессом, происходят существенные семантические сдвиги в лексике, в этот период определяются многие черты последующего языкового развития. Круг источников исторических словарей XIX—XX вв. должен включать произведения различных жанров; беллетристическую, публицистическую литературу, произведения эпистолярного жанра, мемуары, деловые документы и т. д. Ю. С. Сорокин указал также на ряд возможных противоречий, которые должны быть разрешены в словарях, в их числе противоречие между цитацией и сеткой нормативных

помет, противоречие между складывающейся нормой и сознательным отходом от нее писателей-классиков, возникающее и при определении круга источников и при отборе словарных единиц, которые должны быть включены в словарь, и т. д. В заключение докладчик подчеркнул, что уже в настоящее время должны быть сделаны подготовительные усилия для осуществления намеченной акад. В. В. Виноградовым программы создания исторических словарей нового времени.

Г. А. Богатова (Москва) в докладе «История слова как объект лексикографии» остановилась на некоторых аспектах проблемы лексикологического описания слова в историческом и этимологическом словарях. Исторические и этимологические словари, воссоздавая историю слова, имеют дело с разным языковым материалом, идут при описании слова к разным по объему и стратиграфической глубине конечным выводам. Этимологическая лексикография в рамках словарной статьи воссоздает средствами реконструкции из слагаемых языкового развития группы родственных языков историю слова в дописьменном состоянии. Выводы этимологической лексикографии касаются, как правило, истории не одного, а нескольких, обычно родственных, языков. В исторической лексикографии словарная статья строится на письменных источниках, принадлежащих, как правило, письменности одного языка. Остановившись на различии в методике построения словарной статьи в этимологическом и историческом словарях, Г. А. Богатова показала, что в этимологической лексикографии преобладает структурно-генетический подход к описанию истории слова при господстве формально-словообразовательного и пространственного критериев; историческая лексикография в описании истории слова руководствуется предметно-семантическим подходом с обязательным учетом функционирования слова в языке. Г. А. Богатова отметила также, что при построении истории слова нужно исходить не только из фиксаций употреблений данного слова, но и из употреблений слов той или иной корневой группы в целом. На примере употреблений слов с корнем *глаз-* в докладе было показано, как на основе семантических свидетельств этой корневой группы обосновывается составителем классификация значений слова *глаз* по их диахронической последовательности.

В докладе Ж. Ж. Варбот «Морфонологическая проблематика в „Этимологическом словаре славянских языков“» были поставлены вопросы о месте морфонологического анализа в этимологическом исследовании; о морфонологической базе «Этимологического словаря славянских языков» под ред. О. Н. Трубачева; о значении этого словаря для славянской морфонологии. На примере разработки словарных статей в четырех опубликованных к настоящему времени выпусках «Этимологического словаря славянских языков» Ж. Ж. Варбот показала разнообразные информативные возможности морфонологического анализа и его органическое сочетание с фонетическим, словообразовательным, с семантическим, лингвогеографическим и другими аспектами этимологического исследования. Новые этимологические сопоставления и решения, предложенные в статьях словаря, существенны для расширения представления о лексической сфере действия, степени актуальности различных морфонологических закономерностей и перспективы для освещения теоретических проблем праславянской морфонологии.

Закрывая чтения, чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачев отметил большую теоретическую и практическую ценность прочитанных докладов, представляющих несомненный вклад в развитие отечественного языкознания.

Белоусова А. С. (Москва)

CONTENTS

Articles: Solncev V. M. et al. (Moscow). The study of Oriental languages and their importance for the development of general linguistics; Plam M. Ja. et al. (Moscow). The state of the art of Oriental linguistics in the USSR; Nikolskij L. B., Oxotina N. V. (Moscow). Sociolinguistic research in Soviet Oriental studies; **Discussions:** Axmanova O. S., Dolgova O. V. (Moscow). Syntactic theory and language knowledge; Miller E. N. (Tselinograd). The reflexes of non-linguistic phenomena in antonymy; **Materials and notes:** Rastorgueva T. A. (Moscow). Some aspects of the evolution of an inflectional system; Tarlanov Z. K. (Petrozavodsk). Verbs with an incomplete finite paradigm in Russian; Gaffarov R. (Dushanbe). On a comparative study of syntax in Tadjik dialects; Kiamilev S. X. (Moscow). On the overlapping means of expressing nominal declension and verbal mood in Arabic; Nikitin M. V. (Leningrad). Semantics of the metaphor; Vsevolodova M. V. (Moscow). On the semantic congruence of verbs and nominal temporal complementizers; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Solncev V. M. et al. (Moscou). L'étude des langues orientales et son importance pour le developpement de la linguistique générale; Plam M. Ja. et al. (Moscou). L'état actuel des études orientales en URSS; Nikolskij L. B., Oxotina N. V. (Moscou). La sociolinguistique dans les études orientales soviétiques; **Discussions:** Axmanova O. S., Dolgova O. V. (Moscou). Théorie syntaxique et connaissance de la langue; Miller E. N. (Tsélinograd). L'expression des phénomènes extra-linguistiques dans les antonymes; **Matériaux et notices:** Rastorgueva T. A. (Moscou). Sur quelques aspects de l'évolution du système flexionnel; Tarlanov Z. K. (Petrozavodsk). Verbes à paradigme personnel incomplet en russe; Gaffarov R. (Douchanbé). Sur l'étude comparée de la syntaxe dans les parlers tadjiks; Kiamilev S. X. (Moscou). A propos de la similitude des désinences de la déclinaison nominale et des modes verbales en arabe littéraire; Nikitin M. V. (Léningrad). Sur la sémantique de la métaphore; Vsevolodova M. V. (Moscou). Accord sémantique entre verbes et compléments temporels nominaux; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам высылаться не будет.

2. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

3. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

4. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

5. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

6. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

7. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

8. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

9. Непринятые рукописи не возвращаются.

10. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

11. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 30 10 78 Подписано к печати 25 12 78 Т-18389 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Уч.-изд. л. 15,9 Бум. л. 5,0 Тираж 7215 экз. Зак. 1074

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 10